

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 6 (5 9) / 2 0 2 4



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

4



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

27



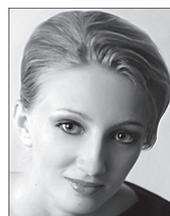
АЛЕКСАНДР
БОБРОВ
Москва

79



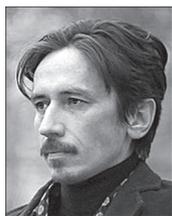
ОСИП
БЕС (ФУФАЧЁВ)
Нижний Новгород

89



ЕЛЕНА
АЛЬМАЛИБРЕ
Ростов-на-Дону

124



РУСТАМ
МАВЛИХАНОВ
САЛАВАТ

133



ЕЛЕНА
ДРУЖАЕВА
Городец

137



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
КОКТЕБЕЛЬ

148



НИКА
БАТХЕН
Москва

153



ИНГА СОКОЛОВА
(МАЦИНА)
Нижний Новгород

156



СТЕФАНИЯ
ДАНИЛОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

165



НИКОЛАЙ
СИМОНОВ
Нижний Новгород

171



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

179



АНДРЕЙ
РУДАЛОВ
Северодвинск

189



ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОГОВА
Нижний Новгород

197

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Елена КРЮКОВА	
ПОСЛЕДНИЙ КОНЬ	4
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ.	16
Олег РЯБОВ	
ЗАПАХ ЛЬДА	27
ТЫ БЫ ПОЕХАЛ?	32
Роман ПАРАМОНОВ	
РУССКИЙ ГЕРОЙ	36
ПАССАЖИР.	39
Роман ВОЛИКОВ	
ОСВЕДОМИТЕЛЬ	43
Вера СЫТНИК	
АНЮТА	53
Виктория СОРОКИНА	
НИТЬ	59
Екатерина ЯНСОН	
РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ. Из повести «Уродины».	66
Леонид СЛАВИН	
ГРИВЕННИК	71
Егор СЕРОВ	
ПОЕЗДКА В КИТАЙ	76

Поэзия

Александр БОБРОВ	
ДЕВОЧКА РИСУЕТ ПЕЧАЛЬНОГО ЛЬВА...	79
Виктор ЛЯПИН	
СМИРЕНЬЕ В ТАИНСТВЕ СВОБОДЫ...	83
Инна СИГУРОВА	
Я СКАЖУ ВАМ ГРУСТНОЕ, ЕВРИПИД...	86

Проза

Осип БЕС (ФУФАЧЕВ)	
ДЕТИ ИМПЕРИИ	89
НЕВИДИМКА	94
Священник Николай ТОЛСТИКОВ	
ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА	97
Артем НОВИЧЕНКОВ	
ЗАВЕЩАНИЕ ДУШИ	107
Николай ЗАЙЦЕВ	
ОГНЕННАЯ БОРОДА	120
Елена АЛЬМАЛИБРЕ	
КУКУШКА	124
Андрей ПУЧКОВ	
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ	126
Полина МИХАЙЛОВА	
И РАССЫПАЛ ГОРОХ	130
Рустам МАВЛИХАНОВ	
ЗИККУРАТЫ	133
Ирина ДРУЖАЕВА	
КОРДОН БРАТКИ.	137

Поэзия

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
СМОТРИШЬ – И ВПРАВДУ ЗАБРЕЗЖИТ ВДАЛИ...	148

Ника БАТХЕН	
ЗАКОН ОДУВАНЧИКОВ	153
Инга СОКОЛОВА (МАЦИНА)	
ОСЕНИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ОСЕНЬЮ...	156

Из будущих книг

Варвара КУРИЛКИНА	
ТИХАЯ ОХОТА. <i>Фрагмент повести</i>	159

Стихи по кругу

Елена ЛЕБЕДЕВА	164
Стефания ДАНИЛОВА	165
Людмила МОНАХОВА	166
Вадим БАКУЛИН	167
Петр РОДИН	168
Арети СЕЙНТАРИДУ	169
Анатолий СОКОЛОВ	169

Юбилеи

Николай СИМОНОВ	
КУДА Ж Я ОТ НАРОДА!	171
СОРМОВСКИЙ ВИТЯЗЬ ПОЭЗИИ. Дмитрий Терентьев о Н. Симонове	176

Далекое — близкое

Протоиерей Владимир ГОФМАН	
НОВЕНЬКИЙ	179
НАРКОЗ	182
КАК Я ВПЕРВЫЕ ЧИТАЛ БУЛГАКОВА	186

Публицистика

Андрей РУДАЛЁВ	
МЕЖДУ ДОБЛЕСТЬЮ И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ	
Владимир Богомолов в полемике об исторической правде	189

Вехи памяти

Валерия БЕЛОНОГОВА	
«ОН БЫЛ УДИВИТЕЛЬНЕЕ СВОИХ КНИГ...»	
130 лет со дня рождения Юрия Тынянова.	197
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА	
«СУРОВОЙ ИСТИНЫ ЧЕЛО». В год 255-летия И.А. Крылова.	206
ПАСХАЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	214

Литпроцесс

Ирина ШАТЫРЁНОК	
НЕ СЮЖЕТОМ, НО МАГИЕЙ РЕЧИ...	
Любительские заметки читателя	226
Римма НУЖДЕНКО	
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЭПОС В КВАНТОВОМ ПЕРЕХОДЕ	
О рассказе Елены Черниковой «Партита соло»	232

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М.И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии им. А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017) и других.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПОСЛЕДНИЙ КОНЬ

– А что смерть? Смерти не надо бояться. Смерть придёт – помирать будем, и всё. Сама природа за нас всё совершит. Вот ты мне всё: Бог-ог, Бо-ог! Да никакого Бога-то и нет! Все это сказки, попы придумали. Чтобы легче народ обирать. Если сам себе не поможешь – никакой Бог тебе не поможет. Вот я задумал дом строить. И что? Бог мне, что ли, его построит? Так нет же! Я сам! И брёвна сам вожу, и доски сам тесаю, и топором сам махаю, и... да что говорить! Бо-ог твой! Я сам себе Бог!

– Побойся Бога, Юрий Иваныч...

– А что мне Его бояться? Я перед Ним ни в чём не провинился. Вон! – рукой машет. Свежий ветерок с Волги – глубоко, всей грудью, вдыхает. – Вон сад насадил! Дом второй внучке построил, её семейству! Да в одном только Мизгире – семь домов сложил! А бань сколько – не счесть уже! И нужников!

– Юра-а-а-а...

– А что? – и хохочет залиvisto, а рот-то беззубый, верхние зубы уже почти все сточились жизнью, нижние торчат, как сирые пеньки. Хохочет! Голову откидывает! А в голове – ни одной седой волосинки, в восемьдесят лет, ни одной! Тёмно-рыжий, каштановый, густющий волос, плотный! И лишь виски – седые. Два мазка ярких, пронзительных белил. – Ну да, нужников! Нужник – оно ведь от слова «нужный». По нужде ведь человек туда бредёт, в нужник-то! А что, он в поле чистом присядет, как деды наши, на меже, что ли?!

Хохочет.

Я отпиваю чай из маленькой, кокетливо-городской – странной в деревне – чашечки. Я погружаю деревянную ложку в густоту и самоцветный, таинственный – будто из пещеры священный янтарь мерцает –

блеск прошлогоднего мёда, недвижно стоящего, как коричневое вечернее озеро, в хохломской миске. Я смотрю на этого человека, на мизгирьского старика Юру Опарина, и понимаю, что он – не старик и что он никогда, никогда не будет стариком.

Он будет всегда юным военным пионером, баянистом-разгульником, с живо колышущимся, как лодка весёлая, баяном в руках, идущим по улице, по светлomu, с белыми – мгновенно высохшими после дождя тропинками – Мизгирю, игрецом-баянистом, забавником для толпички насельников мизгирьского дома отдыха № 2, а № 1 уже уничтожили, уже все дома разломали и всё могучей зеленью заросло, а Юра всё идёт, всё играет вдоль улицы, всё подмигивает встречным бабёнкам, и беззубой Соне, и грузно сидящей на лавке Евдокии Елпидифоровне Синцовой, когда-то первой сельской красавице, – идёт, играет на баяне, и всю статью свою, всем лицом загорелым, скуластым, чувашским, говорит-кричит-вопит, что – веселися, народ, а Бога всё равно нет!

– Юрий Иванович. Бог всё равно есть.

– Ну как ты мне это докажешь, роднуля моя?!

«Роднуля» – так Юра называет всех милых его сердцу женщин. Но мне кажется, что я и вправду ему родная.

– Как? – Я засовываю ложку с мёдом в рот. Мёд у Юры Опарина лучший в Мизгире. Пусть не ревнует великий мизгирьский пасечник Илья Ильич Горнев, профессор сельскохозяйственной академии и дальняя родня великого писателя Ивана Бунина, а Юрий мёд – это великий мёд: он пахнет донником и клевером, гречихой и ромашкой, он благоухает, как... как... как муро святое. Но разве это Юрию Ивановичу втолкуешь?

Да он обсмеёт тебя с головы до ног!

– Да, как, как! Ну, давай, доказывай! Начинай!

«Как накакал, так и смякал», – вспоминаю я Юрину пословицу, которую он сам же всегда произносит на брошенное в его сторону словечко «как». Смеюсь.

И он опять хохочет. И беззубая челюсть вся на виду. И расцеловать мне его хочется в эти смуглые, загорелые морщинистые щеки. Сидит целыми днями на крыше, машет топориком! Спина голая! Солнце его целует. Обцеловывает. Солнце уже, а не женщины.

Чашку он берёт не за изящную ручку – кладёт себе в ладонь всю, как птенца. И дышит, и дует, и наконец хлебает, и чаем всё равно рот обжигает. И кричит: «А-а-а, едрить твою!»

– Ну вот... – Я поначалу теряюсь. Так, надо сосредоточиться. С чего начать?

Меня осеняет.

– Христос тоже плотником был. Как ты.

– Кем, кем? – приставляет Юра ладонь к уху.

– Плот-ни-ком!

– Хм! Плотником, говоришь? – Юра задумывается. – Поп наш, отец Виктор, нам этого не говорил. А только невнятицу бормотал да кадиллом вонючим кадил. Охмурил! И всё. Плотником, говоришь...

Юрий Иванович замолкает. Морщины испещряют его высокий, смуглым куполом, выпуклый лоб. По коричневому, как древний пергамент, лбу идут письмена. Что в них?

В них – история его жизни.

Одной-единственной жизни на земле.

– Ну и что? Я тоже плотник. И тыща, мильён плотников на земле жило... и померло. Бог-то, Бог-то тут при чём? Ну, плотник, да ведь не Бог же?

Я запиваю мёд остывшим чаем. Самовар отблёскивает латунным, тёмно-серебряным боком. Юриной жены, Ирины Петровны, в избе нет – а куда она ушла?

– Где Ирина? – на миг прекращаю я разговор о Боге.

– Ушла к любовнику! – весело кричит Юрий Иванович.

Я зажимаю руками уши.

– Юра, не кричи, пожалуйста, я не глухая. Вернёмся ко Христу. – Глотаю сладкую слюну. Волнуюсь очень. Ну как ему сказать, доказать, показать, что Бог – есть? – Он жил среди людей. О Нём историки Его времени упоминали. Сохранились письма древние... документы. Книжки всякие! Но не в них дело! – Я тороплюсь. Я говорю что-то не то. Совсем не то и не так. А как надо? Как? – А в том дело, что... что...

– Ты медку-то поешь, поешь, – насмешливо и тепло улыбаясь, пододвигает ко мне миску с мёдом Юра. – Я тебя слушаю внимательно. Ты... не спеши.

Да, тут спешить негоже. Иначе... ничего не получится. И зерно я... не посею...

– Он ходил среди людей. Всё время с народом был. И проповедовал. Он говорил о любви. О том, что надо любить ближнего. Он... исцелял. От неизлечимых болезней... Бесов изгонял из людей...

– Ну это уж враки! – Юра сводит брови. Потом ухмыляется. Втыкает вилку электрического самовара в розетку. Самовар пошумливает, Юра посмеивается. – Враки чистой воды! Как это можно исцелить от неизлечимых болячек?! Вот рак! Если ты рак подцепишь – каюк тебе! Лечись не лечись!

– Юра... – Чувствую своё бессилие. – Юра, понимаешь... У Христа была сила такая. Он – мог! Он и рак вылечивал... и одержимость бесом... и... даже...

Прыгаю головой в омут.

– И даже – мёртвых – воскрешал!

Юрино лицо сначала застывает, как этот мёд застылый в миске. Потом он закидывает голову высоко, затылком шеи касаясь, и хохочет уже вволюшку, с наслаждением, с присвистом и с прихрипом, с бульканьем, будто вино у него или чай булькают в глотке:

– А-хр-хр-га-га-ха-а-а-а!.. а-хи-хи-хра-харха-а-а-а...

Отсмеявшись – я терпеливо жду – он вытирает мокрое от смеха лицо руками и, подняв на меня узкие, раскосые, плывущие хитро и смело по лицу, как две юрких уклейки, лесные – первобытные – чувашские глаза, посылает в мою сторону убийственную пулю:

– Мё-о-о-ортвы-ы-ых?! Не-бре-ши!

У меня опускаются руки. Не хочу больше ни о чём говорить. Плохая из меня апостолица. Рядом с миской мёда стоит фарфоровая чашка, в ней – холодные блины, это Ирина утром пекла. Ещё стоит тарелка, и в ней размазана сметана. Надо сворачивать блин трубочкой, обмакивать в сметану и наяривать. Вкусные блины у Ирины Петровны. Хорошо она готовит. Поэтому Юрий Иванович её никогда не бросал. Хотя у Юры было в жизни женщин – не счастье сколько. Он был деревенский донжуан – Юра, гармонист-баянист, пасечник, плотник умелый, и фотограф смелый, всех в округе на плёнку снимал, «Зенитом» своим всех перещёлкал, а потом фотографии – тайком, из-под полы – сельчанам продавал: не сказать чтоб дешёво, сметливый Юра, всегда знал, как деньги добыть, – и собой смазлив, превосходен, глаза острые, раскосые, нос орлиный, снегово-белые зубы тогда ещё не сто-

чены были до корней, только... только росточком мал, росточком – не вышел...

«Как хотела меня мать да за шостого отдать... А тот шостый – парень недорослый, ой, не отдай меня, мать!..»

– Ну чё ты, чё ты, роднулька?.. Чё пригорюнилась?.. Ну не Бог твой Христос, и делу конец! Никто и никогда мне не докажет, что Он – Бог! Ну чё, слёзки-то уже, что ль, капают?.. Экая ты какая нежная... Дай развеселю...

Юра хватает с рассевшегося – все пружины наружу – дивана свой старинный баян и играет мне разухабисто, привольно, пальцы корявые так и бегают по кнопочкам чёрным и белым, так и тянут в разные стороны баянные меха, – и поёт, да как хорошо поёт, звонко и молодо, эх и голосок, деревцо в саду сшибёт, с таким бы – в Большом театре выступать в своё время, Лемешев бы с Козловским позавидовали бы, за соперника б держали:

– Гармонист, гармонист, шишка фиолетова!.. Ледянова не люблю, а люблю нагретова... Эта девка ничаво, и вот эта – ничаво, а вот эту я заметил – она дышит чижало... Э-э-эх-х-х-х!..

Переборы баяна. Музыка, лейся и закрути меня!

– В музыке твоей – Бог, – шепчу беспомощно, – и в домах, что ты построил по селу, в домах твоих – Бог... и в детях твоих – Бог...

Юра не слышит. Растягивает меха баянные. Он и так-то глуховат на одно ухо. Слышит плохо.

– Я наелся, напился, хрен за ляжку завился! Чай я выпил, сахар съел, самовар на хрен надел!.. Ух ты, ах ты, все мы космонавты!..

Я хлопаю в ладоши. Я забываю о Боге. Я хохочу. Я пою с Юрой частушки.

Фарфоровая чашка чуть позванивает, вибрируя, от обертонов его звонкого, пробивающего старость насквозь, вечно молодого тенорка.

– Когда гости соберутся, за закускою сидят, а хозяйева трясутся: неужели все съедят!.. Ух ты, ах ты, с бухты-баракты!..

И я пою, громко, на всю избу, как на гулянке, его любимую частушку – я помню её, знаю её:

– Я работала в колхозе, заработала пятак! Пятаком я зад прикрыла, а перёд остался так!

– И-и-и-их! – взвизгивает Юра и ещё сильнее впивается в кнопки старого баяна.

Стукает дверь. Юрий Иванович резко обрывает музыку. Слышно, как в сенях сбрасывают обувь.

– Ирина явилась, – обречённо кидает Юра – и сдёргивает баянный ремень с плеча.

Ирина Петровна входит в гостиную, на её лице – запрятанная глубоко, как в пещеру, ярость. Её глаза кричат: «Вот, сидит, старый бес, с бабой веселится, лясы точит, медок подъедает, на баяне играет, песни заводит, а работа – стоит!»

– Здрасс... – выдавливают Ирина, стараясь пройти к себе в спальню бочком.

– Здравствуйте, Ира! – встаю из-за стола и глупо кланяюсь я. Себе кажусь твёрдой, расписной деревянной матрёшкой. – А мы вот с Юрой тут...

– Я вижу, что вы с Юрой, – грубо, но внятно отвечает Ирина из спальни. Скрипят пружины: это Юрина жена тяжело легла на кровать.

И затихла. Всё затихло.

* * *

Юрий Иванович, оторви и брось, палец в рот не клади, откусит, времени для него нет, да и старости нет, а спросишь, когда родился, весело машет рукой: «Забыл!» – Юра Опарин, сын чувашки Анны, да и отец, Иван, наполовину чувашин; вся родня – вверх по Суре, деда и бабки его жили и в Кузьме, и в Гордеевке, и в Панкратовом лесничестве, – вот они, со стен Юриного дома, со старых фотографий, глядят на меня. Пожелтела бумага. Обломались резные края фотографий. В рамочках, бронзовых и чёрных, деревянных и стальных, – лица, лица, лица. Раскосые лица, тёмные, светлые, печальные, радостные; то суровые, то нежные. Женщины в странных шапочках, будто богатырских островерхих шлемах, густо обшитых монетами; мужчины в белых рубахах со сказочными узорами; деревянно, гордо, выпятив грудь, сидят на скамьях в мощных лаптях и белых чулках. Чувашками да марийками, нарядными, смуглыми да раскосыми, в ярких платьях до земли и в ослепительных монистах, наш Мизгирь по праздникам украшен, и по советским, и по новейшим, и по церковным, и по древним, первобытным, марийским и чувашским; да и сенокос на селе – праздник, и базарный день – тоже праздник, да ещё какой! Спешат марийки и чувашки на рынок; чувашки – в платьях чёрных, из чёрной шерсти, даже в жару, или из чёрного штапеля; на груди висят мониста из позолоченных монет, а у кого и из серебряных; марийки – в одеждах ярких и радостных: снежно-белых, ярко-розовых, ясно-голубых, густо-зелёных, жгуче-красных, платья по подолу и по рукавам вышиты весёлыми узорами, головы женщин туго повязаны цветными платками, и, когда они движутся на рынок, с корзинами в руках, кажется, будто в солнечном мареве медленно плывут по направлению к торговым рядам яркие цветные фонари. Рынок гудит; на лотках бабы раскладывают творог, круги масла и овечьего сыра, ставят ведра со сметаной, банки с молоком, и парным, и топлёным, с коричневой корочкой; а вот она и свежая рыба в широких и плоских, распластанных на земле корзинах, тяжело ворочаются тёмно-золотые лини, бьют хвостами язи и краснопёрки, – а вот россыпи ягод: в дощатых ящиках светится рубинами нежная крупная малина, красные горы клубники катятся в пакеты и кульки, а вот и первая кислая вишня, ещё алая, не сладко-черная, родительская, а ранние сорта, вырви-глаз, – а вот и прошлогодний чувашский мёд, просвечивает сквозь толстое стекло банки царской, густой желтизной; а вот в руках дочерна загорелой марийки Лины копчёные лещи, и она бережно, аккуратно кладёт лещей, как драгоценности, на широко расстеленную по прилавку чисто-белую материю.

Подходи, налетай! Лещей за хвосты хватай! Малину горстями бери, аж светится изнутри!..

Так и мать Юрия Ивановича, смуглая и суровая, молчаливая Анна Тимофеевна, когда-то на рынке стояла; чувашские раскосые глаза на солнце щурила; так же лещей на белой ткани раскладывала да на покупателей глядела – кто быстрее подойдёт да самого золотистого, тяжёлого крупного леща выберет. Отец Юрин, Иван Иваныч, был из семьи бурлаков – потомственный бурлак, речник. Река кормила. Река поила. Река – в зной – освежала. По реке – когда наступал ледостав – ездили в другие села, гнали лошадёнку, впряженную в сани, а потом катили в машине и крутили баранку – река дорогою была. Вся земля и вся жизнь была – река, и потому чуваш Юрий Опарин так любил реку, так любил...

– Так люблю реку – силы моей нет! Волгу! Суру! Да любую речонку малую! Вода, вода... Шыв...

Я спрашивала Юру, как по-чувашски будет: хлеб, вода, земля, свет, жизнь. Только как будет смерть – не спросила.

* * *

Ирина Петровна Опарина когда-то была начальницей всех трёх мизгирьских домов отдыха. Тогда ещё живых. Жив был и № 1, и № 2, и № 3 – дом отдыха для инвалидов, там отдыхали туберкулёзники и астматики, безногие и безрукие; и Ирина была большою начальницей, и деньги у неё водились, и к поклонению она привыкла, и к подаркам разным – к конфетам шоколадным, к пузатым бутылкам дорогого коньяка, к отрезам и сервизам, – и на тот берег Волги её с высоким начальством и ещё с другими смазливенькими сельскими бабёнками, лёгкими на передок, на лодках возили – развлекаться; и развлекались, как умели, широко, вкусно, благо жизнь была одна, и красиво, и сладко было в ней пить-гулять, за кустами старых вётел и ракии волжских, на тёпленьком золотеньком песочке целоваться-обниматься – при живом-то муже, – а что такого? Он-то, живой муж, сам хрен не промах! Сам – с краляшечкой очередною – за углом да под кустом, то на Ястребином бугре, то на Венце, у церкви, и не стыдно сношаться-то, голожопым, у храма Божьего в кустах да в осоке рослой, охальники! Думают – не видать их там! Очень даже видать! Всё село над ними ржёт, как кони! А мы – культурненько; с шампанским да с коньячком в бокальчиках, под закусочку знатную. Со стерляжьей ухой, а в ухе – оранжевые, золотые звёзды жира плавают. А мы – с балычком, с молочком-крендельком... при закате... на лодках музыка играет... магнитофон новомодный, «Романтик» называется... Ну и что, начальнику подмахнула?! Зато дом отдыха номер два с новыми каменными корпусами к будущему лету будет! А-а! Знай наших!

А Юрка? Что Юрка? Юрка – потаскун. Ему свое хозяйство вечно некуда девать, вот он и суёт его куда ни попадя. Бабы к нему липнут, это да... будто бы он мёдом намазанный! И правда, бабыньки, может, он, это... себе... мёдом мажет?!.. втихаря... Да не, ну чё ты, Валька, у няво б ширинка слиплась, посцать бы захотел – дык не растянул бы... ха-а-а-а...

Ну вы, бабы! Языки развязали! Это ж муж мой, однако!

И то правда.

Я ж ему детей родила, между прочим! Двух! Дочь! И сына!

И то правда.

Сыну-то он как радовался! Мужики – они сынов всегда сильно ждуть!

А мой-то вот дочерь хотел. И я ему – родила девку!

А давайте, женщины, споём!

И то правда. Хорошее дело.

– И петь будем! И гулять будем! А смерть придёт – помирать будем... И-и-и-и-их!..

На жаре хорошо из горла вовсе не водка идёт. На жаре хорошо идёт как по маслу красное прохладное – на берегу в песок закопали, прохладцу сохранило! – грузинское вино. Киндзмараули, саперави. Самое то – в жару. А шампанское не идёт. Ну, коньячку можно... плесни мне... немножко... с лимоном... и бутербродик с балычком дай!..

Щас, Ирина Петровна, щас, вот, пожалуйста. Выпейте и закусите.

Я одна не пью. Себе налей, растяпа!
Уж налила...
А где начальнички-то наши?.. Убрели?.. Надоели мы им...
Они, Ирина Петровна, этта... Рыбку ловят. На удочку. Веселятся.
На удочку! Идиоты! Надо было сеть взять нормальную. И язей ната-
скать хороших, с лапоть, в доме отдыха зажарили бы...
Ирина Петровна... Дык вить шас... запрет...
Для кого запрет, а для меня – нет! Запомни, дура! Для меня – ника-
ких – запретов – нет!

* * *

Для Ирины Опаринной и правда не было никаких запретов. Она дела-
ла в жизни что хотела. Она дружила с поселковой начальницей, Аглаей
Царапкиной; вместе пили, вместе пели, любовниками щедро менялись;
вместе сожгли на сельском кладбище чудную, грациозную, как девушка
на выданье, деревянную церковку, что, наверное, самого Пушкина пом-
нила, когда он тут по Владимирке в губернский город Оренбург проезжал.

Старухи выли на всё село. Выли по церкви, как по усопшему.
Плакали.

По домам – Псалтырь ночами бормотали.

Дома Божьего лишились. Негде было теперь молиться, кроме как – в
домах перед киотами прабабкиными, перед иконами чёрными, алыми,
как кровь, мрачно-золотыми, прадедовыми.

Молиться в село Колокольнево ходили, к марийцам; в Залужье на па-
роме переправлялись, до собора, в любую жару и в любой, хоть лютый
холод, добредали. Народ не может ведь без храма, без молитвы, без ис-
поведи, без Бога. Так, как моется народ в бане, драит кожу мочалкой, –
так же очиститься хочет, душу очистить на исповеди, покаяться и при-
частиться. Чистоты люди хотят. Без чистоты – нельзя. Покойника и то
обмывают. А живой? Как грязный, во грехах, будет жить?

Да ведь вот так и жили. Без церкви.

А та церковь, что на Венце стоит, так она ж вся разломанная! Ни
стен! Ни апсид алтарных! Росписи все напрочь сцарапаны! На полу –
дерьмо собачье и человечье вперемешку! А вместо купола – живое
небо, днем синее, ночью чёрное, – купола-то нету, пробили, взорвали,
что ли... Лишь один выжил куполочек, над колокольней, крохотулечка,
весь покрыт вроде как рыбьей чешуёй, такими пластинами... Колокол –
вырвали, как язык... Наверное, в Волге утопили.

Крест на куполке том набок повалился.

И так эту церковь-развалюху Юрий Иванович и фотографировал: с
покорёженным крестом, без купола, со стенами, будто бы бомбили её
с воздуха. Кино и немцы, седьмая серия! Да ведь это всё свои делали,
свои... русские... никакие не фашисты, а свои...

– Русские?.. Не-е-ет, родненька, народ делится всегда так: на своих
и несвоих! На народ – и власть! И так было, есть и будет всегда. И – не
рыпайся! Так мир устроен. И его так люди устроили. Люди! Не Бог
твой!

* * *

А потом у советской царицы Мизгиря, Аглаи Федоровны Царапки-
ной, дом спалили. Дотла.

Дознаваться стали. Всё село кверху ногами приподняли. «Кто, кто! – как бешеная, орала Царапкина. – Узнаю – никакого суда! К чёртям суд! Сама подлеца задушу! Вот этими, этими руками!» И руки народу показывала. Все в золотых перстнях. Милиция с ног сбилась. То одного в каталажку заграбастают, то другого, то третьего. Трясут. Ничего не стыкуется! Канул поджигальщик – как в Волгу! Как по Суре к чувашам уплыл!

И вот что получилось.

Кто-то – на Юру Опарина – пальцем показал.

Показать – дело быстрое и нехитрое. Но тот узловатый палец Царапкина издали увидела.

Взяли Юру быстро.

Судили.

И – в тюрьму посадили.

При советской-то, нашей, молодецкой, доброй такой власти! Справедливой!

А он на суде и не отрицал ничего.

– Я это, знаешь, Ирине тогда шепнул только: бесполезно отпираться, Царапкина всех судей купила, прокурора купила, всё равно засудят. Ей надо, чтобы виновный был. Ещё я тогда Ирине сказал: Ир, подавай на развод. Если меня накрепко засадят – на большие срока – ну чё тебе куковать? Ты, это, замуж выходи. А потом, ну, чтобы... дурной славы о тебе не было: вон, мол, идёт... жена преступника. Я-то уж тут, в тюрьме, как-нито. Я – сильный, даром что малорослый! Я – выживу! Давай, баба, разводишься со мной! И не мешкай!

– И что? Развелись вы?

Обнимаю взглядом Юрину избу.

Он подмигивает мне весело.

– Развелись!

– А вместе живёте?

– А вместе живём! – Подмигивает мне другим глазом. – И вместе погрём.

* * *

За окном шумит лето. Светлое, жаркое, благодатное лето. «Отдам всю зиму за один летний день!» – это Юрины слова. Я их с детства помню.

Когда я ещё девчонкой была, и мы, наша семья, на лето снимали комнату у семейства Медведевых, а медведевский дом как раз напротив Юрино дома, – я помню Юру: с баяном, босой, по глинистой дороге он шёл вперед, в жару и солнце – и вёл за собой, так гусыня ведёт за собою гусят, послушных отдыхающих; и громко, оглушительно кричал им, оборачивая к ним кудлатую голову из-за громадного баяна: «А сейчас мы пойдём на Коршуново гнездо!.. Там жил всемирно известный писатель Максим Го-о-о-орький!.. А поглядите, ув-важаемые, направо!.. видите дерево?..» – «Видим, видим!» – хором отзывались отдыхающие. «Так вот! – возвышал голос босоногий Юра. – Здесь когда-то повесилась девушка!» – «О-о-о-о-о...» – горестно поникали головами потрясённые дачники. Не давая им опомниться, Юра возглашал: «Она повесилась... парню на грудь! Любовь у них была! Большая! Вот!»

Дачники облегчённо хохотали, хотя кто-то, толстый и одышливый, возмущённо кричал из летней, полуголой, пляжной толпы: «Не смешно!»

А Юра разводил руками, запрокидывал голову, глядел на облака и выкрикивал вверх – небу, облакам, птицам: «Эге-гей! Отдам всю зиму!.. за один!.. летний день!..»

И гусь бежал навстречу мне, а мне было десять лет, и я – в ворота, да не успела, гусь ухватил меня за ногу клювом и ну кусать, драть, вырывать из ноги кусок детского, сладкого мяса, свирепый, адский гусь, с красным, бешено-оранжевым, чёрно-золотым безумным глазом, я глядела в этот глаз птицы и видела там боль мою, жадность гусиную, ад и безумье, – и я схватила гуся за шею, рванула, оторвала от себя впившийся в плоть железный клюв, и так, держа обезумевшего жожака за шею, размахнулась – и кинула, швырнула его в гогочущую, белую, лапчатую стаю. Шмяк! Борьба дитяти и дракона. Борьба добра со злом.

Или – как Юра бы сказал – просто, безо всякого зла и обиды, обычная жизнь природы, обыденное сражение живого с живым?

Гусь – был. Я – была. И кровь обильно, темно текла по детской ноге. И рыдала я. И перевязки; и спирт; и мази; и уколы. А где же был мой Бог тогда?

А Он улыбался и тихо смотрел, как девочка храбро борется со страшной птицей.

А Юра, босой и весёлый, маленький, что твой рыбацкий котелок, шёл мимо с бессмертным баяном, и дачники шли за ним, как гуси за жожаком, и Юра гоготал, на солнце, на волжском жарком синем ветру, не хуже того гуся, а пел так громко, что в полях, далеко, на другой стороне реки, за Полынным озером и на Коровьем острове, слышно было:

– Огней так много золотых на улицах Саратова-а-а-а!.. Парней так много холостых!.. а я люблю-у-у-у... же-е-ена-то-ва-а-а-а!..

* * *

– А знаешь, родненька, чё я сейчас хочу больше всего?

– Ну что, Юра?

– На коне поскакать!

– А где ты сейчас в Мизгире коня-то возьмёшь? Нет у нас коней. У нас и коров-то почти не осталось... Народ только кур да гусей держит... ну если кто ещё козу заведёт, молочка-то охота...

– А вот есть у меня конь. Есть! Из самой Шатуни, с конезавода!

– А где он, Юра, где конь-то твой?

– Да вон! Выглянь в окошко! На площади пасётся! На постриженной траве!

Я выглядываю в окно, гляжу сквозь Ирнины герани и вижу чудо. На бархатной зелёной травке, на полдневном солнце, на просторной круглой площади, где парни самозабвенно играют в футбол, неистово лупят ногами по мячу, пасётся красавец-конь. Гнедой, чуть в золотинку. С длинной гривой. И машет головой, отгоняя слепней.

Я оборачиваюсь к Юрию Ивановичу.

– Юра! Это правда твой конь? Ты не шутишь?

И вдруг Юра становится серьёзным. Очень серьёзным.

Таким серьёзным, что мне – становится страшно.

Молчание обнимает нас, и время надвигается на нас невидимой, ещё неслышимой грозовой тучей, из-за Волги, из-за Суры, из-за утонувших под хищной водой золотых забытых песков.

Я слышу только звон с той церковки кладбищенской, сиротьей, нежной, деревянной, сожжённой.

А Юра поднимает ко мне внезапно ставшее тёмным, тяжёлым, земляным, изморщенное лицо.

Ещё живое.

Я беру его за руку. Я слушаю меха баяна, длинные хрипы в его старой груди.

– Да, – говорю я тихо, очень тихо, тише воды ниже травы, – да, Юра, ты покатайся на этом коне. А как... его зовут?

Юра разлепляет старые губы. Седая колючая щетина обнимает его смуглый подбородок. Глаза, как у коня, косят.

– Маяк его звать.

– Маяк! Гордо...

– Я сам гордый.

Он выпячивает грудь под рубахой. И он говорит мне то, что никакой человек не должен никому говорить, потому что никто не знает часа своего.

– Роднулька! Я скоро умру. На коне напоследок хочу покататься! У нас ведь был конь. Я всё детство – верхом. Однажды с рынка возвращался, с коня спрыгнул, увалился в телегу и заснул. И конь меня домой доставил. А дело было зимой, снегу намело выше крыши! Они такие, кони. Лучше собаки дом знают. Кони и пчёлы – всегда рядом с нами. И ещё куры и гуси. Помнишь, как тебя гусь тяпнул?

– Помню.

– И что? Всё ведь зажило давно!

– Да. Зажило. И шрама нет.

В меня летит это раскосое лицо, и оно уже цвета земли, и из груди уже доносятся влажные речные хрипы, и седые волосы шевелятся не на сквозняке из форточки, а на вольном ветру, обращаясь в седую полынь, в седой ковыль.

– Вот так и я помру. И лягу в землю, и закопают. И сровняется с землёй могилка. И заживёт этот шрам. Напрочь заживёт. Как будто бы и не было ничего. Не было – меня. Вот он, твой Бог!

* * *

Молодой конь скакал резво, налётом, по широкому полю, по узловой от комьев сохлой глины, как старая протянутая рука, просёлочной дороге, что уходила вдаль, в сизый туман, на Белянку, на Морозник, к марийцам. Он нахлёстывал коня жёсткой ладонью по холке, по крупу, конь был молодой, а он был уже старый. Господи, какой же старый был уже он!

Конь, коник, Маяк, Маячок, посвети ещё, посвети...

О чём он думал, когда, закрывая глаза, скакал по полям-лугам в сизый голубиный вечер, в серебряно-огнистую ночь? О том, как он появился на свет в приземистой, вросшей в землю чувашской избе? Он не запомнил этого – кто ж из живых своё рождение помнит? Но сейчас это видела странно молодая, моложе гнедого конька Маяка, его душа, или что там у человека внутри гнездится-то вместо души? Он не верил в Бога. Никогда не верил в Бога. Почему ж теперь он видел это – и тусклый, тёмно-золотой огонь свечи в сумеречной избе, и закопчённые чернью кровавых веков, как копчёные сурские сомы, иконы, и медный таз, и чистые полотенца, и слышал звериный, долгий крик роженицы, поднявшей к низкому бревенчатому потолку голые острые колени; и, глядя сверху на скуластую раскосую женщину, обряженную в серую

холстину, задранную к подбородку, а всё тело бесстыдно, широко раскинулось на полу, на старых овчинах, голое, смуглое, жилистое, лишь живот торчал коричневым страшным бугром, он понимал: это он, да, вот он рождается, лезет на свет, это его красное темечко, кряхтя, заталкивает обратно в лоно матери сидящая на корточках толстая повитуха в домотканом холщовом платье с красной вышивкой, это он, внезапно выпроставшись наружу из вечной тьмы, орёт как резаный поросёнок, так, что отец, за дверью стоящий, – он тоже видит его сверху, видит лысеющий затылок и жёсткие космы бороды, – широко крестится, с размахом, будто косою идёт по солнечной луговой траве.

«Сын! Сын родился! – Повитуха ловко подхватывает бруснично-красного мальчика на кривые, ухватом, руки и нежно подносит ко груди матери. – Сынок, Аннушка!.. Сын – помога в хозяйстве... сын – надёга и опора... умница!.. молодчина, легко родила...»

Конь скакал, далеко отбрасывая хвост. Голубой, ватно-серый туман медленно поднимался из разлогов, из распадков, от реки.

Волга, Волга, Волженька, мать моя, матушка моя... Люблю тебя! Прости меня... И ты, Сура, подруженька, девонька чистая, серебряная, прости...

Прости мне, жена моя Ирина. Я гулял, а ты мне мстила как могла, с другими гуляя, это всё я виноват. Простите мне, бабы, женщины, девчонки. Если я кого и обрюхатил на мизгирьских холмах, так дитё на свет народилось, оно и хорошо. Простите мне, мои судьи, за то, что в торжественном зале суда, под слепящими люстрами, говорил вам правду, а вы хотели слышать ложь. Простите мне, мои тюремщики, я зло смеялся над вами, когда в окошко, на скворечник похожее, вы совали мне миску баланды; мои сокамерники, я ж у вас легко выигрывал в прыгучий волейбол в тюремном дворе, а потом на нарах в умные шахматы, и вы, обидевшись, били меня, а я в ответ бил вас, крепко бил, так простите.

Прости мне, мой баян, кривыми пальцами на тебе, любимом, звонком и певучем, я всю жизньюшку, как мог, играл. Простите меня, пчёлки мои, плохо я порою за вами ухаживал, в ульях зимою в сенцах оставлял, на морозце, а надо было вас в избу, в тепло, да тулупами закутать. Прости, топор мой, мало, нерадиво я тобою помахал! А надо бы ещё сруб срубить! Ещё один... хотя бы один, люблю, как смолка сосновая пахнет... Простите, грибы, ленился я вас поутру собирать, дрых, как суслик в норе, раньше надо было вставать да к вам бежать, боровики мои, рыжики, лисички, подосиновики, – до восхода!

Простите мне, мои дети, дочка да сынок, вы уехали из дома далеко, разбежались по свету, рассыпались хлебными крохами, и вас чужие птицы клюют, и я вам редко пишу, да почти не пишу, неграмотный я, а что писать-то? Всё зря! Не строчить письма бесполезные надо, а жить! Пока живётся!

Прости меня, ты... ты... как тебя зовут?.. эх, память моя...

Он подскакивал, трясся в седле, склонялся вперёд и крепко обнимал коня за шею. Вдыхал запах конского пота. Они были с конём одно, как одно он был все эти годы с нею, – с нею, а как её звали, он и забыл, то ли жизнь, то ли женщина, а то ли любовь, а то ли ещё как, – и вот её больше нет.

Конь, хрипя, вытаращивая лунный, бешеный глаз, выбежал на крутояр, и он, скакавший дотоле с закрытыми глазами, глаза открыл – и волжская вечерняя густая синь мазнула ему по лицу, хлестнула по гла-

зам, по губам, облила холодной осенней водой из чана, где вперемешку плавали рыбы и звёзды.

Дорога пролегла по холмам вдоль реки, он, на скаку, поворачивая кудлатую голову, теперь мог всё время видеть Волгу, и он не остановил, не примедлил коня, позволил ему резво скакать дальше, озорнее, веселей. А сам голову всё оборачивал, старую жилистую шею всё напрягал; всё на Волгу глядел.

«Рожденье моё я увидел. Какая ты, моя смерть?»

И будто бы конь Маяк, чуть морду повернув, тихим храпом, тёплым духом из ноздрей вышептал ему:

«Юра, Юра Опарин! Не думай о смерти! Всё природа сама сделает за тебя, не заботься».

И, чувствуя безошибочно свой близкий час, он ещё сильнее хлопнул коня ладонью по потному, жаркому боку, – и ещё подумал: конь домой вернётся, дорогу найдёт, как бы далеко ни заскакал в леса и поля, – и, глядя на синюю, уже ночную реку, с ожерельем алых и золотых, как чувашские мониста, рыбацких костров на том берегу, в жёстком, как кость, старом седле трясясь и подпрыгивая, он подумал о том, как царственно прекрасна его убитая, людьми наполовину погубленная, но ещё золотая и серебряная в ночи, ещё живая река, как хороши, чисто рассыпь светлых живых жемчугов из старых мрачных перловиц, крупные звёзды в небе, как слепят, до слёз, золотые материны праздничные мониста, что теперь лежат, никому не нужные, среди всякого барахла на дне старого сундука, отблески последнего солнца и молодой луны на нежных волнах; как хороша и мила жизнь, как велика и неотвратна старость, и как страшна, проста и непостижна смерть.

* * *

...Я проснулась. Мне приснился странный сон.

Юрина изба, и вроде пустая, и ставни нараспашку, и оконные створки открыты, а иные и разбиты. Воздух, ветер в пустом доме гуляет.

Я медленно подхожу к пустому дому. Пытаюсь заглянуть в окно. В разбитое стекло. И не могу.

Оттуда, из дома, тьма дышит землёй. Так дышит земля.

Хочу коснуться ставен – не поднимается рука.

Я слышу далёкие звуки баяна. Слышу: гудят пчёлы. Зачем? Уже холодная осень, и Покров прошёл, и поутру хрусткий ледок на лужах. И речные излучки мрачнеют всё гуще, всё печальней.

Пустой дом не видит и не слышит меня. Мне нечего ему и не о чем говорить.

Человек прошёл по лику земли. Неужели нас всех ждёт пустота, тишина?

И я глохну на миг. А потом слышу Мирь опять.

Я слышу, мой Бог шепчет: не бойся.

Я слышу далёкое ржанье коня.

Он пасётся на осеннем подмёрзлом лугу, на последней траве.

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Как я сюда попал, в Иерусалим, даже сейчас не могу понять. Всё сошлось как-то чётко и враз, все звёзды. Ну да я же такой, сам Серафимушка мне брат, а Матушка Господа мне матушка, и это я без зазнайства говорю, а просто правду говорю. Правду говорить легко и приятно, кто-то сказал, я где-то услышал это выражение.

Мой друг Родя Волокушин появился, вырос как гриб из-под земли, мотается у меня на пороге: «Андрюха, два уха! Что киснешь тут, дитя подземелья! Я спонсора тебе нашёл, он твои картины хочет купить, я ему фотографии показал, он говорит, это духовная живопись! И сам мужик такой, знаешь, духовный! От тебя, умоленного отшельника, недалеко ушёл! По святым местам шастает, в святых источниках купается! И знаешь, что он мне ещё сказал? Что хочет тебе сделать сюрприз! Какой-то, ёлки зелёные, сюрприз! И вроде сейчас не Новый год, а, Андрюха?! Не время вроде для подарков?!»

Пришёл этот богатый человек. Спустился ко мне в подвал, хромая. Сильно хромал, на одну ногу крепко припадал, да ещё и волок её за собой. Я постеснялся его спросить, что с ним; родился он таким или покалечился; мне потом Родька сказал, он в авиакатастрофу попал, самолёт падал на деревья, на лес, многие погибли, единицы остались в живых, вот он остался. Самолёт развалился на куски. Мужик этот вцепился в ель и сидел на ветке, над тайгой это было, а потом устал, измучился и свалился на землю и сломал ногу. Его чудом не съели волки. И чудом нашли спасатели. Все на этой земле кого-то спасают. Один топит другого, убивает, а третий его спасает. Вот вся наша жизнь.

Всё наше чудо.

Богатый хромец надменно ткнул пальцем в мои холсты: «Вот этот мне! Этот! И этот!» Чуть не сказал: «Заверните!» И выбрал же, чёрт, «Безмолвную», «Ангела» и «Матушку», самые дорогие моему сердцу работы. Он стоял с вытянутым указующим перстом, а я спросил своё старое сердце: сердце, ты не будешь скучать по этим холстам? Не будешь тосковать? По портрету кришнаитки Лены, по Матери Господа моего, по золотому ангелу моему хранителю? И чакра анахата так отвечала мне: никогда не тоскуй, никогда не страдай. Всё уплывает, уплывёт и это. И сам ты уплывёшь по водам времени в лёгкой лодке навстречу любви. Люби и отдавай всё своё с легкостью. Я улыбнулся богатому хромому человеку и сказал ему: «Денег не надо».

Он очень удивился. Просто опешил, молча стоял как столб. «Как это не надо?» – растерянно спросил он. Он, наверное, подумал: я полный придурок. Живу в нищем подвале, глодаю сухую корку, и денег не надо мне? Что-то тут не так. «Так, не надо, и всё», – развел я руками. «Нет, вы возьмёте деньги! Обязательно! Иначе я уйду и больше не приду!» Кажется, он всерьёз разобиделся. Деньги, ведь это их, богатеев, родной

язык, они все говорят на языке денег. А я этого языка не знаю. Мы с ним как два иностранца. Стоим друг перед другом и объясняемся жестами. И он передо мной пальцы веером разводит, а я ему кланяюсь, сложив руки на груди. Мы две планеты. И никогда мы не столкнёмся в ночном чёрном небе.

«Ну раз вы денег не берёте, – выпятив губу, говорит он мне, – тогда я вам делаю подарок. Вы, – говорит, – духовный человек, и я тоже духовный. Повысьте свою духовность. Вот вам билет в Иерусалим, на явление Благодатного Огня в храме Гроба Господня, иначе Воскресения. Вы никогда не были в Иерусалиме на Пасху? Вот, значит, побываете». И вынимает из кармана билет на самолёт и мне суёт. И я беру, а что мне ещё остается делать?

Родька Волокушин помог мне перевязать крест-накрест картины, чтобы удобнее было в машину грузить. Машина у хромого богатея отличная, «Лексус», такой мощный джип. Никогда уж мне на такой машине не покатаюсь! Да и если бы я вдруг непомерно разбогател и купил её, как мне, старому грибу, сдавать на права? Зрения уже нет совсем. Слепну, и даже яркие краски не спасают. Перестая видеть мелкие детали. Зато Третий Глаз работает вовсю. Вижу много чего. Да не каждому говорю. Молчать тоже надо уметь.

Погрузили мы мои работы, уехали они навсегда, вернулся я в подвал, а там под чайником свёрток лежит. Разворачиваю – доллары. Целая пачка толстая. Я их впервые увидел так близко. Волокушин ржёт. «Что, испугался?! Ну всё, теперь ты до конца жизни обеспечен, старик! Живи и в ус не дуй!» Я протянул пачку денег Родьке. «Может, тебе они нужнее, чем мне?»

Родя повертел пальцем у виска, кинул пачку на мой грязный стол, поближе к горячему чайнику и оплившей свече, и убежал сломя голову. Бежал и хохотал. Надо мной.

Я доллары эти все отдал дочке моей Софочке и внукам своим. Себе малость оставил: на пропитание и на курево. И на кофе.

Кофе в моём возрасте пить много нельзя и курить много нельзя: мне сказали, инфаркт будет. Сосуды слабые уже. А я думаю себе: ну, пока меня не пристукнуло, ещё посмакую кофейку, ещё покурю. Подымлю и почмокаю. Слаб человек, одной ногой в могиле, а всё хочет наслаждаться, дрянь такая.

И вот я здесь, в Иерусалиме, и стою в храме Гроба Господня. Сегодня Страстная Суббота. А завтра Воскресение Господне. Пасха. Народ в храм набивается, всё прибывает. Сюда трудно попасть, вход по особым билетам. У меня такой билет с собой имелся, мне хромец его дал, вместе с самолётным.

Люди входят. Люди втекают. Толпятся, охают, вздыхают. Кто-то забрался на плечи друзей, это эфиопы, а может, арабы, у них лица чёрные и потные. Мужики сидят на шеях других мужиков, кричат и бьют в бубны. Цирк! Люди встают всё плотнее, и всё жарче во храме. Мне тоже жарко. Голова кружится. Мне бы пора пить таблетки и с собой их носить; я слишком беспечно к себе отношусь. Пусть будет всё, как Бог решит! Ведь Он меня с небес видит. И теперь видит. Мою немощь, мою болезнь и слабость. И силу мою видит.

Странные голоса, толкотня, смутное пение, тёмные фрески по стенам. А может, это ожившие фигуры тех, кого давно на свете нет?

Голоса звучат. Я слышу голоса. Тёмное, дальнее пение. Идут тёмные печальные монахи, поют о том, как Иисус спускается в ад. Смелость надо иметь, чтобы сойти в ад! И я себя спрашиваю: а ты смог бы? Ты бы – отважился?

Важный человек в простой рубахе движется сквозь толпу. Толпа расступается. Люди жмутся друг к другу как дети. Прижимаются друг ко другу локтями, животами. Я слышу, кто-то рядом говорит по-русски: «Это патриарх Иерусалимский, патриарх, глядите! Он в одном полотняном подряснике!» Я понимаю, почему он в одном подряснике. Это чтобы все видели, что у него с собою нет ни спичек, ни зажигалок, ни кремня и огнива, ни тряпки, облитой бензином. Он не может зажечь Огонь. Человек не может зажечь Огонь. Только Бог.

А человек, ссутулившись, смиренно входит в маленькую кувуклию, в каменный тесный гроб, чтобы там, внутри, в кромешной тьме, умереть – перед явлением Света: перед Воскресеньем.

Меня теснили ближе к кувуклии. Внезапно погас свет. Мы все, паломники, молеельщики, оказались в густой и страшной тьме.

Страх, настоящий страх. Это страх перед рождением. И перед гибелью. Мне сказали: если Огонь не сойдёт, Землю ждет скорая гибель, и все в храме тоже погибнут. Сердце моё стукнуло раз, другой и перестало стучать. Как у ламы Итигэлова. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Господи, взмолился я, я так грешен перед Тобой! Мой грех может перевесить на чашах Твоих весов. Прошу, прости мне мой грех! Я лукавил перед Тобой, я негодовал и насмехался, я ругал ближнего и обманывал себя. Прости мне, если можешь! Но Ты же всё можешь!

Густая тьма пахла имбирём, корицей и кедровой хвоей, немного лимонной цедрой, немного розовым маслом. Она пахла Востоком, Иисус ведь жил на Востоке, он, Бог, в бытность Свою человеком сполна вкусил Восток, его пасхальных ягнят и его пресные лепёшки, его танцы живота и его песчаные бури. Он раскусил Восток, как сладость, как спелую смокву. Тьма, и очень страшно. Это ли страх смерти? Да ведь в эти минуты, здесь и сейчас, мы все уже умерли; чего же ещё страшиться?

Да, вот так там и будет, по ту сторону жизни, думал я тогда, стоя в толпе, стиснутый людьми, в тепле их дыханий и задыханий, в поту-стороннем поту их рук, шей и лбов. Моё лицо тоже было всё мокро. Плакал ли я? Помню, что молился. Хотел вытереть с лица пот и не мог – руки мои были с обеих сторон зажаты чужими телами. Чужими? Родными! Разве все мы тут не были любимые, бедные дети Божьи?

Тьма. Медленно, раз в минуту, бьётся сердце. Я не хочу считать его удары. Вокруг меня, за спиной и впереди молчат и дышат люди. Они ждут. Мы все ждём. У всех шевелятся губы. Все шепчут. Все молятся. Молюсь и я. Что значит моя крохотная молитва перед огромной, во весь храм величиной, во всю Землю величиной, всеобщей молитвой всех людей? Всех, кто верует и любит?

Единое во множественном, и множественное в едином. Из таких малых молитв складывается общая, святейшая. Складывается мольба о спасении. Не сегодня! Не завтра! Боже, пожалуйста, отодвинь от нас гибель! Пронеси мимо нас чашу сию!

Во тьме заиграли нежные сполохи. Еле видные молнии ударили людям в плечи и затылки. Их головы обнимали призрачные нимбы; они слабо светились, вспыхивали и таяли. И снова наваливалась тьма. Я задыхался. Тьма забила мне лёгкие. Я ловил ртом воздух, как рыба,

вытащенная из моря на берег. Люди задышали громче, тревожней, прерывистее. Я едва не терял разум. Господи, не дай мне сейчас умереть! Я ещё хочу увидеть Твой Огонь! Я ещё хочу жить! Жить! Господи, во имя Твое!

Огненные змейки юрко и быстро ползли из-под купола, сползали по стенам. Гасли. Ни шёпота. Ни стопа. Все задавили, затоптали внутри себя своё страдание. Сейчас здесь не было никакого людского страдания, никакой скорби, никакого плача. Я будто поднялся над полом, завис на минуту, а потом стал медленно подниматься к куполу. И из-под купола я видел и чувствовал всех. Я слышал, как молятся старухи монашки. Видел, как текут слёзы по потному, смуглому лицу араба с серьгой в мочке огромного волосатого уха, и он волосатой мощной рукой оттирает солёную влагу с подбородка, со скулы. Я слышал эти слова, потому что я их сам повторял: Господи, не оставь нас. Господи, не покинь.

А ещё думал: надо б помолиться мне за сынка моего Юрочку, что в тюрьме сидит. Избили парни мужика прохожего, ограбили, а среди тех парней Юрочка мой был; а мужик тот мимохожий чуть не умер, еле выжил. Всех изловили и посадили. Я Юрочке теперь письма пишу каждый день. Мысленно. И на бумаге тоже. Потом бумагу четверо складываю и никуда не отправляю, ни в какую тюрьму. Господи, и Юрочку моего не покинь!

Тьма вся пропиталась этими нежными, еле видными вспышками, зигзагами света, что был лишь воспоминанием о свете. Может, нам одна лишь тьма и осталась, а света больше не будет никогда. Не станет! И мы во тьме, слепые, протянув вперед руки, побредём по земле, лишённые солнца, лишённые огня и счастья, и будем хвататься друг за друга, и будем ощупывать мокрые лица друг друга, повторяя: «А помнишь?.. А помнишь?..»

Тьма колыхалась и густела. Уплотнялась. Сквозь неё уже нельзя было пройти, не изранив кожу, не сломав руки и ноги, не разбив упрямый голый лоб. Тьма обняла нас всех. Крепко обняла. И одна лишь молитва осталась на пересохших солёных губах – молитва о чуде, молитва о Свете.

Свет! Милый! Мы больше не будем. Мы не виноваты. Мы исправимся. Мы снова полюбим. Мы больше не убьём. Не обманем. Ты только приди. Явись! И мы, люди Твои, станем другие! Совсем другие! Милый Свет, ты же видишь, на самом деле мы хорошие! Мы просто заблудились во тьме. Мы заблудились и ошиблись, мы не поняли Тебя, мы слишком рано ослепли и не поверили в то, что прозреем. Свет! Родной! Радость! Радость наша! Радость моя! Сойди! Только сойди, счастье, единственное земное наше, бедное счастье, сойди, слышишь!

Под куполом будто открылось круглое окно. И из окна этого вниз упал прозрачный, чуть голубоватый столб. Внутри столба весело плясали золотые искры.

В этот миг распахнулась дверь кувуклии.

И, крепко держа в обеих руках толстые пучки белых длинных свечей, из чёрной двери каменного гроба вышел патриарх. Он высоко поднял над собой Огонь.

Это горел Благодатный Огонь.

«Агиос Фос! Агиос Фос!» – закричали кругом люди по-гречески, и по-латыни закричали, и по-арабски, и по-эфиопски, и по-английски, и по-сербски, и по-грузински, и по-русски, да, я услышал рядом с собой

хрипкое, ликующее: «Благодатный Огонь, ура, сошёл, Господи, спаси люди Твоя!» Из окошек кувуклии высывались пучки пылающих свечей, и их подхватывали люди и быстро передавали из рук в руки; свет, что падал из отверстия под куполом храма, всё ярчел, столб света наливался ярким, торжествующим золотом, и я, вот чудеса, оказался прямо в этом столбе света – в круге Света, рядом с гробовой кувуклией, рядом с белобородым патриархом с неистово сияющими глазами, с поднятыми над головой руками, и в каждой руке мощно, победно горит свет, рвётся из рук, и тьмы больше нет. Где тьма? Нет её!

И вот уже по всему храму горит Огонь, люди передают его из рук в руки, возжигают от Огня свои, загодя припасённые свечи, мажут Огнём себя по лицу, по рукам, окунают в Огонь лбы, брови и волосы, а он не жжётся, он не обжигает, не сжигает, он сейчас жизнь, а не смерть! «Ещё зажегся... слава Богу... спасены...» – слышал я шёпот рядом и не мог оглянуться. Я смотрел на Огонь. Зрачки мои стали Огнём, ладони мои и плечи мои стали Огнём. Я с радостью сгорел бы в этом Огне, полностью превратился в него, остался им навсегда. И это была бы лучшая участь.

И все, кто стоял во храме и сжимал в руках, в кулаках пылающие свечи, молились об этом: мы станем Тобой! Живым Светом! Мы готовы умереть, мы больше не боимся смерти, если за её порогом Ты, Живой Огонь! Мы поняли, Ты изначален, всё началось Тобой и в Тебя же вернётся. Огонь, Ты и есть Христос Бог, это Ты Его дыханье, Его глаза и Его объятие! Каждый из нас может обожиться, становясь Тобой, Агиос Фос. Не отвергай нас! Обними нас! Благослови нас!

Святой Свет – против гибельного пламени.

Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Это я смутно вспомнил какие-то бредовые, старинные слова – то ли из церковной книги, то ли с какой церковной службы, на которой я стоял когда-то давно, а батюшка шёл во храм по кругу, тяжело ступая по каменным плитам, и махал перед носом у меня пахучим, дымным кадилом. Да, где твоё жало, проклятая смерть? Свет заливал храм. По лицу патриарха Иерусалимского текли слёзы и вспыхивали огнями. Все водили в воздухе пучками свечей, махали ими, пили и целовали Огонь, и у меня в руке невесть откуда взялся такой же пук тонких, белых, длинных свечей, какие и все держали, и кто-то поднёс к моим свечкам пламя и возжёл их, и они занялись как маленький костёр, вспыхнули весело и бесповоротно, и горели бешено, вольно, пламя взметнулось слишком высоко, пыхнуло, раскрылось ярким веером, ударило мне в лицо, я раскрыл губы, как для поцелуя, и вдохнул Огонь, и не почувствовал ожога, а только чистое, светлое, огромное счастье. Люди, хотел я крикнуть, глотая огонь, окуная в него щёки, губы, плачущие от радости глаза, люди, вот так целуйте и любите друг друга, как целуете вы сейчас этот Огонь! Вы, каждый, друг для друга – Агиос Фос! Так что же вы притворяетесь, что вы все злые, гадкие, хитрые, склочные? Вы изначально безгрешны. Вы – Свет! Не тьма!

Я окунул в Огонь ещё раз лицо, лоб и щёки и высоко поднял его над головой, и смеялся, не стыдился скалить в смехе беззубые свои, старые челюсти. Всё пылало. Всё ликовало. Всё стало внезапным и ярким счастьем. И теперь его было у людей не отнять. Не отобрать так просто. Все вцепились в него, в своё пылающее счастье, и высоко, ещё выше, выше поднимали его, чтобы все его увидели – и те, кого нет здесь, и те, кто далеко, и те, кто умерли уже и лежат под землёй во тьме. Я встал на

цыпочки, чтобы поднять мой Огонь ещё выше. И тут что-то случилось с Огнём, с храмом, с миром и со мной.

Я стал видеть сверху сначала купол храма, горящего торжествующим Огнём; потом крыши и купола огромного города Иерусалима, грозовые весенние тучи над ним, потом земля странно, громадно выгнулась, и я видел этот мощный выгиб земли, кромку густо-синего, мрачного моря, ржавые шкуры лесов и старое сыпучее золото пустынь, и бронзу грозных, кучно стоящих гор, и земля то сдвигала свои плоские плиты, то раздвигала, кренилась набок, и тогда я падал вместе с ней и не знал, за что ухватиться, чтобы выжить, спастись; я видел смещение и шевеленье огромной, дикой суши, человек её только снаружи изгрыз, как мышь, а внутри она была всё такой же мощной и сильной, и великой, и страшной, как от сотворения мира. Колыханье пространств сотрясало воздух, и воздух вспыхивал и гас, воздух, играя, становился то светом, то тьмой, солнце падало в чёрный прогал, звёзды ныряли в ясную синеву, всё мешалось и проникало друг в друга; я видел дышащий Космос, я, маленький человек, и страшно мне было. И крикнуть я не мог, мне горло сдавило молчаньем, последней молитвой; я мог лишь раскинуть руки и плыть, плыть в жидких пылающих слоях неба, над руинами земли.

Передо мной летели люди, и надо мной летели люди, и за мной. Они все держали в руках ярко горящие свечи. Вязанки свечей пылали, и лица людей горели ярче пламени. Между людьми летели кони, они весело ржали. Летели свиньи и козы, индюшки и цесарки, летели павлины и распускали радужные хвосты. Рушились царства, и летели, срывались в пропасть камни и апсиды дворцов, хворост хижин, срубы распадались на брёвна, и чёрные брёвна летели в пустоте, вспыхивали и горели, горели в чёрном неохватном небе. Летели дети, они орал от страха, летели выпавшие из печей горящие головни, и летели трупы, сожжённые в печах для многолюдных казней, и летели задушенные, синие люди, кто задохнулся газом в убийственных машинах-душегубках, и летели разрубленные пополам, обезглавленные, сожжённые на кострах; и, пока они летели, раны их срастались, искалеченные члены на глазах заживали, обгорелая кожа, вся в рубцах и шрамах, менялась на новую, гладкую и свежую, и прозревали слепые глаза, и тянулись вперёд сломанные, изувеченные руки. Они летели, звери и люди, камни и звёзды, и все они искали в бездонном небе Того, Кто будет их всех судить последним Судом – или, может, прослезится при виде их, протянет им руки для объятия, а губы для поцелуя, обнимет, прижмёт их к сердцу и обласкает, – а они уж и не верят в это, они уж забыли, что такое прощение и милость!

Вот это картинку я видел в храме Гроба Господня, всем картинам картину!

Мне такой никогда не написать.

Это можно только увидеть. Ну, немного рассказать об этом.

Не всё, в общем-то, можно рисовать. Кое-что рисовать и нельзя.

«Милости хочу, а не жертвы!» – как в бреду, шептал я сам себе, а может, шептал это моему Богу, Он сегодня опять воскрес, возродился, Он послал мне и всем нам Благодатный Огонь, и за это одно, за сияние это, за могучее горение этого Огня, я готов был пойти за Ним в огонь и в воду, трудиться и не изнемогать, готов был забыть всё, даже забываемое, и начать всё сначала, и любить, всецело, всем существом

и всей душою любить, даже если меня будут топтать и растопчут в грязь, в лепёшку за мою любовь, смешают мои кости и кровь с землёю и прахом.

Я летел в небесах с ними со всеми, с моими людьми, с моей земной несчастной живностью, с моей землёй, с моими руинами и иконами, и я молился так: Господи, я видел сушу Твою и море Твоё, землю Твою и небо Твоё, это Твоя Европа, это Твоя Азия, Африка Твоя и Америка, океаны Твои тихие и громкие, это Твои сироты, материки, каменные Твои плиты, что под дыханием Твоим сдвигаются с мест и плывут в никуда! Ты стоишь на материке, как на золотой льдине. Земля даст трещину, а Ты поднимешься над пастью ада и опять полетишь! Ты есть Свет, Тебя не поймать в мышеловку. За Тебя людям отрезают головы. За Тебя расстреливают и сжигают. Почему нам надо, так неистово надо верить в Тебя?!

И сам себе я ответил, задыхаясь, летя в светящейся бездне: потому, что все мы, каждый, к Тебе, в руки Твои вернёмся!

И здесь, в этом древнем старом старике Иерусалиме, где тысячи тысяч людей рубились и любились, где крестоносцы побивали сарацинов, а сарацины крестоносцев, где мечи обжигали воздух и рассекали живые, твёрдые и тугие тела, как нож масло, где гудели по всему городу дикие пожары и, стоя на коленях, плакали, молились и хрипло орали одичалые люди, а людей бросали в костры, как доски, как брёвна, здесь, в нежном Иерусалиме, где много сверкающих под луной громадных яблок, дынь и апельсинов, в ночи спят мечети и минареты, золотые купола, алые, красные, медные гигантские гранаты, полосатые тыквы и терпкие жёлтые лимоны, бронза смокв, яшма тёмной райской листвы, здесь, где веками люди дрались и убивали, один другого, за свою единственную веру, мы стояли в храме Гроба Господня, глядя друг на друга, мы, последние христиане, и мы понимали: ещё прольётся кровь, ещё убьют нас за нашу веру, и мы убьём в ответ, и на пепелище кто-то из нас, кто победит, начертает крест, а может, полумесяц. Мы, в дни крестовых походов, бились за Гроб Господень, а теперь нам за что биться? Народы с Востока бегут в Европу, в Париже стреляет во французов мальчик из Дамаска, русский Василий становится арабом Батталом и едет в Новый Халифат, чтобы резать, как баранам, глотки пленным англичанам. Храм! Гроб! Огонь Божий! Ты видишь, Боже, никуда мы от Тебя не убежали, как ни старались!

И тут я вроде как мгновенно выпал из круговращения, из клубящихся диких ветров. Оказался опять на дне сверкающего огнями храма. Оглянулся. Огни горели. Золотые космы огней вились во мраке, как на ветру. Рядом со мной, по левую руку от меня, чуть сзади, стояла маленькая женщина. Голова её и лицо были укутаны в плотный чёрный платок. Я сперва испугался её. У неё не было носа. У неё не было век и бровей. У неё не было губ, вместо губ шевелилась безгубая страшная щель, прорезавшая бритвенным лезвием плоть.

У неё не было лица.

Я не сразу понял, что у нее сожжено лицо. Обожжено.

Глаза на том, что высывалось из-под чёрного монашьяго платка вместо лица, на поверхности огромного ожога, смотрели чёрно и скорбно. Век не было, они тоже были сожжены. Её глаза глядели, как у совы: кругло, мрачно, не моргая. Видно было, что хирург попытался

слепить ей из её же кожи губы, пытался натянуть на слишком круглые глаза веки; у него не получилось.

Женщина глядела на меня чёрными, круглыми, как озера, бездонными глазами, и я стал тонуть в этих глазах. И ещё больше испугался. Пук благодатных свечей горел в моей высоко поднятой, как у грозного ангела, руке. Я опустил руку и поводил косматым огнём около лица. Потом поднёс огонь к лицу женщины. Она не отшатнулась. Но я увидел, как безгубый рот раздвинулся в уродливой страшной усмешке.

И я отдернул руку с огнём.

Что я делаю! Я устыдился. Огонь, я вижу его как жизнь, а она видит его как смерть. Но она стоит неподвижно. Стоит и смотрит на меня. Мне надо ей что-то сказать. О чём с ней говорить? У неё вместо лица сплошной рубец. Кожа наросла на лице, но зажила ли душа? Что она пережила? Зачем она здесь?

Она ничего не говорит, только молчит и смотрит. Может, она глухая, немая?

Я осторожно поднял горящий пук свечей над нею и над собой. Теперь огонь озарял нас двоих. Круглые совиные глаза прямо глядели в мои глаза. Уродливая монахиня с обожжённым до костей лицом смотрела на меня сурово, почти осуждающе. Я для неё был здоровый жлоб, весело живущий в мире здоровых, сытых и счастливых. Она же не знала, что я беден и слаб, и что я валяюсь на дне Божьего котла, и совсем скоро меня сварит и съест прожорливое время. Чёрные, как нефть, глаза. Фигуры не видно под суровой чёрной тканью. Если так жестоко обожжено лицо, значит, сожжено и тело. Сожжённая живьём стояла передо мной во храме, и я не знал, чем её утешить. Самим собой?

Завтра, только завтра ещё ждала Пасха, сегодня целоваться было рано, но я, далеко отставив руку с огнём, все равно приблизил лицо к лицу уродки, такими, наверное, в древности глядели лица прокажённых, отверженных, что при дорогах сидели и милостыньку просили, и троекратно её поцеловал. Под моими губами трещала и разлезалась горячая кожа в корке жёстких рубцов. Вспаханные шрамами щеки краснели. Значит, в них ещё текла, играла кровь.

Один поцелуй в щеку, другой поцелуй в щеку. На третий раз женщина резко повернула голову, и под моими губами оказался её страшный рот без губ. И я поцеловал этот страшный рот – хотел крепко, а поцеловал нежно, еле дыша, еле касаясь земной чёрной щели живыми губами. Это я землю, землю поцеловал.

И я не умер от отвращения и сознания от гадливости не потерял.

Чудо Огня, небесная Псалтырь! Я целовал её, взорванную, разрытую землю, живую святую книгу. Человек живет всех на свете книг, он и бессловесный стоит и глядит, как Бог, и под этим взглядом ты живёшь и умираешь. Я читал эту женщину, листал её сожжённые страницы. Буквы пожрал огонь, но вместо слов дышали, двигались сизые, золотые тени. На каждом из нас, на нашем лице, на груди и плечах, на ладонях и стопах, записаны великие молитвы. Мы, живя на земле, не знаем их, не повторяем на ночь. Но, стоя во храме перед лицом Огня, мы внезапно все их, до словечка, вспоминаем. И быстро, спотыкаясь, взахлёб, шепчем! И спешим выговорить, выбормотать, выпустить во тьму! Я бы тогда рёбра свои, как клетку, разбил, разорвал. И выпустил огненное сердце на волю. Лети! Пой!

Я искал губами чужие губы, а их не было. Горячее дыхание вылетело из-под земли и опахнуло меня, моё склонённое лицо. Я выпрямился.

Уродка по-прежнему круглыми неподвижными глазами смотрела на меня. Потом она попыталась закрыть глаза. На радужку напозли ошметки обгорелой кожи. С полузакрытыми глазами стояла она передо мной, маленькая, худенькая, как птица. И мне захотелось взять её на руки и унести отсюда. На волю. На воздух. Под солнце.

Я поднял руку и пальцем осторожно коснулся её безгубого, изрытого шрамами рта.

Радость и счастье пылали на лицах. Иконным золотом светились щеки и лбы. Все стали детьми. Или ангелами. Люди передавали друг другу Огонь, окунали лица в Благой Свет. Умывались им. Всюду вспыхивали крики: «Кирие элеисон! Боже благий! Тэр аствац! Синьоре абби пьета ди! Господи помилуй!» Все радовались и ликовали, а передо мной стояла несчастная уродка, сгоревшая однажды заживо, стояла во храме, и храм ничем не мог помочь ей, и Господь не мог.

И она смотрела на меня, будто бы я был её Бог, Господь, сошедший к ней то ли с небес, то ли с фрески, из-под купола, то ли вышедший из клубков огня, но она руки не поднимала, не тянула ко мне, и молчало её неподвижное бугристое лицо, и молчали совиные глаза, лишённые век.

А я смотрел на неё так, как будто я был её блудный сын, а она моя старая мать.

О чём она думала, эта маленькая, худая, величиной с птичку, закутанная в чёрную шерсть, иностранная уродка? Я не думаю, что она была русская. А она не знала, какого народа я. У нас обоих там, в этом храме, не было национальностей. И, может, это было верно. Перед Богом все равны. У Бога сто имён, и Он всё равно Истина.

О чём думала она, на меня глядя? Как, куда текли её мысли? А может, она не думала ни о чём? И я тоже отключил ум: я это умел. Без мыслей, без чувств, только глубоко и правильно дыша, мы стояли друг перед другом. Нас обнимал горячий воздух, в нас бил, как в бубен, безумный от радости свет, и языки огня плясали перед нашими лицами и за нашими спинами. Так мы стали ангелами, и у нас за спиной горели и бились слепящие огненные крылья. Мы не удивлялись им. Мы, два ангела, глядели друг на друга, и храм весь гудел и пел и кричал, и времени не стало, небеса свились в огненный свиток, и мы оба знали в нём каждую живую букву.

И я по-прежнему высоко держал руку с пучком пылающих свечей.

Воск стекал мне на пальцы, но я не ощущал ожога.

Кто-то рядом с нами, задыхаясь от радости, громко восклицал на незнакомом языке одно слово, всё время повторял и повторял его. Слово било меня в лоб, так бьёт кувалда в медный гонг. Потом тот же голос заполошно крикнул по-русски в огненную тьму обезумевшей от счастья церкви: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Поодаль люди пели хором; они пели от радости. Радость обнимала всех, и ради этой радости надо было лететь за тридевять земель. «Спасибо, Серафимушка, спасибо, Матушка», – шептал я, сам не зная что, называя имена всех, кого любил, и кто любил меня. Из-за любви я приехал сюда. Кто я? Будда, Кришна, Иисус, Иегова? Внутри еврейской земли стоит православный храм, и неужели и он сгорит в грядущем огне?

Женщина, не отрывая от меня глаз, разлепила то, что прежде было её губами. Она хотела что-то сказать.

Силилась вытолкнуть слово. Не смогла.

Её страшное лицо люто искривилось, пошло волнами. По нему медленно, трудно расходились круги страдания, будто в него, как в горячее озеро, бросили камень.

А потом оно опять застыло. Застыли рубцы и шрамы. Ожоги сковало льдом.

Молчание накрыло это лицо прозрачным зимним пологом.

Вначале было Слово? О нет. Нет. Вначале было горячее дыхание. И поцелуй. И слёзы.

И глаза, что, не моргая, глядят в самую сердцевину тебя, в твою первую и последнюю тайну.

И тогда я, крепко держа над головою Свет, сам наклонился к уродке.

И тихо, внятно сказал, так раздельно и понятно говорят глухим: «Я тебя никогда не забуду».

Может, она, иноземка, меня не поняла. Скорей всего, не поняла. Плевать.

Я всего лишь обычный русский юродивый, так мне всегда говорил, хохоча, Родька Волокушин, ну, я и сам это знаю давно, и сам себя таким считаю, и что в этом зазорного? Между прочим, такие люди, как я, их много на Руси. И раньше много было. Они ходили по дорогам, пророчили, проповедовали, выбрасывали всякие коленца, выделявали штучки. Их боялись, их гнали батогами, над ними издевались, на них показывали пальцами и кричали: вон, вон он идёт, голый дурак! – перед ними вставали на колени и, плача, благодарили их за учёбу и прозорливость. Нет, я не прозорливый, куда мне! Слишком часто я слышал от людей то, что я дурень. Сумасшедший, идиот, придурок, умалишённый. А знаете мою последнюю новость? Моя давняя армянка, почти забытая мной моя девчоночка, из моей юности, из моей армии, нашла меня, прислала мне письмо, у меня на земле, оказывается, есть ещё один сын, и его зовут Андрей, как и меня; моя весёлая армянка забрюхатела тогда, в брошенной ледяной избе с разбитыми зеркалами, выносила, родила и назвала ребёнка в честь меня. Ещё один Андрей-воробей! Гоняй, гоняй жирных ленивых голубей! На фотографии сынок мой новоявленный сильно похож на меня. Копия меня, никакой крови на анализ брать не надо, чистая работа. Вот несчастного сынка моего Юрочку выпустят из тюрьмы, и мои сыны подружатся. А может, плюнут друг на друга; это уж как получится. Иногда на меня накатит, и я вдруг вспоминаю ещё одну девушку свою, горячую, как головня из печи, отвязную девчонку из поезда «Горький – Адлер», бойкую проводницу, моего чёрного, косматого, тощего ангелочка. Где она теперь? Иногда мне кажется, я вижу её в городской толпе. Но зрение моё ослабло, и я могу обознаться. Да и зачем я буду окликать её? Всё, что было, всё уплыло. Я сказал ей когда-то, там, под стук колёс: я тебя везде узнаю. Враньё. Человек на лицо и тело с годами меняется неузнаваемо, а ещё сильнее меняется его нежная тёплая душа: черствеет, леденеет. А знаете, чего больше всего я хочу? Ни за что не догадаетесь. Я хочу однажды собрать котомку, вскинуть на плечо, выйти из подвала, даже не закрывать его ни на какой ключ, пусть тот, кому надо, вещичками моими попользуется, и двинуться в путь. По дорогам. По градам и весям. Буду идти и идти, и птицы будут петь надо мной. Буду встречать людей, и добрых, и злых. Злым буду говорить о добре. Добрым буду улыбаться, и садиться рядом

с ними, и есть и пить вместе с ними; а потом просить их: добрые люди, дайте мне, Христа ради, маленький шматочек вашей доброй, дивной души! От вас не убудет, дайте! И они будут отщипывать от своей горячей, вкусной, тёпленькой душеньки самый тёплый и вкусный кусочек и протягивать мне, и улыбаться мне. А я буду складывать чужую милостыню, чужой хлеб, чужие грязные монеты, чужие дарёные самоцветы в котомку, а может, вовсе не самоцветы никакие, а невзрачные камешки, как тот, что мне когда-то кинул Серафимушка около обители своей, когда я к нему, преподобному, паломничал. На камешке том выбита буква, не различить. Буква «М», мир! Буква «В», время! Буква «Л», люди! А может, любовь! Да, любовь. Любовь в век, когда все передрались? Эка чем удивили! Дрались всегда. В век, когда все смеются друг над другом и держат за пазухой камень, чтобы бросить в другого? И плюют другому в лицо? Любовь, вот насмешил старый дурак!

Ничего, ничего. Терпите. Я туже стяну резинку на своём конском седом хвосте. Я буду глядеть на вас и сам смеяться над вами, неразумными, беззубые дёсны обнажая, а вы терпите. Молчите! Я сам умею молчать. Молчанием можно сказать гораздо больше, чем словами. Вот я вам тут все словами говорил, и что? Вы теперь всё про меня знаете; да это вам только кажется, что знаете. А на самом деле я даже сам себя не знаю. И никогда не узнаю. Я, старый, беззубый, большеухий, как Будда, босой, как сам Иисус, буду ходить по пыльным и грязным дорогам и собирать в котомку души живые, мёртвые уже надоели, и всех мёртвых я оживить не смогу, мне бы всех живых воедино собрать, о лучшей участи и не мечтаю.

Звон доносится с дальнего храма. Звон обнимает меня. Я сижу у святого озера, идут круги по воде, я вынимаю из котомки горбушку хлеба и бутылку с водой, ем и пью. Гляжу на заходящее солнце. Над чем звонят? Над жизнью? Над чьей-то смертью? Надо мной тоже будут звонить, когда я умру. А может, не будут; я не царь, я – бродяга, над бродягами не звонят никогда. Меня вчера убили, а сегодня я воскрес. Воистину? А что есть истина? Я думал, что я знаю её. Нет. Не знаю. Да и вы не знаете. Никто не знает. Звонят в колокола, и глухие слышат. Они слышат всё. А слепые всё видят. Отпить из бутылки, ещё глоток! О, да у меня там не вода, а водка. Глоток, и ты сыт и пьян, и нос в табаке. Ещё глоток, и всё узнаешь сразу. Всё, что с нами будет. Любите слепых, они видят всё. Любите глухих, они всё слышат. Любите горьких пьяниц и бедных хромоножек на площадях ночных безумных городов – они пророчат о невозвратном.

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: города Нижнего Новгорода в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород), финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельвиг» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Лауреат XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2023) за книгу «Свинцовая строчка». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЗАПАХ ЛЬДА

Нет, не было ни льда, ни зимы.

Просто он, Иван Архипович, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы университета, не мог понять, как у него стерлись из памяти до серой, плохо различимой, даже выгоревшей картинке события тех трех дней. Что-то, а уж на память свою он никак не мог пожаловаться: и тексты любой сложности мог цитировать часами, и Гомера на греческом, и Шекспира на английском, и из классики русской помнил изрядно: «Евгения Онегина» и «За далью – даль» мог цитировать с любого места и до вечера. Конечно, он улыбался, когда ему говорили, что Дима Быков знает на память две тысячи самых разнообразных стихотворений, но и сам он помнил не одну сотню. А вот что и как тогда произошло в тот день, три месяца назад, он не мог восстановить в голове, даже сконцентрировавшись – произошло что-то катастрофическое, а в памяти один пшик!

Восемь утра. Выпив на кухне чашку кофе, он зашел в спальню, чтобы одеться и отправиться в университет.

– Ваня, открой форточку, что-то душно, – произнесла сонным голосом его супруга Соня, продолжая нежиться в постели.

Иван Архипович приоткрыл фрамугу окна, наклонив её – такие теперь форточки, – дохнуло сырым воздухом весны, и пошел себе в кабинет, чтобы просмотреть на компьютере почту. Сидя перед ноутбуком

за своим рабочим столом, он услышал, как его Соня захрапела – последние годы она стала иногда храпеть, но не сильно, и он уже привык к этому явлению и не раздражался. Но в этот раз что-то необычное послышалось ему в храпе – заволновался. Поднявшись из-за стола и пройдя к Соне в комнату, он увидел её, лежащей поперёк их общей большой двуспальной кровати, с раскинутыми руками, одеяло было сброшено на пол, а сама она показалась ему в тот момент большой и расплющенной, губы её трепетали, издавая хрип. Он сразу понял в тот момент, что произошло что-то плохое и, возможно, необратимое, бросился к постели, пытался приподнять Соню, взять на руки, истерично зовя её по имени, но это был уже конец.

А дальше и случилось то, что он сам теперь называл провалом в памяти: он не помнил, как и в какой последовательности в его комнате оказались дочка Аня с мужем, племянница, милиция, врачи и ещё какие-то люди. Потом были похороны, поминки, девятый день, сороковой и люди-люди-люди: друзья, знакомые и незнакомые – много людей. На похороны приехали товарищи из области, из Москвы, из Казани, звонили с соболезнованиями из Америки, из Израиля, из Латвии. Городской департамент культуры предложил свою помощь по организации похорон. Соня была не только крупным ученым-искусствоведом, но и, несмотря на свой пенсионный статус, продолжала оставаться значительной общественницей, членом каких-то советов, фондов, и огромное количество проектов замыкалось на его Соню: она была видным в стране синологом.

А потом, после похорон...

Только после похорон он понял, что всё последнее время жил в чужом мире, в чужом для него. Теперь, каждый день, возвращаясь из университета с лекций в свою квартиру, он попадал в Сонин мир. Он ощущал это всем своим нутром, всем существом: картины и фотографии, любовно оформленные в рамки, немислимое количество подушечек на креслах и диванах, салфетки, накидушки, вся мебель, всё устройство их жилища, которое всегда казалось Ивану Архиповичу привычным, естественным и уютным, вдруг стало для него чужим: всё это было создано заботой и стараниями его Сони. Оказывается, это был её дом, а совсем не его. И он это каждый раз теперь физически ощущал, чувствовал, что его личный персональный уют вдруг оказался чужим.

На стенах их большой, профессорской, в доме сталинской постройки квартиры висели десятки картин, но их развесила Соня, в понятном ей одной порядке, с определённым, важным для неё смыслом. Да, многие из этих картин были подарены Ивану Архиповичу авторами-художниками, друзьями, учениками, но здесь, дома они становились предметами интереса, ответственность за который несла уже Соня.

В спальне, кроме большой их общей кровати, стояли два миниатюрных комодика, на которых стояли часы, ночная настольная лампа и большое количество каких-то шкатулочек и статуэток. Все ящики этих комодов были забиты документами, открытками, письмами, приглашениями, грамотами и прочими женскими заботами: бижутерией, косметикой, коробочками непонятного назначения, кошельками, сумочками, лекарствами и разной мелочью, предназначения которой Иван Архипович не знал и даже не представлял. Шкаф-стенли был основательно загружен рубашками, трусами, носками, постельным бельем, скатертями, коробками с обувью, и Иван Архипович, который

никогда не заглядывал в этот шкаф, боялся теперь даже попытаться разобраться в нем.

Вторая комната, которая была когда-то детской, уже двадцать лет как стала их общим рабочим кабинетом: письменный стол, которым пользовался Иван Архипович, стоял у окна, но давно уже появился тут в углу ещё и маленький журнальный столик с ноутбуком перед глубоким мягким и неудобным креслом, которым любила пользоваться его Соня. Открытый стеллаж от пола до потолка во всю стену был забит книгами, журналами, альбомами с фотографиями, никому не нужными уже видеокассетами и папками с рукописями, но, когда требовалось найти что-то важное, профессор за помощью всегда обращался к своей Соне: только она знала, где стоит то или иное издание.

Он часто вспоминал и любил рассказывать друзьям в качестве анекдота случай, как в отсутствие Сони пытался разыскать на полках «Петербург» Андрея Белого, чтобы сверить цитату, необходимую для статьи; знал и помнил, что у него есть и дореволюционный вариант, вышедший в издательстве «Сирин», и советский, в серии «Литературные памятники». Но найти нужное издание среди залежей из тысяч книг своей библиотеки он не смог: книги стояли не только на стеллажах, но и в шкафах, и на антресолях в коридоре. Потратив на поиски час, с испорченным настроением оделся и пошел в книжный магазин «Дирижабль», чтобы купить книгу. И лишь дойдя до магазина, сообразил, что у него на столе стоит компьютер с подключенным интернетом, где можно было сверить любую цитату. Правда, это было давно, когда интернет ещё не стал ежедневной палочкой-выручалочкой.

Стояла тут, в кабинете, ещё и небольшая горка с набором Сониных безделушек или «амулетов», как их называл профессор; тут были и тибетские бронзовые Будды, и индийские божки, и китайские непонятные черепки, чашки, вазочки. Из всех замысловатых восточных слов, которыми легко оперировала Соня, Иван Архипович помнил только одно – «шинуазри», но что оно обозначает, он точно тоже не знал. Хотя, конечно, он, может, что-то и знал, но уж очень сомневался в правильности его использования.

Правда, нарушал хотя и безалаберный, но продуманный и рабочий стиль кабинета большой угловой платяной шкаф с сезонной одеждой: шубами, пальто, плащами, о существовании и количестве которых Иван Архипович тоже мало имел представления.

Спустя какое-то время после смерти Сони, Иван Архипович вроде стал привыкать к новому образу своего существования: обедать заходил к дочке Анюте, благо жила она рядом с университетом, прогуливался по набережной, встречал там знакомых, а потом до самого вечера просиживал в библиотеке. Приходил домой уже поздно, и охватывали тогда его убегающее тепло, тревога и печаль – такое сложное сочетание чувств. Ещё он, пусть и не часто, но стал рыдать – научился. Он не плакал, а просто его неожиданно, приступом начинало трясти и хотелось по-звериному завывать. И он выл, тихонько выл. Соня не отпускала его.

Шло время, и Иван Архипович рационально осознавал, что надо как-то перестраивать свой быт, но дочка Аня наотрез отказалась помогать ему в разборе маминых носильных вещей. Она очень жестко посоветовала ему:

– Собери все эти плащи и шубы, трусы и кофты в мешки и отвези в церковь, они там разберутся – кому что раздать. Не будешь же ты торговать

всем этим! Постирать – я тебе всё и всегда постираю, накормить – накормлю, а разбирать мамино – это ты стисни зубы и – сам! Ты потом поймёшь, почему так надо.

Профессор понял свою дочь – ей тоже было нелегко расстаться со всем тем, что осталось от мамы.

Как и у каждого человека, у Ивана Архиповича были свои физиологические особенности: к таким он относил своё острое обоняние и прекрасную память на любые запахи. Если большинство нормальных людей смогут почувствовать и даже определить запах чужой незнакомой квартиры, то редко кто сможет сформулировать, а чем же там пахло. Для Ивана Архиповича это не составляло проблемы, и по-прежнему он каждый день чувствовал, что в его квартире пахнет теплом, заботой и Соней – она никуда отсюда не уходила. Это был их общий запах, и его хранила их квартира.

В конце концов, уже по прошествии трёх месяцев, он собрался с духом и, разгрузив свои выходные от служебных забот и припася десять специальных больших полиэтиленовых мешков, решил разобраться в шкафу. Он снова просил помочь ему в этом нелёгком занятии свою дочку Аню, но та ответила как-то неопределённо, и пришлось начинать самому.

Двенадцать коробок с обувью он не стал сваливать в мешки, а плотно перевязал их все вместе скотчем, и получалась очень компактная упаковка. Шубы, пальто и плащи он снимал с вешалок и, сворачивая их грубо комом, засовывал в пакеты: от норковой шубы пахло знакомыми духами: то ли «Дали», то ли «Пикассо», старые духи. Запах он помнил, а вот название нет; он привёз их когда-то Соне в подарок из Испании. Полушубок из стриженной лисы тоже пах Соней, точнее Сониными духами; он даже на какой-то миг подумал, что напрасно затеял всю эту операцию по освобождению шкафа от Сониных вещей, а вместе с тем и её запаха. Все остальные платья, плащи и халаты тоже пахли Соней. Его вдруг осенило и, стыдно сказать, но он стал перебирать всё Сонино нижнее бельё: бюстгальтеры, трусы, рейтузы в надежде найти ещё какие-то Сонины знаки. Но увы, все остальные носильные вещи её были стерильны от личных примет; только лавандой чуть-чуть отдавало: Соня на каждую полку шифоньера обязательно клала пучок лаванды, аккуратно упакованный в специально изготовленный мешочек.

Анюта пришла во второй половине дня, уже после обеда. Она уселась на полу в спальне и стала перебирать наборы маминых фотографий, лежавших в комодике и разложенных по пакетам.

– Папка, я тебе оставлю альбомы с фотографиями, а вот эти, которые в пакетах, заберу. Ты не против?

– Да-да, конечно. Я сейчас, через пятнадцать минут закончу, и мы с тобой будем чай пить. Я вот тут, в белье, обнаружил набор серебряных ложек – заведи себе.

– Хорошо. Я машину заказала в «Серафиме». Это благотворительная организация, которая собирает вещи для переселенцев с Донбасса. Они со своей машиной приедут в девять утра и всё у тебя заберут. Ты дома будешь?

– Буду.

Разговаривали из разных комнат.

Иван Архипович завязывал последний мешок, когда к нему в кабинет вошла дочь.

– Я тебе там постель перестелила, всё перестелила. Я сегодня у тебя грязное бельё заберу в стирку.

– Спасибо.

– Папка! А ты что – мамину постель за три месяца так ни разу и не сменил? Там бельё то, на котором она умерла?

– Да. Анютка, ты знаешь – я ночью во сне иной раз руку туда про-суну и думаю, что она ушла на кухню. И снова сплю. И вообще – от подушки маминой до сих пор мамой пахнет, и потому мне ночью так спокойно. Своё бельё я раз в две недели меняю, как ты велела, и тебе отдаю на постирушку – ты знаешь. А мамину постель не трогал.

– Это нехорошо. Пойми – и у меня, и у тебя начинается новая жизнь. Только у меня – просто новая, а у тебя – совсем новая. А так – мама тебя не отпустит.

Потом сидели на кухне, пили чай, говорили об общих знакомых, о работе.

Вечером Иван Архипович принял душ. Внутри трепетала радость. Радостно было от общения с дочерью. Радостно было без возбуждения, а – легкая радость. Лёг спать.

Снился сон: зима, их старая квартира в доме «народной стройки», где он жил в детстве, он маленький, а мама с улицы носит в дом постельное бельё, которое висело во дворе на верёвках. Только это не мама уже, а Соня. Бельё замёрзшее, как большие куски фанеры, и пахнет морозом.

Он проснулся, перебрался на Сонину половину постели и обнял её подушку – подушка пахла холодом и льдом.

ТЫ БЫ ПОЕХАЛ?

Всю ночь снилось детство: наш старый двор, от которого ничего уже давно не осталось, с деревянными домами, вросшие в землю полуоткрытые ворота, выходившие на улицу Белинского, вымощенную булыжником. Во сне мы опять играли в войну: фашисты жили на другой улице, а петлюровцы в соседнем дворе. Но, если по-настоящему вспоминать детство, а не сон, то мы и не играли, а всерьез тогда собирались на какую-то войну. Только на какую? Уже и не помню. Ну, конечно, была тогда какая-нибудь война: то ли англо-франко-израильская агрессия против Египта, то ли ещё какая-то. И мы втроем планировали бежать в Египет, чтобы воевать. Мальчишки всегда хотят куда-то бежать, чтобы воевать. И в пять, и в восемь, и в десять лет: и убивать в таком возрасте не страшно, и о смерти не думаешь.

Некоторое время назад довольно продолжительный период я возвращался домой с работы пешком по той улице, мимо того самого места, где когда-то располагался наш двор – сейчас там высится какой-то стильный, блестящий и всё же очень уродливый бизнес-центр, а ничего знакомого вокруг не осталось. Правда, Кулибинский садик всё такой же загадочный и мрачный, храня свои вековые тайны, дремлет напротив нашего бывшего двора, которого давным-давно уже нет. Этот наш Кулибинский садик ни потревожить, ни переделать нельзя – бывшее кладбище. Я всегда останавливался напротив бизнес-центра на пару минут, а иногда даже выкуривал сигарету. Приятна боль воспоминаний, когда за нею нет утрат.

Вот и сегодня, потихоньку собравшись, чтобы не разбудить всех своих, я отправился туда, в Кулибинский садик, в котором и напротив которого прошло моё детство.

В апреле зимние белоснежные тона пропадают, всё чернеет: и дороги черные, и дома, и деревья все напрочь черные стоят, а настроение, жизненный тонус, всё равно значительно повышается – это ожидание весны. Нет – это уже весна.

Скамейки в парке ещё не выставили, но я знал о существовании двух низеньких широких пеньков, оставшихся от спиленных старых лип; они стояли метрах в пяти от главной аллеи, и на них удобно было сидеть даже зимой, сидеть и курить. В это раннее субботнее утро в парке не было ни души, да и апрельский сырой туман не располагал к гуляниям. Только издали я сумел заметить, что на моих пеньках уже расположился незнакомый мне мужчина – он курил. Я планировал пройти мимо, но незнакомец почему-то встал и отправился к выходу из парка, не дожидаясь моего приближения. Я не придал этому значения: ну, выкурил человек сигарету, ну, отдохнул - и пошел домой. Однако

когда я устроился на пенёк и закурил, мужчина вдруг развернулся и направился ко мне.

Остановившись в трех шагах, он внимательно стал рассматривать меня. Незнакомец был моих лет, одет в армейскую ветровку с капюшоном, хотя крупная голова его с обильной плешинной была не покрыта. Один глаз его был полуприкрыт опустившимся веком, из чего я сделал вывод, что у него был когда-то небольшой микроинсульт.

– Вы не узнали меня? – спросил незнакомец.

– Нет, – ответил я, – а что – должен?

– Да нет! Просто мы с вами вместе жили когда-то вот в этом дворе, которого больше нет. Меня зовут Владимир Четвериков.

– Владимир? Я помню вас мальчиком, а вот в таком виде, конечно, я вас не узнаю.

– Наш дом стоял вдоль Ошарской улицы, там, где сейчас статистическое управление. Но двор-то у нас с вами был один, общий.

– Да-да, я помню.

– Я, как и вы, тоже иногда захожу сюда помечтать, повспоминать, помедитировать. Когда трудно или плохо.

В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что надо бы побыстрее избавиться от этого навязчивого незнакомца. Но в последних его словах угадывалось болезненное состояние моего неожиданного собеседника. И весь его вид, и всё его поведение заставило меня напрячься. Я вспомнил даже этого Вовку Четверикова из детства – он был лет на пять меня помладше. Тут он присел на второй пенёк и тоже закурил.

– А что, сейчас как раз трудно? Или плохо? Владимир, а как вас по батюшке?

– Владимир Иванович. Да, и трудно, и плохо. Неделю назад я жену похоронил.

– Да, в такой беде помощников найти сложно. Только дети! И внуки, если есть.

– Увы, и детей больше нет, и внуков, наверное, тоже. Старший сын в Чечне погиб сразу после училища, а младший – в Донбассе полгода назад. Оба офицерами были, да и я – офицер, полковник в отставке. А Маша, жена моя, после этой второй похоронки сначала есть перестала, потом стала заговариваться: всё ей казалось что-то такое, чего и в помине вокруг не было, а потом вроде, как и совсем с ума сошла, я совсем её понимать перестал, и вот – через полгода финал.

Он замолчал, я молчал тоже.

– Я, наверное, тоже с ума схожу, – промолвил тихо.

– Что так?

Он пристально и внимательно посмотрел на меня, как бы раздумывая – отвечать или нет, и заговорил – вполне разумно.

– Давным-давно, я ещё в училище был, поехали мы с моим хорошим товарищем и однокашником Сергеем отдыхать в Крым, в Алупку: там, по его словам, у него невеста жила, Лида. Невеста она ему тогда была или не невеста – не знаю, но через пару лет они поженились. Частный домик, в котором жила эта Лида с родителями, был довольно невзрачный и хлипкий: две комнатки небольшие, одна Лидина, а вторая – родителей её, да кухонька. Пяток груш, десяток деревьев черешни, небольшой виноградник. Там, под деревьями, и будка какая-то стояла, из фанеры сляпанная, в которую меня заселили;

то ли сарай это был какой-то, то ли кухня летняя – не знаю. У Лиды в то время жила её подруга Алла – из Киева приехала отдохнуть, позагорать, в море покупаться. И понял я сразу, что летом все девушки в Крыму – невесты, потому что Сергей устроился жить в комнате Лиды с ней вместе, а ко мне, в мою будку, в первую же ночь пришла эта Алла. И что мы с ней вытворяли той ночью – вот прошло сорок лет, а до сих пор вспомнить страшно. Только в двадцать лет такое бывает, и жадная она ещё до этого дела была. Причем наутро Лида, совершенно не стесняясь, хотя и шепотом, доложила мне, чтобы я ничего не думал и не боялся, потому что у Алки детская матка и она не забеременеет. Отдохнули мы тогда великолепно: сухое вино, море, горы и безумные ночи. Недельку куролесили, а потом уехали домой.

Я никогда не вспоминал и не думал про эту Аллу. Есть же такая поговорка, что Крым как война – всё спишет! Женился я удачно – по любви, дети народились – два сына, умные, здоровые, красивые. Жизнь армейская такая, что мотаться по всей стране приходилось, друзья и компании новые заводились в каждом новом гарнизоне. И вот лет через десять или пятнадцать оказались мы с Сергеем, этим другом моей юности, с которым я в училище вместе учился, в одном городе, где пришлось нам служить. Это ведь только говорят так, что служил в каком-то большом городе, а на самом деле – жизнь армейская проходит в военных городках, что расположены и за тридцать, а то и за сто километров от самого культурного центра. И вот, однажды за столом, я бы даже сказал, что по пьянке, Лида, которая жена моего друга Сергея, говорит мне:

- А ты знаешь, Вова, что в Киеве у тебя сын растёт?
- Какой, – спрашиваю, – сын? Чего-то я не понимаю.
- А помнишь Алку Кащей?
- Что, – говорю, – за Алка и что за Кащей?

– В Алушке ты с ней у нас дома кувырчался целую неделю, когда вы к нам с Сергеем погостить приезжали. Подруга моя. Не может быть, чтобы ты забыл. Я ещё тебе сказала тогда, что у неё детская матка, и она не забеременеет. Так вот – забеременела! И родила! И растёт у тебя в Киеве сынок Владимир Владимирович Кащей. Кащей – это Алкина фамилия. Только ты не бери в голову. Я – могила. И Алку не ищи никогда – она замужем и счастлива. Это я тебе так, для информации. Без обид.

Я ещё тогда подумал: вот зачем пьяная женщина всякую чепуху мелет? Но нет – после этого раз в год, а то, может, и чаще стал я вспоминать эту Алку Кащей. Я ведь Афган весь прошел, от звонка до звонка, ранен был, полковником стал, в Генштабе службу заканчивал. Старший сын сразу после военного училища в Чечню попал – не вернулся. А младший, майором уже был, полгода назад под Авдеевкой погиб. А теперь вот – один остался: ни жены, ни детей, ни внуков.

Владимир Иванович замолчал и молчал долго.

- Вы теперь поняли, как с ума сходят?
- Да, наверное.

– Нет – наверное, не поняли. Я сейчас проблему решаю, а этого делать не надо. Я задумался над тем, что внуки у меня, может быть, в Киеве растут! Надо в Киев ехать! Вот ты бы поехал? Прикинул я, поразмыслил и понял, что они меня там на первой же берёзе повесят,

когда я туда приеду и им доложусь. Вот так! А мысль свербит, не отпускает. Последнюю неделю, после похорон, я вообще, по-моему, глаз не сомкнул – боль не отпускает, и в голове какой-то кавардак. Вот знаете, смертей я много видел: и друзьям глаза закрывал, и тяжело раненных видел, которые уже и не жильцы, и могилы сам копал. А так больно, как после смерти Маши моей, не было ни разу. Вот эта бессонница недельная к сумасшествию меня и ведёт. Позвонил я позавчера моим старым товарищам в Москву: в Генштабе у меня все друзья, а вся разведка сейчас на Генштаб работает. Попросил я их выяснить всё, что можно и что нельзя про Кашея Владимира Владимировича – уверен был, что он тоже офицером стал. А вчера вечером мне и отзвонились из Москвы – погиб полковник украинской армии Кашей Владимир Владимирович полгода назад под Авдеевкой, а вдова его с детьми в Киеве живет.

Роман ПАРАМОНОВ

Родился в 1987 года в Брянске. Окончил Московский университет культуры и искусств по специальности «Информатик (менеджер) в информационном бизнесе». Работает ведущим методологом в IT-компании.

Участник Слета молодых писателей в Барнауле, Слета молодых литераторов в Большом Болдине. Живет в Королеве.

РУССКИЙ ГЕРОЙ

– Ну, и зачем ты туда полез? Вот нужно было тебе спасать эту плюшевую игрушку? Не валялся бы сейчас на койке!

Толик молчал, но по его зеленым глазам все было и так понятно. Его друг, младший сержант Котенков, не стал боле допытываться – Сафронову еще предстояла длительная реабилитация, а до этого уйти из лап смерти, а вскоре его должны обязательно наградить. Не могут не наградить. Затем друг ушел, впереди его ждало боевое задание.

В палату вошел лечащий врач Толика:

– Пациент, как вы себя чувствуете?

Толик едва вымолвил:

– Хорошо...

– Через полгода, дай бог, сможете бегать! Только следы от ожогов будут напоминать о случившемся...

Толик грустно улыбнулся – как теперь он Светке покажется? Разлюбит, небось.

Тут в палату вновь вбежал Котенков:

– Забыл, дружище! Письмо тебе! От Светки! Дурная голова моя!

– Прочитай, а? Мне сейчас, сам знаешь, напрягаться нельзя!

В Толике были силы, он смог бы и письмо держать и прочитать, но он крайне боялся его содержания, поэтому и доверился другу.

Доктор, осознав предстоящую картину, удалился.

– Толик, я не имею привычки читать чужие письма, но раз ты просишь, изволь.

Толя, милый, любимый! Я знаю, что с тобой случилось. Я не могу никак приехать, вырваться. Тут уже какую неделю стоит жуткая непогода, не могу вылететь. Но есть и еще одна причина, о ней позже.

Напиши мне или позвони, как получится у тебя, – хочу услышать твой голос. Он мне так необходим, ты не представляешь. Хочу, чтобы ты знал – я тебя люблю, я горжусь тобой! Ты-герой! Ты не только мой герой, но и всей нашей страны.

Мне показывали видео, как ты собой закрывал, уводил людей из-под обстрела – это непередаваемые эмоции. Тут и чувство страха и гордости одновременно. Знай, что я всегда буду с тобой! Всегда. С любовью. И в конце вот та самая причина – доктор мне запретил перелеты. Потому что ты скоро станешь папой. Самым лучшим на свете. И у нас будет сын. Сын русского героя! Выздоравливай. Целую, твой Светулек.

Друг замолчал, он видел – Толик плакал, плакал от счастья. И вовсе неправда, что мужчины не плачут! Плачут. Когда накатывает и когда душа не зачерствела.

– Тебя оставить одного? – неуверенно спросил Котенков.

– Останься... Я тебе все расскажу.

– Может, не стоит? У тебя сил немного.

– Я как раз силы накопил.

Толик аккумуляировал все внутренние ресурсы, он догадывался о своем будущем, начал свой рассказ:

– Поступить по-иному я не мог. Девочка рыдала навзрыд, больше не от пролетающих пуль да разрывов – этого она успела на Донбассе насмотреться в край. Фашисты постарались. Тут дело в том, что тот плюшевый медведь – это ее семья. Это все, что осталось у нее от родителей. Это память, это ниточка. Этот медведь хранил тепло рук ее мамы, погибшей накануне. Ребенок лишился родителей, детства, не хотелось, чтобы она лишилась последнего. Поэтому я ринулся к ее дому – кто ж знал, что именно в этот момент армия детоубийц захочет ракетой долбануть... Затем случился пожар, а затем я не помню ничего...

Ты же знаешь, Митяй, я сам луганский. Однажды, когда мне было семь лет, я просил родителей купить мне велосипед на день рождения. Ну не было денег у родителей, не было. Но и оставить без подарка они не могли. Тогда отец подошел ко мне и сказал: «Помнишь, ты в детстве смотрел мультик про чебурашку? Так вот, на самом деле, он существует! Да-да! И сегодня он пришел в наш дом и сказал мне, что будет жить с нами. И хочет стать твоим другом. Примешь?» Я тогда обрадовался, забыл про велик, схватил этого плюшевого ушастика, и мы с ним стали дружить! Я его брал везде – в школу, на улицу, в спортзал. Отец сказал, что это теперь мой талисман удачи и чтобы я его хранил.

Разумеется, когда я вырос – болт на него забил. Уехал в Ростов учиться, раздолбаем стал. А затем наступила война. Не понимал, почему она началась, за что, как – не до этого мне было. Аполитичным был. Потом мать позвонила, вся в слезах, сказала, что отец в ополчение уходит, просила приехать, отца проводить. Я отмахнулся, признаться. Не поехал. А после... Мать сказала, что отец погиб, расстреляли хохлы. Тут я сорвался. Зашел в батину комнату, увидел свою детскую фотографию и... Чебурашку! Потрепанного, грязного. Схватил его, прижал к груди и зарыдал. Ну вот как сейчас. Ниточка моя с отцом оборвалась. А через три дня прилетело и в мой родной дом. Мать накрыло сразу, а я остался жив. Мне тогда спасатели сказали, что спас меня мой Чебурашка. Мой спаситель. С тех пор он со мной. Открой тумбу, Митяй!

Котенков открыл тумбу и увидел это небольшое, сказочное на первый взгляд пушистое существо – Чебурашку, одно ухо у него было обгоревшим.

– Ах, вот он, этот засранец! Кому ты обязан жизнью!

Оба бойца засмеялись в голос.

Толик добавил:

– Ты его обязательно передай моему сыну, когда он вырастет. И расскажи все...

– Сам все расскажешь, глупости какие.

Толик неожиданно замолчал. В палату вбежали лечащий врач с медсестрой.

Котенков нервничал, увидев, как доктора мечутся над пациентом.

Очевидно, что-то поняв, он спросил:

– Что с ним, доктор?

– Умер...

Степан Анатольевич Сафронов родился богатырем. Больше 4 кг. Сын героя. Его отцу был вручен ордер «За мужество». Посмертно. Чебурашка теперь жил в их доме и охранял теперь Степку.

ПАССАЖИР

В 21.30 в будний день в сторону центра на Щелковском шоссе практически свободно. Естественно, изредка случаются заторы, но, как правило, они случаются на регулируемых светофорах. Маршрутное такси, «Газель» синего цвета, с ржавеющим дном и дребезжащей дверью, мчалось по трассе. Водитель микроавтобуса, сошедший с маршрута раньше положенного времени, куда-то торопился. Возможно, мужчина с плотной бородой на лице проехал бы мимо, если бы не увидел голосовавшего молодого человека, который явно чем-то был расстроен.

– Парень, тебе куда? – живо поинтересовался водитель.

– До Комсомольской площади, – ответил молодой человек в надежде на успех.

– Садись! Мне туда же!

Пассажир, едва усевшись в салон автомобиля, тяжело выдохнул, опустил голову и стал нервно покусывать нижнюю губу с кончиком языка. На молодом человеке были надеты черного цвета кожаная куртка и классические туфли; пахло от него приятно – дорогой французской туалетной водой.

Глаза пассажира выдавали грусть, его явно что-то беспокоило. Парень молчал – после сегодняшних событий его душевное состояние не будет прежним.

Водитель периодически крутил головой, пассажир по-прежнему ехал молча.

– Вы когда-нибудь нарушали обещания? – неожиданно задал вопрос пассажир.

– Я?.. – по глазам водителя можно было прочесть растерянность.

– Сложно всегда сдерживать обещания. Сложно... – парень тяжело выдохнул.

А мы ведь собирались любить друг друга до самой старости. В наших мечтах был тихий деревянный домик на берегу озера, где мы утопали бы в любви... Наши четверо детей (обязательно два мальчика и две девочки) резвятся на лужайке, догоняя друг друга. Всё в наших руках...

Водитель резко затормозил – бестолковый пешеход перебежал дорогу в неположенном месте. Обозвав молодую девушку безмозглой и тупой, водитель извинился за доставленные неудобства.

– Ничего страшного... – тихо проговорил пассажир.

Ох, эта гребаная, разваливающаяся маршрутка! Прокручиваю нашу первую встречу...

– Вы были когда-нибудь за границей? – спросил молодой человек водителя.

– Да какая там граница?! Тут бы найти денег, чтобы на родину, в Варденис смотаться – мать больную навестить! – с сожалением в голосе

произнес водитель, неожиданно вспомнив свою армянскую землю и ближайшего родственника.

Я ведь и не собирался вовсе ехать в Швецию, но знакомые уговорили. Поехал. Спасибо им. Там же я сразу же обратил внимание на нашего гида, Анну Немихину. Мне тогда показалась ее фамилия довольно забавной, не знаю почему. До сих пор не знаю, чем она меня смогла покорить: то ли ямочкой на щеках, то ли внутренней щедростью, а может быть, интересными фактами о проезжаемых городах, рассказанные милым и каким-то родным голосом... Никогда об этом не задумывался, но это уже не так важно, главное другое – я влюбился! На удивление, она быстро дала свои контакты, а через неделю переписки, Анечка согласилась на встречу, и полетело, завертелось...

На лице пассажира водитель прочитал умиляющую улыбку, но не отважился спросить отчего.

А первый поцелуй? Было холодновато, минус 18. Мы находились на берегу водохранилища, затем отошли в сторонку, чтобы никто не видел нас, и там она сказала, что жутко замерзла, я, не будь дураком, незамедлительно обнял её, и через мгновение мы уже целовались. Поцелуй-то как долго длился! Он был сладким, нежным и желанным. Мне хотелось прикоснуться к её губам ещё там, в Стокгольме, когда я загадывал желание у железного мальчика, расположенного в одном из дворов Гамла Стана. Видать, этот мальчик действительно умеет исполнять желания...

– Сегодня что-то промозгло на улице! – поделился наблюдением водитель.

– Что? Промозгло?! Иногда это абсолютно не помеха... – пассажир снова предался воспоминаниям, и на его свежесбритом лице вновь показалась улыбка, при этом глаза продолжали утопать в грусти.

А сразу после поцелуя мы пошли ко мне – согреться, пить горячий и вкусный чай. Я от неё не отстал и в квартире – продолжил к ней приставать. Я заметил, что ей было приятно, но она попросила не торопить коней. Какая же всё-таки она особенная! С ней я летал, улыбался во всю ширь, как дурак, наверное, а она?.. Анины глаза тоже блестели рядом со мной, хотя она не всегда показывала свои эмоции. И для неё фраза «я тебя люблю» – не просто рядовая фраза влюбленных, а самое настоящее признание в своих искренних чувствах. Поэтому Аня и говорила её не так часто. Но всегда желанно.

Молодой человек тяжело выдохнул и повернул голову.

Сейчас в голове всплыл тот случай, когда мы с ней пошли кататься на коньках. Она второй раз на них стояла, первый был неудачный, и передо мной стояла задача научить её этому прекрасному занятию. Получилось так себе, но было очень романтично.

– Извините, как к вам можно обращаться? – задал неожиданный вопрос пассажир.

– Левон, – сухо ответил водитель.

– А меня Максимом, – не забыл представиться молодой человек. – Скажите, Левон, ради любимой женщины вы совершали какие-либо безумные или романтические поступки?

– Совершал. Конечно, совершал. – Водителю этот вопрос показался странным. – Самым безумным поступком стал мой переезд сюда. В Москву. Когда жена с маленьким сыном голодают, то чего ради них не сделаешь? Взял их в охапку и привез сюда. Трудное время было...

– Да, это поступок.

А как мы катались с горки у ворот Кремля зимой? Купили недалеко ледянки, и нам тут же не терпелось их обновить. Как же она визжала! А как мы ходили по тонкому льду! Она крепко держалась за мою руку, я её нежно сжал, и мы, словно герои, аккуратно, не торопясь, продвигались от одного берега к другому вдоль Химкинского водохранилища. Адреналин зашкаливал в тот момент. А как обои мы клеили в её комнате! Она практически два месяца выбирала обои, в итоге ей понравились детские, на которых был изображен львёнок в разных интересных ситуациях. Но в конечном счете и они ей не понравились! А они уже были поклеены. Она обещала потом с этим вопросом разобратся. Мы с ней катались на её велосипедах, нет, не на модных, а на стареньких: с одной передачей и обыкновенными тормозами. Я в её местном озерце купался, потом помог её бабушке забить поросенка – он славно наливал за успех, и я напился, а она потом меня долго ругала.... Да и это «пикантное» занятие в парках ночью тоже помню: и на лавочке в Воробьевых горах, и возле обнаженного дуба в парке Останкино, где в самый интересный момент нас застал мужчина и шустро направился в нашу сторону. Ох, и похулиганили! Я очень обрадовался, когда моя Анечка притащила мне на день рождения большой сундук (до сих пор не понимаю, как ей удалось его приволочь в мою глухомань) и со словами: «Раки всегда любят хранить много вещей. Вот теперь есть, где их складывать!» – поцеловала в щечку. Да-да, целовать в щечку она очень любила. Она всегда в конце разговора по телефону произносила коронную фразу: «Целую в щечку, дорогой!» Она довольно вспыльчивая, но быстро отходчивая. Может, гормоны играют? Но это был не единственный её минус...

Лицо Максима изменилось.

– Как мы быстро едем. Без остановок! – произнес вслух пассажир.

– Это что, плохо? – недовольно пробурчал хриплым голосом водитель маршрутного такси.

– Да, нет! Словно в такси едешь! – не удержался от сравнения пассажир.

Водитель остался таким комплиментом доволен, а пассажир вновь погрузился в себя.

Эта работа! Она постоянно в разъездах. По Европе. Сначала, когда мы с ней только начинали встречаться, это казалось романтично. Франция, Швеция, Германия.... Но потом начало доставлять дискомфорт в отношениях. Она приедет в Москву, побудет несколько дней дома, потом снова на 10 дней уезжает. И так постоянно. А летом я практически не вижу её. Это как раз сезон. А ещё по праздникам её тоже нет. Выдается на работе три дня свободных, хочется провести их с ней, а её нет. Она снова в туре! Да и поначалу в туре она активно писала мне в социальные сети какие-то теплые слова, а потом перестала это делать. Я один ездил отдыхать на Крымское побережье. Она хотела приехать – не получилось. Вот так и проводим досуг порознь!

Улыбка с лица пассажира окончательно сошла, а вместо неё – грусть и растерянность.

Но меня к ней тянет! Не знаю, почему. Потому что всё-таки люблю? Или уже привычка? Не знаю... Но одно понимаю, что мне не хватает её. Не хватает её тепла, нежности, поцелуев в щечку. Вот совсем недавно у меня была черная полоса в жизни, ничего не получалось с работой, я сильно переживал, а она все время была в туре. Иногда

спрашивала, как у меня дела, но мне этого мало! Потом мне зуб выдирали – и так же. Хотелось, чтобы она мне своим присутствием сняла боль, но у неё после длительного тура опять дела и на следующий день – снова тур. Это тяжело! А потом она сказала, что отвыкла уже как-то от меня. А потом в шутку произнесла, что хочет снова влюбиться в меня...

К глазам Максима подступили еле уловимые слезы – его зеленые очи мгновенно увлажнились.

Она виновата сама! А девушка Олеся появилась совсем неожиданно. Мы с ней в поезде познакомились. Она блондинка, как ни странно (а то в последнее время попадаются одни брюнетки)! Обворожительна. С ней есть, о чем поговорить. Она смотрит мне в рот, нежно прижимается ко мне... И да, в постели хороша! Сегодня я в этом убедился...

– С вами всё хорошо?! – не сдержался от вопроса водитель, увидев лицо пассажира, еле сдерживающего слезы.

– Что? – пассажир не сразу отреагировал на вопрос. Возникла определенная пауза. – Да, со мной всё хорошо...

– Мы скоро подъедем, – перевел тему разговора Левон.

Анечка, Анечка... что я сделал...? Но как я мог по-другому? Я – мужчина! Мне нужна разрядка, в конце концов! Люблю, люблю тебя... а любишь ли ты уже меня? Не знаю. Повторюсь, сама виновата в том, что произошло! Не знаю, что и думать...

– Приехали! – произнес водитель недалеко от Ярославского вокзала.

– Спасибо! Я сегодня впервые изменил своей любви... – сделал неожиданное признание Максим.

– И что дальше? – с раздражением в голосе ответил водитель.

– А что дальше, я пока не знаю. Решу позже... – пассажир не громко хлопнул дверью и направился в сторону Ленинградского вокзала.

– Странный тип какой-то!

Водитель нажал на педаль газа и устремился к Ольге. Его любовница снимала в этом районе квартиру.

Роман ВОЛИКОВ

Родился в 1964 году. Вырос в Мурманске. Учился в МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал в сфере бизнес-аудита. Много путешествовал по миру. Ведет интернет-канал «Литературный проект “Игра слов”».

Автор девяти сборников рассказов и повестей. Публиковался в журналах «Москва», «Наша улица», «Дарьял», «Южное сияние» и других. Живет в Мурманске.

ОСВЕДОМИТЕЛЬ

Чок-чок-чок, закружился наш волчок. Как селедка на сковородке. Не-а, он не селедка, он – акула. Хотя какая, к черту, акула, так – ассистент в воровском деле, до акул мы еще не добрались.

Как он на меня зыркал на перекрестном допросе. «Стукач», – выдохнул сквозь зубы, когда следак отлить вышел. «Стукачок-бурундучок, – пропел я в ответ. – Я не стукач, гнида. Я – осведомитель».

– Как вы себя чувствуете, Борис?

Этот доктор добрый, обычно он приходит ближе к вечеру. Утро – время для злого доктора. Накануне вечером медсестра, милая девушка по имени Настя, ножки от ушей, модельная морковка, как вообще в больнице оказалась, как вообще её отсюда до сих пор не забрал в койку какой-нибудь пузатый дядя. Сбился, это у меня часто бывает в последнее время. Вот, вспомнил. Накануне медсестра Настя, добрая душа, вкалывает мне в ягодицу дрянью. Не разочаровываю красавицу, она уверена, что это снотворное. А может, и всё знает, в моем деле никому нельзя доверять полностью, может, это потаскуха в овечьей шкуре, чтобы мне было особенно больно.

Я называю эту дрянью глюконат натрия. И утреннего доктора также называю. Вслух. Шепотом. На большее нет сил. От химического глюконата меня выворачивает всю ночь, я мечтаю убить всех, кого видел в этой больнице, но запястья и лодыжки надежно зафиксированы механизмом кровати, я рвусь, как зверь из клетки, и мочусь под себя от бессилия. Когда я пытаюсь заснуть от усталости, появляется живой глюконат.

Он всегда задает одни и те же вопросы, не удосуживаясь хотя бы сменить последовательность. В первый раз я отвечал, а потом понял, что ответы ему не интересны. Он просто хочет дожать меня после ночного опустошения дрянью. Ради чего, он не считает нужным говорить. Значит, подсказывает мой уставший, но по-прежнему работающий мозг, ему просто нужно довести меня до сумасшествия. Он очень злится, когда я бубню про себя: «Чубчик-чубчик, где ты был? На Фонтанке водку пил!»

Сегодня я получил новое задание.

– В деревню, в глушь, в Саратов, – сказал всегда хмурый подполковник, мой куратор. – Насколько – не знаю, определишься на месте. Командировочные, как обычно, по высшему разряду.

– Коррупционеры?

– Нет, белые пушистые хомячки, – буркнул куратор. – Тебя когда-нибудь к другим посылали?

Возбуждение предстоящей охоты овладевает мной.

– Десять лет мост через Волгу строят, никак не достроят, – сказал куратор. – Прокурорская проверка приезжала несколько раз, ничего не добились, ничего не раскопали. У этих орлов то понос, то золотуха, опоры паводком снесло и т. д. Крепко у них всё повязано, поэтому тебя и направляем на глубокое внедрение.

– Хорошая легенда требуется, иначе не подпустят, – сказал я.

– С легендой все в порядке, – сказал куратор. – Приедешь как инспектор банка отслеживать целевое назначение кредитов. Марья Андреевна введет в курс дела.

– Понял. Сколько времени на подготовку?

– Как обычно, неделя. Спортивный режим – не пить, не курить, по бабам не ходить, вживаться в образ. Задание трудное, скрывать не буду. Спалишься, постараемся вытащить. Если успеем, конечно.

Вечером вместо глюконата вкололи что-то другое. Боли нет совсем, я напрягаю все мышцы в ожидании чего-то страшного. Длинноногая Настя гладит меня по плечу. Милая, жаль, что привязан, а то бы вдул тебе.

Странно, не штырит как от глюконата. Проворовались, доктора, обычную глюкозу теперь психам вкалывают?

У утреннего доктора надменный и резкий взгляд. Вероятно, дурачку обещали, что новое лекарство развязывает язык. Уговорил, дебил, подыграю тебе.

В Саратове меня приняли словно Хлестакова или Чичикова, я уже не помню, в чем между ними разница. Злой доктор сегодня не задает вопросов, лишь усиленно строчит в блокноте мои показания. Под новое лекарство он поменял тактику. Ладно, строчи пулеметчик, в этом деле мне нечем гордиться.

Меня погубила случайность. Узнала любовница таможенного воротила из калининградского порта, которого повязали не без моей помощи. Где она там меня видела, убей бог, не помню. Теперь она прозябала в родном Саратове, певичкой в ресторане и шлюхой. Похоже, от такой жизни она стала наркоманкой.

Вместе с саратовскими корешами мы шумно отмечали в ресторане «Ереван» отправку очередного транша на офшор, она спела со сцены какую-то блевотину, достала из сумочки пистолет и выстрелила в упор.

Я очнулся уже здесь, на больничной койке. Надо мною склонились люди в белых халатах, они напряженно смотрели на меня и что-то говорили. Я не слышал их, я подумал, что из-за ранения оглох. Но слух через какое-то время восстановился.

– Здравствуйте, Петр Ефимович! Как дела у доктора Снежко?

– Неплохо, неплохо. Активно работает над диссертацией. Мы предложили ему для изучения интересный случай. Мужчина, сорок пять лет, такая обычная офисная мышь, при этом абсолютно убежден, что он секретный агент спецслужб по выявлению коррупционеров. К нам попал по решению суда, пытался убить жену, предположив, что супруга работает на наркомафию. В общем, любопытный пациент.

– Прекрасно. Надеюсь, что доктор Снежко справится с изучаемой проблемой. Как вам известно, в министерстве на него далеко идущие планы.

– Мы оказываем доктору всю возможную поддержку.

Я не сразу стал осведомителем. До сорока лет я был как все. Ходил на работу, поругивался с женой, в курилке в обеденный перерыв перемывал с коллегами кости начальству. Через двадцать пять лет долгожданная пенсия, перееду жить на дачу, буду ловить карасей в речушке, а зимой собирать хворост в лесу, деревенский мастеровой знатную печь соорудил, настоящую русскую, с лежанкой. Лет через пять назначат начальником отдела, будет очень кстати, сын к этому времени окончит школу, а высшее образование сейчас везде платное и недешёвое, зараза.

Во мне щелкнуло накануне сорокалетия, когда я случайно подслушал разговор нашей сметчицы Натахи и новой секретарши шефа. Эта новая секретарша такая разбитная девка, рот рабочий, за версту видно, что пробы ставить негде, но шеф таких любит.

Новая секретарша рассказывала о начальнике со своей прежней работы.

– Такой мужчина, – мурлыкала эта подстилка. – Коллектив женский, всех нас и раком, и шмаком, и хором, и на столе и под столом. Никого не пропускал. Тигр! Не то что этот старый хрыч, полчаса его кочерыжку поднимать надо.

– Так уж и всех? – захихикала Натаха.

– Всех, – уверила секретарша. – Он, правда, старше тридцати пяти никого на работу не брал.

– А чего уволилась от такого счастья? – спросила Натаха.

– Уволили, – вздохнула секретарша. – Поднадоела хозяину. Ему новеньких все время подавай. Но если обратно позовет, помчусь, только пятки сверкать будут.

Она произнесла название фирмы, и у меня внутри будто всё оборвалось. В этой конторе чуть больше года работала бухгалтером моя Ирка.

Пазлы в голове, весь этот год терзаемой смутными сомнениями, сложились в ясную и конкретную картину. Теперь стали объяснимы регулярные командировки жены в Тверь на завод, и премии, которые также регулярно выплачивались моей благоверной. Я зашел в туалет, умыться холодной водой и увидел в зеркале, как над моей башкой ветвятся рога.

«Посажу сволочь, – решил я тогда. – И жену посажу, разнесу в клочья весь этот гадюшник».

Длинноногая Настя склонилась надо мной, чтобы вытащить «утку». В разрезе халата я вижу молоденькие упругие грудки, разукрашенные засосами. Спит с добрым доктором, вдруг осенило меня. Или со злым. Или с ними двумя. Везде одно и то же.

Сразу вспомнилось краснодарское дело. Там тоже главная фигурантка была молоденькая, худенькая и развратная. Королева красоты кубанского разлива. Темная история, в которой до конца так и не удалось разобраться.

На сахарный завод приехали менты и арестовали всю наличность, которая хранилась в сейфе в кабинете директора. Директор в этот момент был в Москве на совещании у хозяина завода, испуганный бухгалтер толком ментовские документы не изучил.

В общем, когда хозяин поднял кипеш, выяснилось, что менты были подставные. Поначалу думали на директора, типа он навел, но директор держался стойко, отрицал свое участие, да и хозяин завода тоже

вдруг стал проявлять удивительную снисходительность. Как потом выяснилось, наличность эта была не вполне чистая.

Дело положили под сукно, как вдруг с повинной явился сын директора, который утверждал, что это он навел бандитов. Хотел отомстить отцу, почему – объяснять отказался, уверял, что свою долю – треть, утопил в море от злости.

Я провел с парнем в одной камере почти месяц, и постепенно, в час по чайной ложке, он рассказал мне всю эту душещипательную историю. Папаша спал с его невестой, которая трудилась на заводе секретуткой. Этой же девкой пользовался и хозяин завода, когда приезжал на предприятие. Свою долю парень отдал невесте на хранение в расчете, что через пару лет выйдет на свободу.

И что вы думаете, когда поехали арестовать невесту, выяснилось, что она уже отчалила на независимую Украину. Как раз четырнадцатый год наступил, требование о депортации красавицы хохлы оставили без внимания.

Как же вырваться из палаты? Только бы добраться до телефона, куратор сразу вызовет меня из психушки. В конторе ведь наверняка убеждены, что я мертв, погиб, так сказать, смертью героя при исполнении.

– Здравствуйте, доктор! Как наш подопечный?

– Здравствуйте, Петр Ефимович. Чем дальше в лес, тем больше я запутываюсь в этом пациенте. Иногда у меня складывается твердое ощущение, что это я болен, а не он.

– Это от недостатка опыта, дорогой Александр. Как в том анекдоте про издержки профессии.

– Я понимаю. Тем не менее, пациент ведет какую-то свою игру, логически безупречную, и совершенно непонятна цель этой игры. Получить вердикт о том, что он здоров после всего, что натворил, невозможно. Я не сомневаюсь, что он не испытывает никаких иллюзий на сей счет.

– Мотивы шизофреников частенько покрыты туманом, тем не менее, до рационального зерна все же можно докопаться. Вы применили препараты, которые прислали из министерства?

– Да, применяем уже несколько дней. Посмотрим, вдруг действительно на вечерних беседах с вами он станет более открытым и прекратит нести очевидную чушь.

– Я полностью в вашем распоряжении, дорогой доктор. Министр взял ход вашей диссертации под личный контроль.

– Отцу не терпится посадить меня в кресло начальника управления?

– Любому отцу приятно видеть в своих детях продолжение профессии. Ничего странного в этом не наблюдаю.

Почему произошел срыв с женой? Его не должно было произойти, я рассчитал все ходы, как фармацевт в аптеке. Неужели я действительно болен? Нет, исключено, на беседах с докторами я безупречно разыгрываю психа, в надежде найти какую-нибудь лазейку вырваться отсюда.

Я был хладнокровен и последователен в своих действиях. Я работал на «контору», набивал руку на раскрутке мелких и не очень воруя. Жена лишь деланно удивилась тому, что на моей новой работе так много разбродов. Теперь я видел её насквозь, я планомерно убивал в своей душе женщину, в которую когда-то, в прошлой жизни, влюбился, на которой женился и от которой у меня сын.

Ирка ни о чем не догадывалась, у нее с недавних пор была своя жизнь, а мое место оказалось на самом дальнем ряду галерки. Или все

же догадывалась, и они с начальничком затеяли контригру? Может быть, в этом заключается мой просчет?

Отчасти я благодарен жене за так внезапно изменившуюся жизнь. Ведь кто я был – офисный хорек, от которого ровным счетом ничего не зависит. Предел смелости – на дачных посиделках у костра после изрядно выпитого порассуждать, что все вокруг воруют. А сейчас я в обойме тех, кто предпочитает реальные поступки праздной болтовне. Не скрою, я горд, что я в деле. В конце концов, я же хочу, чтобы мой сын жил в здоровой стране. И, в конце концов, кто-то же должен брать на себя изыскания в дерьме. Почему не я?

Ладно, поменьше пафоса. Я все раскопал про контору, где трудилась бухгалтером женушка. Было непросто, первый случай в моей практике, где из нюансов надо было строить версии, а потом безжалостно опровергать их как несоответствующие реальной действительности.

На эту работу ушло три года. Три мучительных года, когда на ежевечерних ужинах (когда Ирка не в командировке в Твери, а я не по служебным делам по городам и весям), надо было разыгрывать лопухого восторженного дурачка, наконец-то вернувшегося к своей институтской профессии – инженеру-геодезисту водных скважин.

Легенду для семьи придумала Марья Андреевна, правая рука куратора. Выдала с ходу, поговорив со мной минут пятнадцать. Она, конечно, гениальна, эта старая лесба, танцевавшая когда-то в стрип-клубах, верит лишь в дьявола, я в этом не сомневаюсь, она популярно объяснила мне, что самая правдоподобная ложь – всего лишь не до конца сказанная правда.

Ирка шлепала ушами про мои многодневные поездки для снабжения жилительной влагой страдающего от засухи населения. «Ты только взятки не бери, – шептала мне на ухо в постели. – А то погонят. Ты только нашел работу по душе».

«Не буду, – отвечал я, внутренне хохоча. – Мне и не предлагают».

«Ну и слава богу, от греха подальше, – лепетала потаскуха. – Не всем же воровать, должны быть в стране честные люди».

На самом деле, я думал только о сыне. Советоваться было не с кем.

«В нашем деле, – сказал мне на первой же встрече куратор, – успешны лишь те, кто избавился от слабых мест. Считай, что мы своего рода секта».

– *Здравствуйте, Петр Ефимович!*

– *Рад видеть, Александр! Что нового за время моего отпуска?*

– *Определенный прогресс достигнут.*

– *Наконец-то. Я весь в нетерпении.*

– *Я, кажется, начинаю понимать, в чем причина заболевания пациента. Если, конечно, его состояние можно назвать заболеванием.*

– *Любопытно.*

– *Я назвал пока это состояние – «синдром нереализованного героя».*

Или «неосуществленного героя». Обычный человек, жил мещанской жизнью среди таких же, как он сам, мещан. Но при этом в глубине подсознания зрело желание совершить нечто грандиозное, отчего его наградят орденом и позовут на личный прием к президенту.

– *Понимаю. Своего рода «эффект Геростата», замешанный на благих пожеланиях. Вероятно, в детстве часто проигрывал в дворовых драках.*

– *Может быть, хотя он из интеллигентной московской семьи. Но здесь ведь количество не переходит в качество, достаточно было*

одного случая унижения, и мысль начала подспудно работать в этом направлении.

– Вполне допускаю. Непонятно другое, подобного рода склонность предполагает действие, внутренняя мотивация в том, что личность станет публичной, вызовет интерес, вовсе не обязательно одобрительный. В нашем случае деятельность пациента (как он её придумал и на чем твердо стоит) строго секретна, закрыта от посторонних глаз, о его работе осведомителем не знает даже сын, к которому он относится трепетно. Вся фабула его действий целиком и полностью выдумана, за исключением только попытки убить жену.

– Полагаю, что у пациента гипертрофированное внутреннее тщеславие, для осознания собственного величия ему не требуется чуждого мнения. Похоже, болезнь утопила его в собственном «я». Он придумывает поступки свои и других людей, руководствуясь логикой настолько безупречной, что в реальной жизни она просто невозможна. Я предложил ему сделать подробный отчет о деле, которое он считает самым ярким в своей карьере. Он писал несколько дней, исписал две толстые канцелярские тетради. С первой до последней строчки весь текст состоит из одной фразы: «Я это сделал».

Верить нельзя никому, даже сыну. Сыну банально законопатят мозги, папа – сумасшедший, маньяк и прочее. Я люблю сына, но я не могу переселить свои извилины в его голову. Ладно, я очень надеюсь, когда он вырастет, то сумеет понять, что к чему.

В процессе профподготовки Марья Андреевна давала мне читать стенографические отчеты, по сути, исповеди нескольких выдающихся разведчиков, записанные в последние дни перед смертью. Этих отчетов официально не существует, они никогда не будут опубликованы. Это страшные исповеди суперпрофессионалов, которые всегда жили двойной, а иногда тройной жизнью, убивали и доводили людей, часто не посвященных в суть поставленной задачи, до безумия. Они без сожаления бросали любимых женщин и родившихся от них детей сразу после выполнения задания и больше никогда с ними не встречались. Это люди без имени, без родителей, без биографии, потому что как звали их в начале работе, как звали их родителей, друзей, подруг, кто они на самом деле по национальности и на каком языке стонут от боли, напрочь забыто, чтобы не провалить нелегальную работу. Зачем, для чего, есть ли такая великая цель, которая может оправдать полное растворение в окружающей действительности. Никто из разведчиков даже на пороге ада не захотел дать вразумительный ответ на этот вопрос. У меня тоже, когда я начинаю об этом думать, нещадно болит голова.

Куратор прав. Мы своего рода секта, наша цель – бороться со злом, не гнушаясь злыми поступками. И если я, как и многие тайные агенты, не понимаю законов этой борьбы, это не означает, что их нет.

Проснулся от яркого впечатления. Я сижу на берегу речушки, вокруг небольшие холмы, заросшие лесом. Две удочки торчат над водой, и солнце в безоблачном небе такое ослепительное, я зажмуриваю глаза и предаюсь сладкому безделью.

В моей палате нет окон. И зеркала нет. Время от времени я провожу пальцами по щетине, чтобы определить, сколько я уже здесь. У меня всегда отвратительно росла борода, поэтому точно понять, недели или месяцы, невозможно.

«Как там, за бортом»? – спрашиваю я медсестричку Настю.

Она улыбается и, не ответив, уходит. Она возвращается примерно через полчаса и показывает в смартфоне какой-то пейзаж. Мокрый снег с дождем, небо молочно-серого цвета, несколько осин в убранстве желтой листвы.

– Ноябрь, – говорит Настя. – Самое мерзкое время года. Метеослужба уверяет, что через неделю начнутся метели.

Злой доктор вернулся к глюконату. Было бы смешно, если бы не было так больно. Старый добрый советский аспирин на порядок эффективнее, чем все новомодные террафлю. Жаль только, что опытным полигоном для сравнения оказался я.

Но вообще просвет забрезжил, хотя не стоит торопиться с поздравлениями самого себя. Возврат к глюконату это попытка сломать меня. Бегство от страха, который, похоже, я внушаю эскулапам все больше и больше.

Главная проблема злого доктора, как впрочем, и доброго, заключается в том, что они не видят конечной цели. Их ведь научили в мединституте, что лечебная психиатрия – это зона туманных предположений и вероятностей с результативностью, близкой к сражению с «ветряными мельницами». Что есть цель? Сделать меня нормальным и не опасным для общества? Что есть нормальный? Снова ходить на работу в офис и на ежегодном корпоративе, нажравшись, называть гулящую жену душкой и пусечкой?

Доктора в тупике, оба – и злой и добрый. Они не могут построить внятную концепцию причин моего помешательства. Злой доктор явно мальчик не из простых (стали бы так возиться с недавним выпускником института), ему нужна яркая, нестандартная диссертация.

Вот момент истины: несколько шажков, господа, дай мне силы терпеть ночные инъекции глюконата, и милый злой утренний доктор сам предложит реконструкцию попытки убийства жены, и в условиях не больничных, а в условиях свободы, где доктора и охрана будут за ширмой, и у меня будет всего несколько минут на побег. Но они будут – эти чудесные минутки.

– Здравствуйте, Петр Ефимович! Надо посоветоваться.

– Весь внимание, Александр.

– Мне пришла в голову одна рискованная идея. Помните, я говорил, что пациент живет в своего рода «внутренней эмиграции». Более того, я в этом уже не сомневаюсь, ему в этом состоянии предельно комфортно, у него нет ни малейшего желания выбираться из раковины. Будто он разложил всю последующую жизнь по этапам и точно понимает, что, где, когда и кому говорить.

– Просто профессор Мориарти, Александр. Но государство не может себе позволить держать его в клинике вечно. Он и так у нас второй месяц. Надо принимать конкретное решение и ставить соответствующий этому решению диагноз. Он ведь не буйный, уже это радует.

– Вот я и предлагаю провести, назовем это так, следственный эксперимент. В квартире, где жил пациент, делаем полную реконструкцию того вечера, когда он пытался убить супругу. Устанавливаем необходимое количество видеокамер, жена пациента будет действовать строго по моим инструкциям. В соседней квартире разместятся охранники, которые придут женщине на помощь, при необходимости. На мой взгляд, вероятность, что он выйдет из своей «раковины» довольно велика.

– Вы говорили с ней?

– Да. Она понимает всю сложность проблемы и, в принципе, не возражает против участия. В надежде, что охранники сработают быстро и профессионально. Повторюсь, в случае необходимости.

– Но мы же не следственные органы, Александр. Моей компетенции как главного врача недостаточно для принятия такого решения. А если пациент, войдя в состояние аффекта, повторит попытку убийства и ваши люди не успеют помешать? Вы представляете себе последствия?

– Я почти не сомневаюсь, что пациент воспользуется этим экспериментом исключительно для попытки бегства. Смерть жены ему сейчас уже не нужна, ему нужно наказание, публичный судебный процесс и так далее. Сбежав, он обратится в контрразведку, газеты, американское посольство, то есть поступит так, как показывают в кинематографе подобного рода истории. Он борец с коррупцией и жертва психиатрического произвола, а не пациент специализированной клиники.

– Не знаю, крайне рискованное предложение, Александр.

– Я готов поговорить с отцом, Петр Ефимович. Чтобы в случае чего он прикрыл эту ситуацию.

– Хорошо. Посоветуйтесь с министром.

Трава прорастает сквозь меня. Она сухая и колючая как кустарник в солончаках. Что-то зауспокойное, ночью мне снится, будто я лежу, слегка присыпанный землей, и проклятая трава упорно пробивается через мою несчастную плоть. Мне не страшно, но слезы сами по себе наворачиваются на глазах, я не решаюсь отбросить в сторону простыню и посмотреть вниз. Это делает медсестра Настя, меняется в лице и убегает за доктором.

– Экзема, – констатирует добрый доктор. – Отменить все препараты и на биохимию крови. Как вы себя чувствуете, Борис?

– Как на жаровне, – я пытаюсь сохранить привычный саркастический тон.

– Не удивительно, – говорит доктор. – Резкий выброс токсинов, ожоговые поражения по всему телу. У вас раньше не было проблем с печенью?

– Вроде нет, – говорю я. – Выпивал, конечно, но умеренно.

– От этого не умирают, – говорит добрый доктор. – Хотя ощущения, конечно, малоприятные. Будем лечить.

Простая в безысходности мысль посещает меня: времени осталось не слишком много. Я совсем не верующий, но, похоже, кто-то на самом верху прямолинейно намекает, что пора и делом заняться. Да уж, не больно-то гуманные методы у доброго бога. Только ли мне этот намек? В наполеоновские планы злого доктора не входит безмозглый овощ, покрытый гнойными язвами.

Я заставляю себя вспомнить все подводки докторов к необходимости очной ставки. В остервенении, до крови, я расчесываю язвы. Нет, я ничего не упустил, я все рассчитал верно, остается крохотный шажок до финальной сцены. Нестерпимый зуд не дает мне заснуть, я брожу по палате как тень отца Гамлета и бормочу шепотом всякий бред. Дорогие мои доктора, времени осталось мало, соображайте быстрее.

Я сижу на набережной в уютном кафе с белыми столиками. На столике чашечка ароматного крепкого кофе и низкий квадратный стакан с ромом. Запах, который навеивает романтические рассказы о парусни-

ках и пиратах. Жена и сын катаются на карусели, время от времени я приветливо машу им рукой. Вот оно, человеческое счастье, с ленцой размышляю я и выпиваю по глоточку кофе и рома. Хорошие светлые мысли почему-то всегда приходят перед смертью, в обычной жизни мы все не обращаем на них внимания.

Я вижу на горизонте глаза куратора.

«Я выберусь отсюда, подполковник. Меня рано сбрасывать за борт».

Последний разговор с женой все чаще звучит в моей голове. Мы сидим на кухне, сын гостит у бабушки, служебный «вальтер» надежно спрятан на спине под рубашкой. Я смотрю, как жена хлопчет у плиты, и едва удерживаю аплодисменты. Кто бы мог подумать, что у моей любви, милой домохозяйки и скромной бухгалтерши, столь недюжинные актерские таланты. Она была финансовым воротилой наркомафии уже тогда, когда я был никем, когда и не помышлял о работе на службе.

Она знала доподлинно о моих подвигах осведомителя (надо сказать, у них хорошие информаторы), но ни разу, ни словом, ни намеком не показала этого. «Чок-чок, закружился наш волчок. Сколько верёвочке ни виться...»

В кармане пиджака лежит флешка, на которой мой подробнейший отчет о деятельности этой преступной группировки, плод моих неустанных трудов в течении этих трех лет, несколько важных свидетелей, которые под страхом смерти рассказали мне все и передали необходимые компрометирующие документы, но, увы, им не повезло, их встреча со Всевышним была неизбежной. Финита ля комедия, после этого, последнего, разговора флешка ляжет на стол куратора.

Почему она так себя вела, размышляю я. Из любви ко мне, из желания сохранить семью, наверное, когда-нибудь она так представляла наш наконец-то искренний разговор. «Я сумела заработать очень много денег, более того, я устроила так, что могу выйти из мафии не вперед ногами. Да, вся моя работа была построена на лжи, но зато теперь мы богаты и свободны, можем жить где хотим и как хотим».

Любопытно, а её участие в разудалых оргиях просто метод выхода темного вещества из её души и, очухавшись, она снова верная жена и любящая мать? Ладно, я не психоаналитик, я человек действия, и время действовать наступило.

Я произношу несколько не значащих для посторонних фраз, но очень хорошо понятных моей жене. Она замирает над кастрюлей и медленно поворачивается. В ледяной тишине я произношу короткий монолог и достаю «вальтер».

– Глупо, – произносит жена. – Глупо так закончить.

Я стреляю чуть выше её головы.

– Ты можешь меня убить, – говорит жена. – Но я никогда не буду жить так, как ты себе вообразил. Ты – пустышка и фанфарон, ты сейчас уберешь пистолет, я уйду, заберу сына, и больше мы никогда не увидимся.

Я опускаю ствол ниже.

– Ничтожество, – в глазах жены царит презрительная ненависть.

Удар по темени валит меня на пол.

– Здравствуй, сын!

– Привет, папа!

– С утра имел неприятный разговор с премьером. Скандала, увы, не избежать. Слишком много людей оказались в курсе предстоящего мероприятия. Очень надеюсь, что обойдется без звериных последствий.

– Огласка была неизбежна. Заказ охранников, согласование выхода пациента из клиники, ну, ты сам знаешь всю эту бюрократическую волокиту.

– Знаю. Толку от этой охраны оказалось как от козла молока.

– Никто не предполагал, что у него в сортире может быть спрятан пистолет. И я, и Петр Ефимович никогда не сомневались, что пациент страдает психическим расстройством, невзирая на всю убедительность его поведения, когда он рассказывал о своем героизме в качестве осведомителя спецслужб.

– Хорош пациент, с ТТ в тайнике за унитазом. Кстати, как он, пришел в сознание?

– Пока в коме. Он стрелял в подбородок снизу, пуля прошла навывлет через кору головного мозга. Последствия пока трудно спрогнозировать.

– Да уж... Что сам думаешь?

– Если честно, я в полной прострации, отец. Не могу понять, где совершил ошибку, а если точнее, иногда мне кажется, что и не было никакой ошибки, что пациент размеренно и хладнокровно вел всех нас к этому финалу.

– Ради чего? Умереть красиво на виду у публики? Так ведь не вышло ничего, тупо попытался застрелиться на глазах у изумленной супруги и обескураженного доктора. Даже не на глазах, а запершись в сортире. Человек – существо рациональное, в любой самой извращенной фантазии всегда присутствует логика. Логики в данном случае не наблюдаю в упор.

– Пациент запутался в собственном внутреннем мире. На мой взгляд, его фантазия про героического борца с коррупцией была продиктована надеждой приобрести жизненный стержень, нерушимый при любых обстоятельствах. Обстоятельства оказались сильнее, отсюда эта идея фикс про работу жены на наркомафию.

– Засевшая в подсознании обида на жену? Безжалостное эго, которое требует внятно ответить на вопрос: «Кто есть я?» Ну что ж, где-то как-то похоже на правду.

– Когда пациент уходил в туалет, он обменялся с женой коротким взглядом. Мне показалось, что в воздухе в этот момент мелькнуло что-то совершенно конкретное.

– Так, попробуй сформулировать.

– Не знаю, трудно объяснить словами. Соединение, что ли...

– Я понял. Поступим так. Если пациент выживет, все исследования прекращаем. У тебя достаточно материала для диссертации. Похоже, ты подошел к той грани, которая отделяет врачебную этику от божественного промысла. Оставим человека в покое, пусть живет дальше как сможет.

Чок-чок-чок, завертелся наш волчок. Сколь веревочке не виться, всё равно один конец. Моя песенка спета, да, Ирка? Блю-блю-блю, канари, ни черта-то вы не ждали. Я понял тебя, Ирка.

Или все-таки не спета, что ты думаешь на самом деле, любимая моя? И мы еще споём...

Вера СЫТНИК

Родилась в Комсомольске-на-Амуре. Филолог по образованию, окончила Омский государственный университет. Работала музыкальным руководителем в детском саду, корреспондентом районной газеты, преподавателем мировой художественной культуры, русского языка и литературы. С 2006 по 2019 год проживала в Китае, где преподавала русский язык.

Автор двадцати книг для детей и взрослых, участница коллективных сборников, альманахов. Публиковалась в журналах «Берега», «Южная звезда», «Сура», «Новая скала», «ЛитОгранка», «Православная радуга» и других. Лауреат ряда литературных конкурсов, обладатель специального приза от издательского дома РПЦ на Международном славянском форуме «Золотой Витязь» (2018) в номинации «Дорога к храму».

Живет в Ессентуках, Ставропольский край.

АНЮТА

Великим постом, в начале апреля, серым дождливым утром мать Анюты увезли на телеге в соседнее село – рожать. Накануне женщина громко плакала. То и дело хваталась за живот и приговаривала: «Ой, не могу больше! Сил моих нету! Наказал меня Господь так наказал!» Анюте было непонятно, то ли мать плачет от боли, то ли по недавно появившейся привычке. Месяца два как ушёл от них отец. Молча собрал рюкзак и ушёл. Мать, пока он укладывал вещи, ползала на четвереньках по полу, цеплялась за его ноги и ревела благим матом. Её живот касался грязного ковра, казалось, ещё немного, и она рухнет пластом на него и раздавит того, кто находился внутри неё. Отец, мрачный, со сдвинутыми бровями, отпихивал мать и ничего не говорил. Одно слово только и бросил на прощанье:

– Шалава.

И даже мельком не посмотрел на дочку, спиной прижавшуюся к косяку двери и дрожавшую всем телом. Ссоры в семье были обычным делом, но сейчас происходило что-то ужасное, непоправимое, что должно изменить жизнь к худшему. Анюта тогда страшно испугалась за мать, а ещё больше за неродившегося ребёночка. Ей подумалось, что младенец тоже напуган и, наверное, кричит там, в животе, но его никто не слышит. Она догадывалась о причине ссоры. Давно уже по деревне ползли слухи о том, что мать нагуляла ребёнка на стороне, когда ездила прошлым летом в город к сестре. Анюта на время осталась с отцом и впервые почувствовала себя хозяйкой дома.

При матери она тоже мыла полы, выбивала половики от пыли, подметала двор, кормила кур и жарила яичницу, но делала это всё со страхом, опасаясь чем-нибудь разозлить мать, которая была не просто строгой – суровой. Особенно по отношению к дочери, которую называла

не Анютой, как все в деревне, а Нюркой. Анюта не понимала причину такого отношения. Возможно, потому что она больше тянулась к отцу? Он хоть и выпивоха, но добрый. С получки достанет, бывало, несколько сотенных купюр из кармана и протягивает со словами:

– Вот, доча, возьми на помаду.

– Какую «помаду»? – разъярённо кричала мать. – Девке десять лет!

– Ничего, пусть купит детскую, она девочка, ей надо.

Или потому что была похожа больше на отца, чем на мать? Такое же простодушное широкоскулое лицо с белёсыми бровями, с конопушками на щеках, такие же жиденькие, не в пример материнским, волосы, такая же коренастая фигура, только худенькая и лёгкая. Да, сомневаться не приходилось в материнской нелюбви. Мать часто повторяла со смехом, чем заставляла трепетать бедное Анютино сердечко:

– Это ж надо такому случиться! Ходить девять месяцев беременной, страдать от приступов тошноты, пережить сложные роды, едва остаться живой, и всё для того, чтобы родить совсем непохожую на тебя девочонку! Ничего от меня нет! Одни уши! Стоило так стараться?

Не в силах справиться с обидой, чувствуя свою ненужность, Анюта убегала в курятник и плакала. Проплакавшись, шла в дом и, если отец был не на работе, подсаживалась к нему и, подогнув под себя худенькие ноги, тихонько сидела, вдыхая терпкий запах курева. Анюта жалела себя, но ещё больше жалела отца. Мать была ласкова с ним, лишь когда он приносил зарплату со стройки. Сама она не работала, занималась огородом и курами. В начале осени отец на мотоцикле отвозил её в посёлок на базар, чтобы продать свежие помидоры, зелень и огурцы, а зимой – соленья.

Мать с недовольным видом садилась на заднее сиденье, придерживая рукой банки в коляске. Она люто ненавидела отцовский мотоцикл за то, что на нём отец частенько уезжал в степь и охотился там на рябчиков – особенно летом. Забайкальский край врос в его сердце, так отец говорил, когда мать звала его уехать куда-нибудь. «Куда я от этого солнца и степи? Нигде не смогу жить!» – повторял он. Возвращался отец всегда по-особенному радостный, в приподнятом настроении, свободный, помолодевший. Глаза его гордо блестели, когда он доставал из мешка связанных вместе птиц и кидал добычу к ногам матери:

– На, ощирай! Приготовь на ужин.

– И не подумай, – с чувством безгливости отвечала мать. – Твоя забава, так и возись с ней.

Отец брал таз, садился возле него на табуретку и принимался сначала ошипывать рябчиков, а потом варить их в большой кастрюле вместе с картошкой и лавровым листом. Глаза его постепенно тускнели, лицо становилось прямо-угрюмым. Анюта старательно помогала ему – складывала перья в мешок. Она не испытывала сострадания к убитым рябчикам, хоть и с любопытством разглядывала пёрышки: на крыльях они были с рыжеватым оттенком. Будучи деревенской девочкой, привыкшей к простой и грубой пище, она рассматривала их как вкусную еду, поэтому легко, без чувства боязливости хватала цепкими пальчиками за тоненькие шейки и подавала рябчиков отцу.

– Пока вырастешь, – тихо, с видом заговорщика говорил отец, теребя птиц, – насобираем тебе на перину. Будет приданое к свадьбе.

Сердце Анюты сжималось от жалостливой любви к нему. В ответ на отцовские слова она хитренько смеялась и ещё усердней собирала перья, которые летали по кухне. Приходилось лазить за ними под стол

и на печку. К ужину, когда рябчики были готовы и все садились к столу, отец вновь делался радостным и свободным в своих жестах и словах.

– Ну, как, вкусно? Ешьте, ешьте, пока горячее.

От тарелок шёл запашистый дух, ни на что не похожий, щекочущий ноздри и разжигающий аппетит. Отец крошил в тарелку хлеб и ел, дуя в ложку. В такие моменты он был красив красотой, идущей не от внешности, которая у него была самая простецкая, а от дела, которым он увлекался. Анюта тайком любовалась им и гордилась, что у неё такой папка – настоящий охотник!

За это-то чувство свободы, которое отец приносил с собой из степи, мать и ненавидела мотоцикл, а вместе с ним и ружьё. Оно хоть на время, но делало из отца настоящего мужика, а не вялого подкаблучника. Мать ненавидела всё, чем занимался отец, помимо огорода. Ненавидела до онемения в кончиках пальцев, до истерики. Всё, что придавало отцу независимости, что отрывало его от неё, казалось ей низменным, поэтому она никогда не занималась рябчиками, хоть и с удовольствием ела их. Каждый раз, когда отец собирался на охоту, когда в радостном, предвкушающим свободу возбуждении доставал ружьё и патроны, она выдумывала предлог, чтобы задержать его, но будто натыкалась на каменную стену. Лишь однажды отец уступил и не поехал.

Анюта до сих пор помнит тот ужасный случай, оставивший отметину на её, Анютином бледном личике. Дело было год назад, летом. В тот день мать была особенно чем-то недовольна и так и вскинулась, когда отец взялся за ружьё.

– Не поедешь, – жёстко сказала она. – Даже и не думай. Не поедешь.

– С чего это вдруг? – спросил хмуро отец, вкладывая в патронташ патроны. – Конечно поеду.

– А я говорю, не поедешь, – повторила мать и схватилась за ружьё.

Она дёрнула приклад и потянула его на себя. Отец не ожидал столь яростной атаки и чуть было не выпустил из рук ружьё, но сумел удержать.

– Отдай! Не пущу! – крикнула мать побелевшими от злости губами и с неожиданной силой принялась выкручивать из рук отца оружие. Между ними завязалась борьба. Они оба с ненавистью кричали друг на друга, и каждый рвал ружьё к себе. Анюта, затаив дыхание, смотрела на них из дверей кухни и чувствовала, как у неё холодеет спина. Испугавшись за мать, но больше за отца, что мать проткнёт его ружьём, она кинулась разнимать родителей, но те не замечали дочь.

В какой-то момент ружьё повернулось вбок и стволом больно ударило Анюту между бровей, чуть выше переносицы. Лицо её моментально залило кровью. С диким рёвом Анюта продолжала кидаться на родителей. Первым опомнился отец. Вырвав ружьё из рук матери, он убрал его в тайник и бросился к девочке. Ранка оказалась длинной, но неглубокой. Отец обработал её одеколоном и закрыл кусочком ткани, которую оторвал от чистой простыни. Мать, тяжело дыша, надменно наблюдала за ним, будто злорадствовала, что взяла верх над отцом пусть и ценой раны на лбу дочери.

– Ничего, до свадьбы заживёт, – равнодушно произнесла женщина, поправляя платье и приводя в порядок свои длинные, до пояса, тёмные волосы.

Она связала их в пучок и отправилась в огород окучивать картошку. Отец остался дома. Весь день он не отходил от Анюты, а через неделю, когда ранка затянулась и покрылась корочкой, ранним утром разбудил её и сказал:

– Поехали.

– Куда? – не поняла Аня.

– Надо, поехали, вставай. Нам бы успеть, я отпрашивался до обеда.

Они попили чаю с булками и вышли во двор. Отец вывел мотоцикл из сарая.

– Куда это ни свет ни заря? – подозрительно спросила мать, которая уже возилась в огороде.

– По делам в посёлок, к обеду будем, – ответил отец, усаживая Анюту в коляску.

Ехали недолго, минут пятнадцать, но каким же счастьем было сидеть в мотоцикле, жмуриться от ветра и вертеть во все стороны головой, чтобы разглядеть знакомую дорогу и успеть найти по её сторонам растрёпанные головки красных маков, белые короны марьиных кореньев, оранжевые кудри саранок, чьи корешки так любят есть все забайкальские ребятишки, и шляпки синих колокольчиков! Любимая степь летела навстречу Аняте, обещая нечто неожиданно-приятное. Из коляски мотоцикла степь казалась особенно просторной. Её украшали маленькие шапки-сопки, на которых рос дикий чернослив и черёмуха. Всё это богатство Анята не раз собирала вместе с друзьями. И сами наедались досыта, и домой приносили по целому бидончику – на компот.

В посёлке мотоцикл прямым ходом примчался к храму и остановился.

– Папа, зачем мы здесь? – спросила Анята, пока отец выключал мотоцикл, и они шли к церковному крылечку.

– Покрестим тебя.

– Как это? Зачем?

– Священник покропит тебя водицей, прочитает молитву. Зачем, спрашиваешь? Затем, чтобы ты была под защитой Бога. Не успела тебя бабушка покрестить, мне наказывала это сделать, а я, видишь, всё тянул.

Они вошли в храм, отец купил крестик, поставил Анюту рядом с группой из десяти человек, очевидно, тоже ожидающих крещения. Рядом находилась огромная металлическая чаша на полу и ковшик на століке. Анята разглядывала церковь и думала о том, что Бог, наверное, очень добрый, если к нему приходит так много людей и если для него строят такие красивые церкви с расписными стенами и золотыми подсвечниками. Иконы! Повсюду висели иконы, значения которых Анята не понимала, но чувствовала, что в них присутствует что-то очень важное для людей, что-то нужное! Она посмотрела вверх и увидела под куполом чьё-то грустное лицо с маленькой бородкой. «Наверное, это Бог, – продолжала она свои размышления. – Смотрит на всех и ждёт, пока мы поднимем головы».

Таинство крещения продолжалось около часа. Анята сосредоточенно слушала священника и ничего не соображала. Понимала только, что Бог где-то рядом и ждёт, чтобы она подружилась с ним. Особенно запомнилось, как священник, преклонив её голову над чашей, облил её шею водой из ковшика. Вода потекла по спине, рассмешив Анюту. Уже с крестиком на груди она вслед за отцом вышла из церкви. Остановилась на крылечке.

– Ну вот, ты крещёная, – улыбнувшись, сказал отец. – Теперь молись Богу почаще, проси у него, что хочешь, да не забывай благодарить. Детские молитвы они сильные. Молись, дочка!

Анята носила крестик, но молиться забывала. Вспомнила, когда от них ушёл отец. Перед сном, спрятавшись под одеялом, горячо шептала:

«Бог, слышишь меня, Бог? Сделай, пожалуйста, так, чтобы папа вернулся!» Потом выглядывала наружу и неотрывно смотрела в краешек окна, будто надеялась увидеть лицо Бога. Там, за окном, была холодная ночь, ошалело шумел ветер. Он налетал на деревню из степи, неся в себе мощь и силу просторов. Ветер, привыкший гулять свободно и широко, не любил преград на пути. Он давил на дом, на его стены, рвал крышу и бил ледяными снежинками о стёкла. Анюте становилось жутко, и она зарывалась в одеяло.

Отец не возвращался. Раза два приходил к Анюте в школу, приносил конфеты, но ничего не говорил. Смотрел задумчиво и молчал.

– Папа, папа, – тянула его за рукав Анюта, – ты вернёшься?

Отец молчал. Целовал дочь в затылок и уходил.

Анюта страдала: сначала из семьи ушёл отец, а вчера увезли на телеге мать. Что ещё ждать от жизни? Мать сказала, что уезжает ненадолго, дня на три, и впервые добрым, умоляющим голосом попросила Анюту:

– Ты похозяйничай тут сама. С печкой бабка Танька поможет, растопит, пока будешь в школе, а вечером придёт, посмотрит поддувало. Наварит щей, каши. Колбаса в холодильнике есть... Ты уж потерпи.

До посёлка, куда укатила телега с матерью, на самом деле, минут тридцать ходьбы. Анюта преодолевала это расстояние легко, незаметно для себя, когда каждое утро шла в школу. В их деревне было дворов около двадцати, ребяташек раз-два и обчёлся, поэтому школу ещё до рождения Анюты закрыли и разобрали на кирпичи. Приходилось добираться самим. Иногда подвозил отец, но обычно Анюта шла в компании одноклассников: рыжего Витьки и долговязой Нины. Неторопливо брели по накатанной дороге и разговаривали обо всём понемногу. Сегодня речь зашла об Анютином отце.

– Почему он с вами не живёт? – лукаво спросила Нина, намекая на всем известную тайну о нагулянном ребёнке.

– Твоё какое дело? – вспыхнула Анюта и не стала продолжать разговор, а побежала вперёд.

Слёзы стояли в её глазах. Захотелось побывать в церкви, чтобы ещё раз взглянуть на Бога, попросить, чтобы папа вернулся. Рискуя опоздать на занятия, Анюта всё же завернула к церкви. В этот раз лицо Бога показалось ей жалостливым, почти плачущим. «Плачет, потому что все забыли его», – подумалось ей. Она вспомнила, как отец перед уходом горько крикнул матери:

– Бога ты забыла! Да не ты одна, все мы забыли, вот и получаем теперь... эх!

Он махнул рукой и выбежал во двор, где полез к мотоциклу и вертелся возле него до первых звёзд. Теперь мотоцикла нет. Нет отца, нет матери. Анюта одна в доме. Вчера она места себе не находила: садилась за учебники и бросала, наливала чая и, не допив, отставляла кружку, смотрела телевизор, но ничего не видела. Неясные думы, ни одну из которых она не могла уловить, бродили в её голове. То думала про мать, которая «Бога забыла» и нагуляла ребёночка; то про отца, который тоже забыл, раз долго не крестил Анюту; то про школу, где таких, как она – безотцовщин, было полкласса.

Сегодня, вернувшись из школы, поела щей, сделала уроки, затем прибралась в доме. Поглядела вокруг себя и, не найдя, чем бы заняться, оделась и вышла на улицу. Было ещё холодно, возле сарая лежал снежок, а в середине двора, на солнышке, всё растаяло. Анюта открыла калитку и побежала за дом. Там начиналась сопка, на чью вершину

они с отцом частенько без труда забирались, чтобы нарвать мангыра по весне. Ей захотелось проверить, появились ли ростки дикого лука? Он такой вкусный! Стебельки плотные, сочные, ярко-зелёные! Совсем и не горькие, а даже сладковатые. Отец ест мангыр охাপками, обмакивая в соль. А Анюта – по пёрышку, заедая хлебом.

Она стала медленно подниматься по протоптанной дорожке. С этой стороны сопка почти освободилась от снега. Кое-где пробивалась трава, а в проталинке Анюта увидела россыпь фиолетовых ургулук, забайкальских подснежников. Ветерок шевелил их шляпки, отчего те нежно трепыхались и кланялись до земли. Девочка присела на корточки и потрогала цветы, ощутив под ладонью приятную шелковистую мягкость, и пошла дальше, задумчивая, тихая. Мангыра Анюта не нашла. Долго бродила по сопке, но нигде не увидела стрелок дикого лука, который начинает выползать из почвы малюсенькими острыми стрелочками. Нигде ни одной!

Анюта ходила, смотрела и не заметила, как солнце ушло к большой сопке и норовило скрыться за нею. А без солнца в степи сразу наступает темнота и моментально холодает. Анюта почувствовала, что замёрзла. Усилившийся ветер подталкивал её в сторону дома. Спихватившись, она побежала. Заскочила в дом, когда бабка Танька орудовала кочергой возле печки.

– Угли погасли, – проскрипела бабка беззубым ртом, – поддувало, смотри, не закрывай, а то угарный газ попрёт.

Видя, как Анюта нарезает себе колбасы, ворчливо прибавила:

– Поди, большая уже. Попостилась бы, девонька. Великий пост идёт.

– А что это, баба Таня?

– Христос наш постился и нам велел. Молился и строгость в еде соблюдал. Ты пойди в школу при церкви, там батюшка добрый, хороший, всё объяснит. Научит молиться. Ну, оставайся. Али ко мне пойдёшь? Айда! Не хочешь? Тогда бывай. Завтра мамка тебе братика принесёт.

Опираясь на клюку, старушка удалилась. Анюта задумалась, глядя на бутерброд. Что за «строгость в еде»? Что за «Великий пост»? Наверное, это про то, как наладить разговор с Богом, чего Анюте мучительно не хватало. Она хотела, но не знала, какие подобрать слова, чтобы Бог наконец её услышал и исполнил бы желание – вернул отца. С того момента, как он ушёл, Анюта ощущала себя другим человеком. Повзрослевшим? Может быть. А сегодня к этому чувству прибавилась острая, щемящая душу жалость по отношению к матери, вдруг ставшей в глазах Анюты беззащитной и слабой.

Виктория СОРОКИНА

Родилась в 1995 году в селе Каминском Курганской области. Окончила педагогический колледж, филологический факультет Курганского государственного университета. Журналист.

Финалист Всероссийского литературного молодёжного фестиваля-конкурса им. А.Л. Чижевского, лауреат Всероссийского литературного конкурса «Спасите пушкинский язык» (2 место), участница литературной мастерской З. Прилепина. Ранее не публиковалась.

Живёт в Каминском.

НИТЬ

Если мать ждёт у старого моста, значит, я жив. Я сын. В потёмках возвращаюсь домой с уловом. Не утонул. Я кричу на мать, стыжусь её назойливой заботы, граничащей с сумасшествием. Мать, успокоенная видом неврежденного и здорового, своего, плоть от плоти, бредёт домой.

Мать в селе считали немного не в себе, или, как говорится, «того», при этом нужно закатить глаза, иногда повертеть пальцем у виска. Четвертая, младшая среди сестер, малограмотная, читала по слогам, писала с ошибками, медленно выводила угловатые крупные каракули, в которых не сразу узнаешь буквы. Безотцовщина. Отец умер в тридцать седьмом или тридцать восьмом. Мать не помнила даты смерти, его обличия. Отца звала тятенькой. Строго. Но скупая ласка опутывала звук.

Я, как и мать, рос без отца. Он был плотником и пьяницей. Больше о нем я ничего не знаю.

После молодости, когда задумываешься ни над чем, а просто, глядя вдаль, я поймал себя на мысли, что похож на мать. Порой эту похожесть начинал ненавидеть. Но я, плоть от плоти, исторгаю то, чем родительница меня наградила. Часто сжимаю в кулак пальцы, словно пытаюсь нащупать, как глупый ребенок, воздух, при разговоре отстукиваю ногтями по столу, чеканю такт, так проще высказывать главное, фыркаю, как лошадь. Только мать это делала от старости, привычки, усталости, а я, пока отнимая от этого набора старость, ещё и от раздражения. Чаще на самого себя. «Выродился. Надо же, выродился». В такие минуты откровения перед самим собой кто-то бы должен всплеснуть руками, как мать или ее сестра, моя тетка, бездетная, принимавшая меня за родного сына. Но оставалась тишина, воздух не рассекали ладони. А мне было тошно от самого себя, от «щеликуна», от «большеголового филина», от «глотки». Так меня звала мать. Скачок в прозвищах стремителен, как и скачок в возрасте. Когда мать не злилась, называла меня Михаилом. Я наполнялся силой, так наполняются

ею пацаны, впервые расколов дрова, впервые прокосив вручную загонку, впервые подстрелив утку, впервые поймав крупную рыбу. Я единственный мужик в доме. Я. Не провались, не оступись. Проглотив тошноту от долгой работы и солнца, чувствую в руках тяжесть лопаты, думаю: «Нет. Мать жилистее».

Из «щеликуна» я превратился в «глотку», потому что громко и часто ору. Иногда превращаюсь в пьянь. А мать была лишь матерью. Звал ли я ее мамой? Кто ж теперь знает? Через года на все прошедшее я смотрю спокойно, не дрогнет ни единый мускул, трогаю обросшие колючие щеки. Я гляжу со стороны, вижу колченогую мать и себя, так, как если бы кто-то приглядывал за нами сверху, наблюдая всю несуразную картину.

Что мне досталось в наследство: солёная бурая кровь, замешанная на упрямстве и грубости?

Я помню саночки и скрипучий снег под блестящими полозками. Я запрокидываю голову, а там, в черноте, висят звезды, холодные пучки. От простуды я защищён шубой, шапкой и шалью, которую повязывают на спину и грудь, перекинув через плечи пуховые, крест на крест, импровизированные лямки. Мне хорошо. Я мал. Ещё не стыжусь материнской опеки и бабской шали.

Опека эта увивалась за мной, тащилась по следу назойливой преданной собакой, я отбивался как мог. Глупец. Даже пьяного, потерявшего обувь и шапку, мать находила меня.

Порвать эти путы. Было решено, когда в кружке краснел круто заваренный вишняг. Именно так, с остротой «г» на конце, в которой самый сок, вязкая кислота. Заварки в доме давно не было, как не было и карамели для детей, игрушек, колбасы, экзотических фруктов в крупной и чистой росе, появляющихся на выпуклом, как бычий глаз, экране. Я не люблю этот глаз, там обман, там кровь. Я вспотел, испугался, не за себя, за светлые глазки русских дочерей, когда в д/ф прокрутили отрезанные головы наших солдат. Я не любил это серое бельмо, когда шум лился из динамика, путались голоса и выстрелы, далёкие, в далёкой, ставшей чужой, стране.

Я и теперь его не люблю, сквозь это стекло, в центре которого вначале мерцает вспышка, разбегаются в стороны полосы, сочится рябь, разносит цвет и всё отчётливее сыплются знаки, нули, символы, ставшие целью всех и вся.

Но я решил порвать. Вишняг буреет в кружке, дочка жуёт лепёшку, макая в варенье из глубянки. Не клубника, это по-городскому, а глубянка. И вкус сразу приторней, и аромат явственней. Глубянку с луга принесла мать.

Но я решил порвать. Не для себя, для этой русой и светлоглазой, для старшей, с такими же, как у меня, вытаращенными и упрямыми глазами.

Мать долго пыхтела. Теперь молчит, зная, что я почти порвал, но тоненькая нить ещё держит, самая крепкая, самая скрипучая. Жена знает, что я обману. Сначала мать, задумчивостью уверив, что всё брошу и сорвусь, потом жену и детей, доверяя им воспоминания о прошлой жизни, потом себя, доводя до душевного изнеможения, до бессонницы, до мутности, до похмельного шума в голове.

Чай из вишняга остыл. Выплёскиваю бурую жижу в раковину, снова ставлю чайник, предаюсь размышлениям, пока на голубых лепестках греет пузатые бока железный друг с толстым налётом внутри.

Мать пришла, медленно прошаркала ногами по половикам, прокашлялась, давая знать, что здесь, возвращает меня в реальность, раздумья обрываются, а вот нить, та, последняя, наоборот, крепчает. Жена, взяв из холодильника банку с молоком, идёт поить телёнка, молчит, предчувствуя близкий скандал. Но сегодня его не будет. Я так решил. Я выдохся ещё утром, когда тётка, пустив по морщинам слезу, с дрожащими губами говорила, но в моей памяти всплывают отрывки: куда, одни, поможем, не могу, а дом.

– На сено-то завтра поедешь? – заговорила мать.

– Поеду.

Налил в чашку крутой кипяток, звонко размешал сахар. «Завтре, да, завтре», – твержу про себя, так же, как и мать, выламывая окончание. И в этом изломе чувствуется мой, собственный, надлом. Ещё немного, завтре, послезавтре... Никак не решусь.

– Много косить не буду, – дёрнуло что-то сказать, как будто наперекор матери, в пику, как сказал бы пацан.

– Пошто?

– Куда мне его? – я отглотнул кисловатый бурый кипяток. – Всё равно скот под нож пускать.

Мать молчала, громко дышала, пыхла, узкие синеватые губы, силась удержать воздух, раскрывались, вываливали его, горячий, с фырканьем, со шлепком о липкую в слюне кожу. Теперь я вновь почувствовал, что нить подалась, натянулась, дрожит, скрипит, почти, ещё немного. Но надать нечем. Молчу.

Часто поморгав влажными серыми глазами, мать развернулась, утоптала сбитый половик. Пошла прочь. Я соскочил, держа в руках кружку, подошёл к окну, стал ждать, как в детстве, когда появится на длинной улице между домов мать. Звякнул металл, раскрылась калитка, мать, заложив за спину руки, шла по дороге, припадая на правую кривую ногу, на голове платок, с золотистой тонкой нитью, такой же крепкой, как та, что не могу разорвать, он пахнет стариковским потом и дешёвым мылом, которого в шкафу в избытке. На худых сутулых плечах бурая, как вишняг в кружке, кофта.

И как я мог сидеть на этих воспалённых от работы коленях, и как могла она казаться такой большой и сильной? Я отогнал все мысли, ведь я решил порвать.

Утром, твёрдо зная, что сегодня точно, покончив с последним в моей жизни покосом, с треском рвану нить. Наступит свобода. Я упыюсь ей, я буду жить, я стану одним из тех, кто теперь слоняется по узким шумным улицам, дышит смрадом выхлопных газов, топчет асфальт, глазееет на рябь витрин и спины прохожих. Я буду таким же, в погоне за прозрачной свободой и знаками, цифрами, навеки потерявшийся в такой огромной, но теперь чуть меньше, и новой стране. Я видел её громаду из окна поезда, когда катил в армию и обратно. Её безмерность я разглядел на пике сопки, вдохнул в густом орешнике, затаившись от всех, услышал в перекличке неведанных птиц. Тогда эта громада не пугала, развернувшись, принимала в себя, обволакивала, обещая спокойствие и рутину, теперь же она не вмещалась в моё сознание, пугала чем-то новым, ещё непрозондированная моими чувствами, исторгала меня, а я в ответ отторгался от неё. Я, отделённый от мира всё тем же выпуклым глазом массивного ящика в углу комнаты. Что сулила мне порванная нить, если я остался слепым котёнком, отнятым от тёплого материнского брюха?

Но я решил твёрдо порвать, подсакивая на сиденье в тракторе, поглощая кряхтенье и шум старого мотора. Рядом, подтыкая меня мягким боком, раскачивалась жена, на голове белел платок, туго завязанный на затылке.

Ловя себя на мысли, что вижу эти валки, пахнувшие увядшими травами, в последний раз, я не чувствовал ликования, привкуса маячившей перед глазами свободы. Там, впереди, была лишь пустая неизвестность, более ничего.

Шум сена заполнил всё, заполз в уши, под рубаху сыпалась труха, липла к потной спине, паут впивался в саднящую от грязи и соли кожу.

Копны поддавались быстро, под напором силы сбивались в стог, ровный, с вытянувшейся куполом в небо вершиной. Я помнил, что рву нить, оттого бесновался, прикусив губу, пронзал вилами травяной пласт, взметал его кверху, забрасывал на стог, как поверженного, неизвестного мне, но таящего беду. Утирал мокрое лицо.

Сквозь пелену пота выхватил знакомое движение, всё тот же тёмный платок с крепкой нитью. Мать шла по хрустящей стерне, закинув на плечо вилы.

Молча, без прелюдий, накинулась на сено, врезала остриё, пронзила сушь, взметнула кверху. Я удивлялся её силе и стойкости: из-под навильника, часто семена, загребая пространство, ковыляли кривые ноги, торчали сухие руки, покрытые синими венами, над согбленным телом высились косматые травы.

Кричать на мать было бессмысленно, она, воткнув ноги в сапоги, шла по тракторному следу, по его отпечатку в густом песке, к далёким прокосам и высоким стогам. Шла по пятам, за мной, сыном.

Нить снова удержалась, ослабилась. На время я сдался, прилёг на траву. Над головой шелестел лист ветлы, несло горечью полыни, трещали кузнечики. Сделалось дурно, подступила тошнота, в животе заворчала разгорячённая утроба, наполненная тёплой водой.

Мать жевала кусок хлеба, под тонкой кожей быстро ходили желваки, подрагивал острый кончик носа. Мой нос такой же, и сам я – обличем в мать. Рядом с ней сидит жена, нанизывает на вилку жареное яйцо, отправляет в рот белок, покрытый золотистой корочкой, с каплей масла, что вот-вот сорвется и обласкает её потный подбородок.

Я поднялся, к горлу подступила кислая слюна, подался вперёд, исторгая тёплую выпитую воду, перемешанную с горькой слезью. Лежал, смотрел в недосягаемое небо. На голубом полотне белела черта, исходившая от серебристой точки. Ближе к точке черта была тонкой, изящной, но на удалении от неё изящность сменялась жирной размашистой полосой, превращаясь в россыпь белых ватных клякс. Если приглядеться, то у точки можно было различить серебристые крылышки. Там, окружённые металлом, летят люди, какие-то другие, недосягаемые, без покосов и солёных спин, без тяжести вил в руках. Они дышат городским смрадом, заключённые в объёты машин, стоят в пробках, исторгая шум на разные клаксонные голоса, они, покоровившие знаки, или покоровившиеся им. Другие – смелые, наглые, уверенные, я же – мелок, посреди этой степи, точка, для них, с высоты, неразличимая. Моё время остановилась, замерло, словно я здесь, под этой шелестящей ветлой, лежу вечность. Я не сбегу, никак не разрежу нить. Мысль о том, что решено порвать, забила куда-то в угол. На смену пришла горечь и тошнота.

– В Ильин-от день не робят, – спустился сверху голос. Оторвавшись от неба, я вспомнил, что этот голос принадлежит матери.

– Время идёт. Некогда, – я поморщился, снова накатила тошнота.

– Хвораш?

– Нормально, – я махнул рукой.

Рядом подседа жена.

– Забор пал.

– Мать, я знаю. Не разорвусь пока.

– Ну, дак, теперь надумал ехать, – в голосе матери звучала нескрываемая обида, и теперь она говорила так, словно готовилась вывалить разом все скопившиеся за это время упреки, облить ими сына с ног до головы, дать звонкую затрещину, ухватить за седеющий клочок волос на лбу.

– Это при чём здесь?

Жена поправила на голове платок, отвернулась. Вновь назревал скандал, ставший привычным теперь в нашем доме. В такие минуты она молчала, уходила, отворачивалась, делала всё возможное, лишь бы не видеть наших выпученных глаз, алых щёк, резких линий губ, покрытых слюной и пеной.

– Не живётся, – рванула на себя мать.

Я ухватил нить за другой конец, выждал, чтоб рвануть ещё сильнее.

– Работы ей нет, – я ткнул пальцем в силуэт жены, давно покинувшей наш громкий дуэт, – детей кормить надо, мне платят с гулькин хрен.

– Мы с Антониной пенсию-то получаю.

Кровь хлынула в голову, залила щёки, глаза, перед которыми поплыли цветные круги. Мать смотрела упрямо и бестолково, мне захотелось взвыть, громко, по-звериному, понимая, что объяснить матери ничего не могу. «Я – мужик. Единственный в семье. Я. Я». Рвалось наружу. Тот, кто впервые в двенадцать расколол дрова, тот, кто впервые в десять принёс крупный улов тебе, мать. Мне хотелось бить себя в грудь и брызгать слюной. Но эти глаза, эта глупая пустота в них не поддавалась мне.

– Да поезжай ты, глотка, – мать тяжело поднялась, отряхнула рукой юбку, поволоклась к копне.

Сено дометали молча, под солнцем, в ведро.

К ночи в голове загудело, пространство, пошатнувшись, поплыло, прошиб озноб, заполз под рубаху, схватил за загривок, волосы, как у одичавшей собаки, поднялись клочками, застучали зубы. Я обхватил руками бока, забрался под одеяло с головой. Но воздуха не хватало, вытащил голову на свободу. Перед закрытыми глазами плясали цветные развесёлые капли, от которых становилось дурно, я открывал глаза, удостоверившись, что в родных стенах всё по-прежнему, снова удаляясь в темноту, но капли возникали из ниоткуда, неотступные, навязчивые, чему-то веселились, потешались. Я воткнул под мышку градусник. Как в детстве глядел на ртутную полоску, она, разогнавшись, ползла по прямой, пересекала мелкую резьбу делений: 37, 38, 39, 40. Полоска замерла. Я отлепил горячее стекло от кожи, почувствовал резкий запах пота.

Ночь не дала прохлады. После полуночи пронеслись раскаты. На смену цветным каплям пришли живые всполохи, бьющие в воспалённые глаза сквозь веки. Ударил гром, припустил дождь, над крышей

загудел ветер, как кулаком, врезался в железо, выбивал барабанную дробь. Погода бесновалась. Утихла только к утру.

На смену грому прокатился голос матери:

– Сено-то, сено-то, – кричала она, – всё разметало!

Я соскочил с кровати. Жены не было, после неё на матрасе оставались ещё тёплые вмятины.

– Сено всё раскрыло! – блажила мать. Именно блажила, и не иначе. Слова путались, разлетались по дому, в комнате проснулись дети, заткнули уши пальцами, спрятались под одеяло.

Быстро натянув на худое тело одежду, я бросился к трактору. От бега в ушах шумело, глаза болели, мозг подпрыгивал в коробке. Какая нить, какие мысли? Всё запуталось, сплелось в тугой клубок из обиды, горечи, досады, злости. А нить? Где же она? Самая «дюжливая» и скрипучая, пронизывала этот тугой клубок, крепила.

Трактор, исторгнув смрад, затарахтел. Я забросил за кабину, на подкрылки, вилы и грабли, фары служили опорой, запрыгнул в трактор.

Следом бежала мать. Выругавшись, я остановился. Хватая толстыми пальцами мазутные косяки, мать ввалилась в тесную кабину.

Всю дорогу я чувствовал, как рядом раскачивается худое и изведённое работой материнское тело, то самое, от плоти которого я уродился. Уродился в неё, в мать. Упрямый и грубый, с этой нитью, так прочно пронизывающей все мои мысли, чувства, весь клубок горечи, который никак не мог из себя исторгнуть.

Я видел, как по стерне были раскиданы лепёшки сена, ставшего серым, тяжёлым от дождя. С большого купола стога была снята верхушка, как срезанная маковка кулича ножом, легко, невесомо. Разорвана на клочки, развеяна по лугу. Тот, кто бесновался всю ночь, не щадил силы, выламывал вислаки, хватал горстями сухую, плотно умётанную траву, вырывал клочками, швырял на ветер. Упругий поток подхватывал их, запашистые, с приглушённым шелестом, гнал на вершины верб, насаживал в низины, стелил на пригорки.

– Вот он, Ильин-от день, – проговорила мать и скинула с подкрылков вилы. Зубцы со скрипом и лязгом протащились по железу.

«Вот он я. Единственный в доме мужик. Я», – металось в воспалённой голове. Снова прошиб озноб, но иной, не от температуры, от злости и досады. Я злился на себя, на погоду, на мать с её Ильёй, на бога. Но на него я злился иначе, давно раскусив, что высший разум, там, который есть, по нашим догадкам, именно на небе, большой шутник. Я облизал губы, пробуя горечь вновь удавшейся шутки. С богом я осторожничаю, но знаю, что он в прошлой жизни был большим грешником, чем я, оттого и шутки его такие горькие, едкие, острые.

Мать втыкала в стог вилы, снимала пласти сена, разбрасывала на стерню, под пекло выкатившегося солнца.

Нить порвалась. Но мне теперь она не нужна. Я сам вцепился в свой клубок горечи и пошёл к согбенной старухе, в которой некогда жила моя молодая мать. Странно, но её молодого лица я не помню. На нём всегда чернели глубокие морщины.

Нить порвалась, но жизнь осталась жизнью, не потерялась, не исчезла, не сорвалась во тьму. Может, это не что иное, как сама любовь?

Любовь? Здесь само звучание этого слова ничего не значит. Про нее говорят с придыханием где-то там, далеко, за морями, а ещё в карамельно-

розовых и приторных сериалах, и от слова, слетевшего с пухлых губ модельной актрисы, становится дурно, сахар налипает на глотку. Здесь, в моей глуши, в моем холодном краю, о любви не говорят. Но остро чувствуют. Чувства здесь не атрофировались. Как если бы подушечкой пальца надавить на холодное острие ножа. Так и с любовью, которая проявляется лишь неуклюжим действием, без слов, но осязаема и осязана. Я знал, что и мать любит меня по-особому, неповоротливо-медвежьей, грубо, сухо.

Если мать ждёт меня у моста, переминаясь на кривых ногах, «караулит», вслушивается, где заурчит мой старый Иж, значит, на кончике острия пульсирует любовь. Заурчит мотор – сын жив. Не утонул. Сегодня я буду молчать, сегодня не буду ругать ее беспокойства.

Если мать ждёт у старого моста... Нет. В сумерках показалось.

Екатерина ЯНСОН

Родилась в 1993 году в Москве. По образованию лингвист, окончила Московский государственный лингвистический университет и Первую школу радио и ТВ. Журналист, переводчик, равный консультант фонда помощи людям с психическими расстройствами «Равновесие».

Рассказы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Волга – XXI век», «Линия полета». Повесть «Уродины» вошла в лонг-лист премии «Лицей» (2022).

Живет в Москве.

РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ

Из повести «Уродины»

Опять! Перед глазами синие цифры 03:00. Я стараюсь, изо всех сил стараюсь устать, потерять способность видеть сны. И всё равно раз в месяц или две недели я в холодном поту, с новым сценарием того, что могло бы быть. Не могу поверить, что Маши нет, всё, уже давно нет. Она не вернётся ни в своём теле, ни в чужом.

Сегодня в редакции очень шумно. Это редкость, потому что с пяти до шести утра мы работаем в туманной тишине. Веду прямые эфиры. Глаза у меня как грузинское полусладкое, а ещё я повредила палец. Случилось это, как обычно, ночью, рука воспалилась, а на работу через три часа. Палец я решила вылечить марганцовкой и теперь в кадре не слишком изящно прячу фиолетовую руку за ноутбук.

Но в остальном красят меня очень сносно, хотя лицо у меня цвета утомлённого болота. Для живущих нормальной жизнью: это зеленовато-серый цвет. Мне нравится делать то, что не могут другие. Мальчики, девочки приходят и уходят в полубомороке после выпусков про теракты. А я не ухожу уже много лет.

Я полна ценнейших качеств: могу достать спикера для интервью хоть с неба, однажды вызванивала одного во время посадки в аэропорту. Говорят, из могилы могу достать, но пока не пробовала. Знаю, что спросить, чтобы он ответил то, что тебе нужно, если ты ещё не знаешь, что нужно. Как вставить вопрос про политику в любое интервью, не давая при этом понять собеседнику, что нас больше интересует Трамп или Байден, чем он сам. Сделать репортаж-расследование на основании данных, которых нигде нет. Говорить на тему, в которой никто не разбирается, и ты тоже. Или на тему, на которую пишут только на языке, на котором ты не говоришь (здесь пригождаются обширные лингвотружеские связи). Я даже научилась не расстраиваться, когда со мной

не хотят разговаривать. Все, кто работает здесь дольше полугода, становятся разносторонними профессионалами.

Не умею я только одно – нормально, бескошмарно спать. И спокойно жить. Вообще-то, много чего я не умею, что умеют нормальные люди.

Всё началось какого-то июня, когда мы с Машей пошли гулять по городу. Дипломов нам ещё не дали, студенческие проездные не отобрали, но мы уже приучались рассекать Москву на своих двоих.

Проходя мимо Останкино, я пошутила, что хочу там работать. Потом на курсах по ораторскому мастерству меня спросили: «Что вы хотите вести?» Отвечаю: «“Вечернего Урганта”, можно без Ивана». Посмеялись – какая выскочка пришла. Через пару месяцев я работала корреспондентом в том же здании, что и он, но уже не очень радовалась этой возможности, потому что сильно нервничала в первые дни. Если быть точнее, первые дней шестьдесят.

После выпускного, пока наше чувство единения ещё было сильным, мы пошли обмывать это бургерами. В кафе нам впервые не сделали скидку, потому что студенческих у нас больше не было, а по красным дипломам скидок не дают.

Кто-то говорил, что не чувствует, что это конец. Я отлично чувствовала. За неделю до этого я опоздала на час на собственную защиту и тогда поняла: вот оно – щёлк, и всё. Осталось стряхнуть с ног остатки лингвистической тины и идти в светлое безработное будущее.

На следующей неделе я уже готовилась к собеседованию в уверенности, что меня не возьмут. Где я и где Останкино? Как бы то ни было, я распечатала резюме, отрепетировала самопрезентацию, погладила платье и легла спать. Но на собеседовании меня ни о чём не спросили. Хотя нет, спросили, какие вопросы есть у меня.

Это было самое долгое собеседование в моей жизни, особенно учитывая то, что раньше я на собеседованиях не была. Мне подробно рассказали о работе и предложили пройти тест на знание новостной повестки. Я делала ошибки и каждый раз думала: ну вот, сейчас меня выставят за дверь, вытолкают взащей и скажут не возвращаться. Ну или сейчас... Но меня почему-то не останавливали и не выгоняли. Ждала, что мне скажут: «Вы что сюда пришли? Вы вообще кто?»

Я никогда не была в редакции, тем более с иностранными гостями (изначально я собеседовалась на продюсера по подбору этих самых гостей). Все куда-то бегали, вскакивали, матерились. Чёрт, я хочу здесь работать, подумала я. Тоже хочу бегать и материться!

Каждый день я приходила на работу и думала, что вот тот момент, когда меня разоблачат, уволят, ну давайте же! Я готова. Можно сказать, заждалась уже, даже чашку не приносила, не обжилась. Но этого всё не происходило. Я нервничала и ошибалась в переводе. Потом решила: может, судьба моя такая, быть плохим переводчиком, почему нет? Если есть в мире место профессионалам, значит, должно быть место и мне.

По утрам я вставала в состоянии немного лихорадочном, как если бы я пила кофе всю ночь. Ничего не хотелось есть, и только на выходных, когда страх оставался немного в прошлом, я ела и ела без остановки, и пила чай, и снова ела и пила чай, успокоительный мятный чай...

На собеседовании мне сказали, что самая большая нагрузка на вечернюю смену, так как вечером выше рейтинги и нужно «держат удар». Значит, туда допускают самых опытных, на кого можно положиться,

подумала я. А потом меня спросили: «Можете ли вы работать с шестнадцатю часов до часу ночи?»

Я стала возвращаться домой в часы, когда туфли уже растеряны, а карета превратилась в тыкву, поэтому любой случайный пассажир в лифте казался немного маньяком. Я мысленно составляла фотороботы неманьяков. Например, маньяк не шаркает ногами, это обнаруживает его присутствие. Надо быть юрким, тихим – первое правило маньяка.

Маньяк не шатается, шатающиеся – это другая категория граждан, которые хоть и могут быть агрессивны, но наверняка не смогут догнать. Маньяк вряд ли окажется подростком, такие чаще всего идут от друзей в такой час, пытаясь скрыть шатание и перегар. Возможно, им в этот момент страшнее, чем мне.

Это точно не девушка на каблуках. Не человек в преклонном возрасте, хотя прогулки в такое время для него тоже не очень обычны. Не человек с собачкой. Маньяк не садится в такси и не выходит из него. Не несёт с собой пакеты с едой из магазина. Не хипстер.

Каждый день в редакции был непохож на предыдущий. Я обожала свою работу. Потому я и выбрала работу с новостями (хотя, может, это она выбрала меня), потому что здесь нет места рутине. Вся моя жизнь – рутина, и работа была ежедневным приключением, за которое ещё и готовы платить. Ничего не знаю про стеклянный потолок, знаю только ощущение горящих осколков в глазах от переработок. Меня быстро повысили.

Ночами мне снилось, что я перевожу. Однажды приснилось, что я беру интервью у Макрона. Я долго и нервно готовилась, составляла вопросы, но он так и не успел прийти до звонка будильника.

Аудитория любила сюжеты про С-300, потом С-400, про истребители, военные базы, суда. В редакции пахло цинизмом. Мы переживали, когда новостей не было, и были рады, когда что-то наконец случалось, будь то взрыв, перестрелка или пожар. Шутили, что можно и самим что-нибудь поджечь. Читали про *rage rooms*, комнаты злости и смеха, контактные мини-зоопарки в западных компаниях, недоумевали, почему такого нет у нас.

– А что, вышел на перекур, свернул голову курице – и всё, расслабился, пошёл дальше работать, – пошутила одна некогда милая и хрупкая девушка. Мы дружно рассмеялись. Из редакции никто не выходил прежним.

– Хотя лучше бы завели нам свинью. Если что, можно будет скормить ей труп, – добавила она.

Спустя пару месяцев меня перевели в штат, причем сразу старшим продюсером, то есть «страшным» (старшим) смены на рабочем сленге. Смена состояла из двух юношей и двух опытных редакторов, мужчины и женщины. Однажды меня спросили:

– Катя, у тебя есть дети?

– Да, четверо, – ответила я.

Я была самой младшей (перешучивались, что мне двенадцать). Говорили: девять вечера, Кате пора спать. Почему Катя берёт отпуск с первого сентября? Потому что тайно ходит в школу!

То был безмятежный октябрьский выходной (а мы работаем всю неделю).

– Недавно была годовщина, вот уже тридцать лет с тех пор, как моя нога ступила на русскую землю, – рассказывал тот самый матёрый подчиненный, родом из Англии.

– Это ж можно было убить кого-то, и уже отсидели бы, – отвечала ему коллега.

В тот день мне было не смешно – я переписывалась с НАТО, так как отвечала за международную переписку. Очень вежливо попросили кое-что исправить и очень благодарили.

Когда ручки у меня перестали трястись и я стала обедать едой, а не мыслью об обеде, на который нет времени, прошёл слух, что требуются корреспонденты. Надо было не искать экспертов для других, а полностью разрабатывать свои сюжеты.

Тогда же мне предложил работу французский предприниматель, с которым мы несколько раз делали интервью. У него была своя компания, требовался личный ассистент. Но через пару недель меня оформили корром.

В мой первый рабочий день на новом месте нам сообщили о бомбе в здании. Кто-то сказал: «Спецслужбы проверяют анонимный звонок о бомбе в телецентре». Первая мысль – надо сообщить об этом зрителям. Потом вспомнили, что неплохо бы и самим эвакуироваться. Спецслужбы привели собачку, побродили по территории, но не обнаружили ничего подозрительного.

8 ноября мы торжественно избирали Трампа. Ночевали в студии с колбасой и шампанским. Нервничали все по-разному: кто стуча по клавишам, кто выбегая курить, кто шутя. Результатов выборов ждать не стали, бутылки открыли сразу. Однако обнаружился и человек, который не умеет открывать шампанское. Не я – я из тех, кто открывает вино ключом. Одну бутылку он разбил, запахло победой.

Текучка у нас всегда была сильная, а после напряжённых выборов тем более. Я позвала к себе подругу из RT. Её пригласили на собеседование. После него мы зашли в кафе, я поприветствовала моего старого знакомого за барной стойкой и заказала кофе. Мне он принёс просто кофе, а подруге дал ещё красивый пирожок:

– За счёт заведения для сотрудника ИГ.

Она громко рассмеялась. За несколько дней до этого депутаты Европарламента собрались за круглым столом и включили их в список потенциально опасных для ЕС СМИ, наряду с ИГИЛ и Аль-Каидой*. На работу её в итоге приняли. Перспективный сотрудник!

– Катя, ну я же вам там всё разжевал.

– Настолько, что я не смогла съесть.

Иногда нервы сдавали. У нас сменилось руководство. Редакторов учили читать источники «между строк», видеть в новостях то, чего там не было. Встал наивный вопрос: разве перед тем, как читать между строк, не надо читать саму строку? К тому же выяснилось, что я отвратительно не приспособлена к жизни: я умела работать и совершенно не умела плести интриги. У кого-то обнаружилось своё мнение, а это ещё непростительнее. Надо было искать другую работу.

Люди уходили. Приходили новые. Меня стали раздражать новые коллеги. Девочка-цветочек со связями, из МГИМО, тонким голосом го-

* ИГИЛ, Аль-Каида — террористические организации, запрещённые в РФ. — Прим. авт.

ворила: «Спасибо, конечно, сейчас сделаю», – и не делала. Неизвестно, чему их учили на факультете, но выстраивать причинно-следственные связи между предложениями – явно нет. Кто-то радостно прощался в конце дня, как будто работал не с нами в режиме «сделай или умри», а с розовыми пони. Кто-то рыдал. У всех по очереди темнело в глазах.

У гримёра, которая правила нам скулы и носы, случилась радость – сын сказал своё первое слово. Это было слово «...». Цинизм передавался воздушно-капельно...

Наконец я нашла должность, которая мне понравилась: искали старшего редактора отдела культуры в модно-феминистский журнал. Надо было беседовать с известными личностями, писать кавер-стори. Пятидневная неделя, что страшно для меня, человека, непокорного общественным устоям и работающего сменами, но зато, как я могла предположить, без ночных дежурств. Журнал сдаётся раз в месяц – угадайте, что это значит? Никаких срочных новостей! Никаких «срочно приезжай на студию, теракт в Париже» в два ночи. Да и никаких новостей вообще! Это, что ли, работа в удовольствии?

Но они мне ответили: «Спасибо за отклик, но ваш профессиональный опыт не вполне подходит для выбранной должности». Какой такой опыт? Комментарии политиков, интервью с музыкантами, итальянской княжной... Ну точно, это политики всё испортили.

У нас была не самая прогрессивная аудитория, но я радовалась каждый раз, когда мне удавалось сделать материал про равенство, психологическую грамотность. Никогда не читала комментарии – эффект моих антидепрессантов не настолько силён. И однажды меня позвали в «Форбс». Красиво позвали, изучили, что я пишу... Но ещё более неожиданно я отказалась. Решила, что систему надо менять изнутри, а не с комфортных страниц либерального журнала. Пусть тысячи, сотни тысяч возненавидят мою точку зрения здесь, но у пары человек в голове что-то сдвинется. Они задумаются, что можно иначе. Что я могу изменить, будучи в «Форбс»? Там и так все равноправные, просвещённые. Они и без меня всё знают.

Леонид СЛАВИН

Родился в Горьком в 1968 году. Около 30 лет работает в сфере реабилитации слабослышащих, в настоящее время возглавляет сеть центров слухопротезирования «Отосфера».

Публиковался в сборниках литературной премии «Наследие» и журналах «Нижний Новгород», «Новая Немига литературная».

Живет в Нижнем Новгороде.

ГРИВЕННИК

Тот, первый после революции, май в уездном городе Плетники выдался на редкость тёплым и солнечным.

Сначала отметили Первомай, как положено – шествием, с кумачовыми флагами, транспарантами и водкой.

Неделю спустя так же встретили Пасху Господню: крестным ходом, хоругвями, яйцами и куличами.

Неделю спустя в Плетниках зацвела вишня, укрыв небольшой уездный город сплошным белым покровом.

Если забраться на высокую колокольню Троицкого собора и кинуть взор окрест, то можно было увидеть бесконечное кипенно-белое море цветущей вишни, темнеющие крыши домов и амбаров и пока ещё золочёные кресты церквей.

Но уже реяли над учреждениями алые знамёна, краснели транспаранты на фасадах домов.

Человек чувствительного склада, писатель или поэт, мог бы сказать, что эти красные пятна – капли крови на покрове святой Руси, а другой бы заметил, что это распускаются дивные цветы новой жизни.

Человек же наблюдательный, обладающий практическим складом характера, присмотревшись повнимательнее, сказал бы, что на соседней улице затевается некое злодейство.

Так оно и было. На крыше одной из многочисленных голубятен стоял мальчик лет примерно десяти и самозабвенно махал шестом с привязанной к нему тряпкой. Говоря по-простому, гонял голубей. Время от времени он закладывал два пальца в рот и оглушительно, по-разбойничьи свистел. В синем небе над его головой, забираясь все выше и выше, кружилась стайка красавцев голубей-турманов.

В это время через две улицы на крыше такой же голубятни лежал примерно такого же возраста мальчуган и терпеливо ждал, когда же стайка будет пролетать над ним.

Полчаса он терпеливо, будто охотник в засаде, напряженно всматривался в небо и в тот миг, когда голуби пролетали над ним, он резко вскочил, рука его взметнувшись вверх, и навстречу стае вертикально, столбом, полетела белая красавица-голубка.

Ещё минута, и она присоединилась к стае, голуби закружились, закувыркались в танце на невысказанной высоте, и когда голубка полетела назад, за ней увязался лучший в стае турман.

Стоило только парочке коснуться крыши, как Гришка Герасимов, именно так звали лиходея, схватил обоих голубей, сунул их в клетку, к другим птицам, и кубарем скатился вниз.

Маленькое сердечко Гришки билось где-то в области горла, он торжествовал.

«Что, Санька, – мысленно обращался он к своему давнему конкуренту и недругу Саньке Самарину, – вот и пробился ты об заклад, переманил я твоего лучшего турмана. Мой, мой теперь гривенник. Вот и посмотрю я на тебя, с какой рожей ты его завтра выкупать-то придёшь. Поди-ка, все Плетники будут знать, как моя голубка твоего турмана увела», – думал Гришка, осторожно пробираясь садом к своему дому.

Больше всего не хотел он сейчас встретиться с новым соседом-золотарём Зотовым, грубым, вечно пьяным мужиком.

До революции Зотов, «выгребных дел мастер», как он себя величал, не вылезал из нищеты, жил с многочисленным семейством в какой-то покосившейся халупе на краю города.

Но вот пришла революция, и половину дома работающего кузнеца и слесаря Герасимова, который к тому же ещё и держал пару лавок на Базарной площади, отдали семье Зотова.

Лавки, кузницу и мастерскую у Герасимовых отобрали, сделали обыск и забрали все более-менее ценное. Спасибо ещё новой власти за то, что не выслали, как многих тогда, на Север, на вечное поселение.

Гришка, конечно же, многое из этого не понимал, но, как на беду, голубятня его теперь оказалась на земле, выделенной Зотову. А тот, когда напивался, всегда ругался на Гришку и его родителей, грозился голубятню порушить, а птиц извести.

Новой власти Зотов пришёлся ко двору, и за последние полгода он изрядно разбогател, купил себе новую одежду, на рынке покупал самое лучшее и даже купил себе новую телегу с бочкой для нечистот.

Впрочем, и ту, напившись в стельку, часто бросал у крыльца дома, где она жутко смердела на всю улицу.

– Тебе, Митяй, новая власть – злая мачеха, – часто говорил он Гришкиному отцу, – а мне, пролетарию, – мать родная.

На это Гришкин отец только отмалчивался, прав у него теперь никаких не было.

Беда, как говорится, не приходит одна.

Слегла баба Поля.

Сколько маленький Гриша себя помнил, баба Поля всегда была в доме главной: невысокого роста, дородная, одетая во все черное после ранней смерти мужа, она уверенно распоряжалась и сыновьями, и снохами, и внуками, и немалым семейным делом: кузнями, слесарными мастерскими, лавками по продаже скобяного товара.

Гришкин отец и дядя её почитали, прислушивались к её советам и немного побаивались.

Что уж там говорить про снох и внуков, но надо сказать, что их она сама не обижала и не давала в обиду другим. Поразительно, но у бабушки всегда были деньги: и на покупку товара, и на открытие нового предприятия, и на лечение, и на учение.

Родом она была с Урала, мать её привезла после смерти отца в Плетники, откуда тот был родом, дала за ней хорошее приданое, а сама ушла в монастырь. И после этого дела семьи Герасимовых пошли в гору.

Кто-то говорил, что мать Полины в дальнем родстве с самыми Демидовыми, кто-то утверждал, что отец её нашёл на Урале клад, другие говорили, что он баловался на дорогах с кистенём, а третьи божились, что мать Полины – колдунья и деньги ей носили бесы. Как бы там оно ни было, а деньги у бабки были, но где они и сколько их – никто не видел.

В тот самый страшный для Гришки день бабке стало совсем плохо, вызванный к ней фельдшер сказал, что сделать ничего не может, велел готовиться, принял от матери Гришки подношение и ушёл восвояси.

Позвали попа. Отец Василий соборовал бабку, исповедовал и велел звать на отпевание.

Прошло пара дней, мать и старшие сестры поочерёдно сидели возле бабки, но лучше ей не стало, а уходить в иной мир она тоже не торопилась, и жизнь потихоньку пошла своим чередом...

Счастливо избежав встречи с Зотовым, Гришка проскользнул в тёмную прохладу дома. Пахло ладаном и лампадным маслом.

В животе у него заурчало, Гришка вспомнил, что с утра ничего не ел. Он отправился на кухню... и встал как вкопанный в коридоре. На кухне были отец и мать, о чем-то очень тихо говорили.

Сначала он услышал голос отца:

– Неужто, Маша, она так и помрёт и ничего нам про золото не скажет? Ведь все у нас отобрали, шестеро детей, мыкаемся как сироты, а она молчит. Не по-божески это, грех.

– Да, может, и нет никакого золота? – отвечала ему Мария, Гришкина мать. – Ведь никто его и не видел никогда. А не дай бог, оно и впрямь есть? Что тогда? Живём-то мы как на юру, каждую копейку за нами учитывают. А если кто узнает, уже высылкой не отделаешься, в тюрьму посадят. Что тогда с детками будет? Митенька, Дмитрий Иванович, отец родной, не погуби, отступись ты от этого золота, Христом-богом тебя прошу.

– Ты вот что, Мария, сделай. Сегодня ночью я с матерью посижу, а завтра с утра посадим Гришку. Он первый бабкин любимчик, ему-то она точно скажет, сердце разжалобится. Только накажи ему строго-настрога – из комнаты пусть ни ногой. Если нарушит мой наказ, то так и скажи, я до его голубей быстрее Зотова доберусь. Вот тебе, Мария, весь мой сказ.

Утром следующего дня Гришка сидел у кровати умирающей бабы Поли. Бабка тяжело дышала, но была в сознании. Сама она почти не двигалась, только постоянно шевелила губами, как будто творила бесконечную молитву. Гришка сначала боялся, вслушивался в дыхание, потом потихоньку привык, потом ему стало скучно.

Пару раз он поднёс к бескровным губам старухи кружку с водой, та смочила губы, посмотрев на него с благодарностью.

Время шло, и он решил рассказать бабке о том, как побились с Санькой Самариным об заклад на гривенник, что его голубка уведёт Санькиного голубя.

Потом Гришка набрался храбрости и рассказал о вчерашнем подслушанном разговоре родителей и жалобно попросил:

– Сказала бы ты, бабушка, отцу про золото, а то помрёшь, и не узнаем никогда.

В этот момент лицо бабки изменилось, стало осмысленным, она с усилием подняла руку и показала согнутым пальцем в красный угол. Гришка узнал этот жест: когда он хулиганил, бабка всегда показывала на иконы и говорила страшным голосом: «Побойся Господа Бога, ирод!»

Гришке стало страшно, но тут он услышал, как в окошко стукнул камешек, потом ещё один.

«Ага, явился, не запылится!» – злорадно подумал он.

– Я только на пять минуточек, баба Поля, ты не умирай без меня, пожалуйста, – с этими словами он выпрыгнул в окошко и помчался к голубятне.

Всего и делов-то: добежать до голубятни, поймать в клетке турмана, добежать обратно, отдать Саньке птицу, схватить вожделенный гривенник и запрыгнуть обратно в открытое окошко...

В глазах у Гришки потемнело – комната была полна плачущими родными, как в помутнении он увидел, как бабке складывают руки на груди, зажигают свечи.

Бабка умерла. Сильная отцовская рука больно ухватила его за ухо и потащила в чистилище – тёмный чулан, как нераскаявшегося грешника, ждатель своей участи...

Из чулана Гришку выпустили только на третий день, когда пришёл батюшка и начал отпевать бабку. Там-то младшая сестра Катюша шепнула ему, что голубей его отец отдал в этот же день какому-то мужику из деревни, которого случайно встретил на базаре.

– Первому же встречному, Гриша, и даже отказался от какого-то Макарыча, – сказала сестра, коверкая незнакомое ей, явно подслушанное слово.

Душа Гришки рвалась на части, на кладбище он стоял особняком от семьи, так же сам по себе вернулся домой.

Поминки устроили прямо в саду. Накрыли длинные столы, сначала накормили детей, дошла очередь взрослых. Места для всех не хватало, пришло половина Плетников, оставшиеся терпеливо ждали очереди на улице. Накормив всех, сели за столы многочисленной родней, на правах близких соседей пришли Зотовы. Мужики крепко пили, самогон тёк рекой, беседа, поначалу вполголоса, тихая, набирала силу, и в саду уже стоял настоящий шум.

Зотов, уже сильно пьяный, задирает соседей по столу, лез драться, жена повисла у него на плечах, просила успокоиться, как вдруг он отшвырнул её и заорал:

– Теперь все моё будет, померла старая ведьма, только ее я и боялся, а теперь нету её. И дом мой будет, и земля моя. Что, помогло вам ваше золото? И золото моё, я, я нашёл его в печи на моей половине. Это мне советская власть полдома дала, стало быть, и золото моё. Это вы, дураки, спрашивали у неё до последнего, где золото, а я его уж полгода как пригрел.

Тишина, звенящая тишина вдруг воцарилась в саду, такая тишина, что, казалось, упали сейчас на землю перо с пролетающей птицы, звук этот услышали бы все.

А потом все услышали громкий плач – это плакал Гришка Герасимов, плакал по умершей бабке и по своим голубям.

Мир не без добрых людей. Утром, чуть свет, по душу ещё с вечера пьяного Зотова явилась милиция. Жена его выдала золото, все перевернули вверх дном, и Зотова увезли. На следующий день, погрузив нехитрый скарб на телегу, увезли и жену Зотова с детьми. На севера, на вечное поселение.

Все время, пока соседей грузили в телегу, Гришкина мать, Мария, стояла в дверях своего дома. В её широко расставленных в стороны руках были зажаты концы большого черного платка, сползшего с головы на плечи. От этого она стала похожа на большую птицу, которая старалась черными крыльями закрыть своих птенцов от беды.

Когда телега тронулась, Мария обернулась к Гришке, закутала его в платок и, крепко прижав в себе, повела в дом.

Через пару дней Гришка печально плелся домой от тётки, как увидел, что из придорожных кустов ему наперерез вылез Санька Самарин.

– Что, Санька, пришёл посмотреть на моё горе? Смейся, смейся, Санька, только грех это.

– Что, Гришка, отлились кошке мышкены слезки? А знаешь ли ты, где теперь твои голуби? У меня! Отец-то твой моему крестному их на базаре отдал. Да только ему-то они ни к чему, всех мне и принёс. Так что было ваше, стало наше! Ты у меня одного увёл, а я у тебя всех!.. Ладно, Гришка, ладно, – Санька понял, что Гришка сейчас на него бросится. – Нам, Самариным, чужого не надо! Вот они, твои голуби, в корзинке, в кустах.

Гришка бросился в заросли и увидел корзину, накрытую куском льняной ткани, а из-под неё глядели на него его голуби.

– Спасибо тебе, Санька, я тебе теперь по гроб жизни обязан!

– Ну, по гроб не по гроб, – хитро посмотрел на него Санька, – а гривенник-то мой верни, я его у тебя честно добыл, – и протянул Гришке раскрытую чумазую ладонь.

Егор СЕРОВ

Родился в 1960 году в Москве. Кандидат технических наук. Теле- и радиоведущий, актёр озвучивания. Советник первого заместителя генерального директора телеканала ОТР.

Автор книг «Черновик», «Храм и война», «Как увлечь своего ребенка чтением книг». Многократный лауреат российских и международных конкурсов.

Член правления Российского книжного союза. Член Союза журналистов. Живет в Москве.

ПОЕЗДКА В КИТАЙ

В Москве октябрь. Погода уже противная. Дождь льёт. А иногда и заморозки на почве. И это понятно: беспочвенных заморозков не бывает. А на работу надо ходить. Шесть дней в неделю. И она ходила, даже летала. Радостная, звонкая. Земля не хотела её долго держать на себе и словно отталкивала, словно пружинила под ней.

Ходила она быстро. Идти до работы было недалеко. Почти всегда загадывала: если меня обгонит не больше двух трамваев, то всё будет сегодня хорошо. А слышно их было издали, поэтому третий трамвай очень часто приходилось обгонять бегом. Она любила эти высокие стройные трамваи с круглым номером над лбом, который был похож на зеркало с дыркой посередине у врача ухо-горло-нос. Она даже специально узнала и запомнила, как это зеркало называется: лобный рефлектор Симановского.

Работала Наташа пионервожатой. В школе. Справка о реабилитации отца уже пришла, и ей даже выплатили его месячную зарплату. Она перестала быть дочерью «врага народа». Перед ней извинились: да, ошиблись. С кем не бывает.

В этот день она тоже торопилась домой. Надо было рассказать маме, что её включили в делегацию. Она поедет в Китай!

- Куда? – удивилась мама. – Шутишь?
- Никаких шуток! Еду к Мао Цзедуну!
- Наташа Цзедуновна, расскажи толком.

И она начала рассказывать:

– Меня сегодня не обогнал ни один трамвай...

Времени на сборы почти не было. Да и что собирать? Платье – танцевать, «белый верх, чёрный низ» – для официальных встреч. Главное – не забыть пионерский галстук! Всё-таки она – пионервожатая.

А дальше всё как в октябрьском московском тумане. Китай, встречи, радость, смех, объятия друзей. Тогда и с друзьями было попроще. Обнялись – и всё, друзья!

– А это что за вкуснятина такая? – спросила Наташа на одном из официальных приёмов. Немного наклонившись к ней официант ответил на звенящем каждой буквой русском:

– Собачка в соусе!

– Буду-ка я здесь лучше худеть, – решила она про себя.

А дни в Китае мелькали, как московские октябрьские листья за окном. И вот уже надо лететь обратно. Пекин – Омск – Москва.

Телеграмма была лаконичной: «Буду 17-го. Поздно. Целую Наташа». Мама опустила на стул:

– Скорей бы уже!

Когда наступило 17-е, все домашние нервничали. Если нервничаешь, переживаешь, значит, и делу в помощь. А какая могла быть помощь самолёту? Летит себе и летит.

Ждали к ужину. Но к ужину Наташа не появилась. И что такое «поздно»? Несносная девчонка! А ведь уже двадцать лет. Пора повзрослеть!

Наступила полночь. И стрелка, качнувшись, оказалась уже в 18 октября.

Домашние телефоны в то время были редкостью. Зато телефоны-автоматы – почти на каждом шагу. Мама выбежала на улицу. 2 копейки. Никогда их не найти! На этот случай имелась длинная пилка для ногтей. Она аккуратно вставлялась в отверстие для двушки, и телефон-автомат начинал работать.

А вот звонить куда? В аэропорт! Куда же ещё?

– А вы почему этим рейсом интересуетесь? – аккуратно ответили там.

– Как почему? Дочь летела из Пекина, обещала быть дома вечером!

– Вы не волнуйтесь, всё будет в порядке. Приезжайте в наше представительство по такому-то адресу.

(Хорошо, что Каланчёвка близко от центра!)

– Сейчас? Ночь? Зачем в представительство?

А сердце уже колотилось и бухало, отдаваясь в ушах. Что случилось? Зачем в представительство? Зачем в представительство?

Издали показался лобный рефлектор, и она поспешила на остановку. Трамвай качало из стороны в сторону, и кожаный ремень поручня нервно повизгивал. Она посмотрела на тусклые лампочки, вспомнив, что ещё совсем недавно на каждой из них была по кругу нанесена несмываемая надпись «Украл в трамвае».

В представительстве встретили её хорошо. Войдя внутрь, она сразу удивилась, что слишком много народу для этого времени. Ночь на дворе, а они тут толкаются, ревут.

«Чего реветь-то? – она только успела подумать об этом, а слёзы уже настойчиво шептали: – Мы здесь, мы рядом!»

А встретили-то хорошо. Попросили паспорт. Усадили на стул. Сказали «крепитесь» и сообщили о том, что самолёт потерпел крушение.

Никто до сих пор не знает, как надо крепиться в этот момент. Или держаться? «Вы держитесь!» За что держаться, когда нет ничего вокруг! Вообще ничего! Даже воздуха нет. Даже земли нет. Всё рухнуло одновременно. Всё окаменело и остановилось.

...Самолет вылетел из Омска. На борту были и наши, и китайцы, и северокорейцы. Активисты. Но Москва не принимала. Туман. И Горький не принял. Тоже туман. А Казань уже осталась позади. И дали команду лететь в Свердловск. А потом – турбулентность. Штопор. Ту-104А выпуска 1958 года. Совсем младенец. 80 человек на борту. Им командовал Гарольд Кузнецов. Понимая, что они обречены, он продолжал чётко

рассказывать «на землю» обо всём, что делал и что происходило с самолётом. Потом в конструкцию внесли изменения. Потом. Потом.

Как она добралась до дому, мама не помнила. Слова «Наташи больше нет» удалось произнести не с первого раза. Мужу и дочери объяснить ничего не надо было. Они посмотрели на не и всё поняли.

Было ли это число, 18 октября? Что происходило в этот день? Кажется, она куда-то звонила, говорила с кем-то. И плакала. За окном погода плакала вместе с ней. Грустный дождь накрапывал и замирал в нерешительности, подумав, снова начинал печалиться.

А вечером в квартире на Каланчёвке раздался звонок в дверь. Надо открыть! Но ноги совсем ватные. Но руки не слушаются. Надо открыть! Но она дошла. Открыла. И тут же поняла, что сошла с ума. Небо погасили.

На пороге стояла Наташа. Нет, не образ, не мираж. Одна с небольшой сумкой, без чемодана.

Она справилась. Не упала в обморок, не запричитала, не стала всплёскивать руками. Поняла, что произошло какое-то чудо. Она просто заплакала и засмеялась одновременно. И это не был смех сквозь слёзы. Это был странный смех неверия в происходящее, в небывалую выдуманность, а слёзы, спасибо им, были спасением, иначе бы сердце её разорвалось.

Жива!

Наташа стояла, стояла в дверях и не понимала, что с мамой?

– Мама, всё хорошо, я вернулась!

В голове у матери пролетело что-то глупое, вроде «оттуда не возвращаются», но она ничего не сказала, схватив дочь в охапку и прижав к себе с такой силой, что Наташа перестала дышать.

– Понимаешь, – начала она говорить уже на кухне, – мы прошли регистрацию, но какой-то китаец, большой начальник, не успевал приехать и проводить нас. И мы втроём остались. Нам сказали не волноваться. Мы полетим обычным, не спецрейсом. А чемодан можно будет забрать, когда удобно. Вот, смотри, какую красивую супницу он мне подарил!

Супница и вправду была большой и красивой. В неё можно было глядеться, когда над Москвой рассеивался туман и ласково светило солнце.

На следующий день Наташа снова обгоняла трамваи, пружиня на своих красивых и быстрых ногах.

А рассказать вам эту историю я захотел затем, чтобы удивиться ещё раз, как много случайностей подстерегает нас повсюду, как они вертят нашей жизнью, не спрашивая у нас. Или так происходит потому, что набор этих случайностей и есть сама жизнь. И нам нравится им удивляться.

Пройдёт ещё совсем немного времени, всего год, и Наташа выйдет замуж. Ещё через год у неё родится сын. Будут долго спорить, как его назвать, но в конце концов назовут его Егором.

А потом пройдёт вся жизнь. Много-много лет, если считать на пальцах. И очень-очень мало лет, если их не считать.

Умрёт мама Наташи, Егора бабушка, – удивительный, сильный и безгранично добрый человек. Будет тяжело болеть и умрёт Наташа, совсем немного не дожив до того, чтобы увидеть своих правнуков.

А Егор пока жив. Почти весь седой уже. Да и как я мог быть не жив, если написал эти строки?

Поэзия

Александр БОБРОВ

Родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького.

Автор десятков книг стихов, песен, пародий, путевой прозы и публицистики, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» и премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...». Обладатель золотой Пушкинской медали творческих союзов России.

Секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

ДЕВОЧКА РИСУЕТ ПЕЧАЛЬНОГО ЛЬВА...

Ночная дорога

Ино ещё побредём...

Протопоп Аввакум

Ещё побреду немного,
И ляжет передо мной
Пустая ночная дорога –
Оставшийся путь земной.

За храмом и красной калиной
Легла поперёк река,
А рядом – ни бывшей любимой,
Ни верного ученика.

Я стал не такой ранимый,
Остыл протопопа след,
Туман разлит над равниной
И призрачный лунный свет.

Но в этом холодном свете
Сорву я калины кисть....
Всему есть цена на свете,
Одно лишь бесценно – жизнь.

Труд и Май

На дворе – зелёная трава,
На траве – пилёные дрова.

Возле груди – дедушка и внуки
 В предвкушенье трудовой науки.
 От поленьев бодрости получим –
 Розовых, берёзовых, пахучих.
 Вкалывать, друг другу помогая, –
 Радость накануне Первомая.
 На дворе – помятая трава,
 А в большой поленнице – дрова.

225 и праздник

Пушкин – и гармония, и совесть.
 Снова возвращаются ко мне
 Летний дождь в Михайловском и Сороть,
 Капли на «Онегинской скамье».

Реки изменяют свой фарватер,
 Но всё так же кружится Земля.
 Есть митрополит и губернатор,
 Даже есть чиновник от Кремля –
 Нет поэтов только.
 Вот так штука!
 Я бороться с дуростью устал.
 Значит. «Боже мой, какая скука...»,
 И померк магический кристалл.

Неужели псковским не под силу
 Все заветы гения понять.
 Этим летом вечному светилу
 И Поэту –
 225!

Разум победит

Будапешт. Часы – до вылета,
 Розовеют облака.
 Столько ненависти вылито
 На Россию за века.

С той венгерской революции,
 Где царизм давал отпор.
 В чём-нибудь они сойдутся ли,
 Продолжающие спор?

И в двадцатом веке слышится
 Погребальный этот звон,
 До сих пор слезами пишется:
 Плен, Воронеж, Тихий Дон.

А фашистский путч – без комментариев,
 Рана свежая – саднит,

Но в кремлёвских пышных комнатах
Орбан с Путиным сидит.

Я – венгерскою равниною
Шёл и встречен был, как брат...
То же будет с Украиною,
Только легче во сто крат!

Горькое и сине-золотое

Нет у нас ни моря, ни предгорий,
Но благоухают вдоль реки
Зверобой и голубой цикорий,
Или же Петровы батоги.

Разнотравье сине-золотое
Мне об Украине говорит –
О стране, что под нацизмом стонет
И к России злобою горит.

А какие песни мы спивали!
И под борщ сидели хорошо,
Украинок смуглых обнимали,
Расхрабрясь на суржике: «А шо?».

А вот то, что жизнь необратима,
И, хотя сердечный есть запал,
Друг армейский – больше побратима –
В бездне этой киевской пропал.

Ничего не ведаю о доле...
У Сковороды в закатный час
Пили мы горилку на Подоле
И не знали, что в последний раз.

Девочка и лев

Ласковое солнце. Небес синева,
Мирная пока что, но с тенью предвестья.
Девочка рисует печального льва
В бывшем захолустном купеческом Ейске.

Ейск теперь – известный детский курорт,
Но с таким же духом, немного уездным.
Вскоре обозначится судьбы поворот –
Вырастет, останется, а может, уедет?

А пока желтеет под солнцем трава,
Но глаза зелёные ярко лучатся.
Девочка рисует печального льва,
Я желаю мельком ей -
Удачи и счастья!

На фронтовой реке

Пахнут травы приречные душно –
Пижма, донник и болиголов.
Серебрится прохладная Зуша,
Где рыбачил поэт Старшинов.

Жаркий полдень. Звенящие звуки,
Плещут щуки у мыса травы.
Подросли загоревшие внуки
Вдалеке от кварталов Москвы.

Как прочерчено по небосводу:
Тут – фашисты, напротив – свои.
Больше года в любую погоду
По-над Зушей гремели бои.

Здесь репей и татарник – до шеи,
Память – колет, как злая трава.
До сих пор не оплыли траншеи...
Потому и Россия жива.

Родство

Отец не бредил броской
Красавицей Москвой,
Но вырос на Московской,
В Рязани, над Окой.

Родство такое – чую
И тоже над Окой
Я в «Ловече» ночью –
В гостинице такой.

А в ней – слышней удары,
Трещит славянский вал:
Нас предали болгары,
И кто не предавал!

Но вновь по жиже вязкой
Ведёт Герой – мой брат
И князь Олег Рязанский,
И ратник Коловрат.

Виктор ЛЯПИН

Родился в 1959 года в городе Кстове Нижегородской области. Окончил Литинститут имени М. Горького (семинар Е.М. Винокурова) и журфак МГУ. Работал футболистом, журналистом, помощником мэра, дворником, сторожем.

Автор четырёх сборников стихов и нескольких сборников пьес. Стихи публиковались в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная учеба», «Нижний Новгород», «Урал», в альманахах «Поэзия» и «Земляки». Участник ряда российских и международных театральных фестивалей. Пьесы поставлены в театрах России, Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Испании, Австралии, Албании.

Член Союза писателей России. Живёт в Кстове.

СМИРЕНЬЕ В ТАИНСТВЕ СВОБОДЫ...

* * *

- Что ты делаешь, сладкая, в Эдемском саду?
- Собираю яблоки. И любимого жду.
- Разве яблоки?
- Яблоки. Радость встреч торопя.
- То не яблоки. Ты собираешь себя.
- Просто яблоки, тёмные мысли гоня.
- Собирая себя, собираешь меня.
- Этот вкус. Этот запах. Гранатовый свет.
- ...Он придёт, мой любимый?
- ...Наверное, нет.

...Безголосы, без зренья, с весной на разрыв,
почки стали твореньем, объятья раскрыв.

Вольный перевод фрагмента «Песни песней»

– Введу тебя в сады, где яблоки и вина,
где мы, как свет, чисты, из равных половинок.
Огонь невинных слёз, мёд уст обетованных
в благоуханье роз нежней даров Ливана.

Таких любезных ласк, сестра моей печали,
ни Смирна, ни Дамаск в любовных снах не знали.

Зачем твой заперт сад, томятся без услады
и губы, как гранат и кисти винограда?
Не мне ли суждена для сладости и пира?
Открой мне, как жена, с перстов роняя миро.

– Я дом свой отперла. За вечность миг считала.
Любимого ждала. Души во мне не стало.
Распахнуты врата. И белоснежно ложе.
Но где же ты? Когда моей коснёшься кожи?

Печатью бы посметь на сердце лечь нагое,
ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как горе.
Корабль без якорей она в безбрежной шири.
Но волны всех морей её не потушили.

Приди. Я жар души отдам с нездешней силой.
...Навеки положи меня на сердце, милый.

* * *

Нет имени тебе. Что имя?
Горсть знаков на речном песке,
шум ветра с птицами ночными,
тень от свечи, вода в руке.

Что в образе твоём? Уходы
за образ, за волшбу примет;
смиренье в таинстве свободы
и дней нерукотворный свет.

Ты всюду, но необъяснимы
твои касанья – шёлком трав,
журчаньем в соловьиных ивах,
волненьем вешних переправ.

Что образ? Что пустое имя?
В гортани сотканная ложь,
когда ладонями своими
по волжской глади ты ведёшь...

* * *

Хожу в штанцах поношенных
и в старом свитерке.
Люби меня, хорошая,
за то, что налегке.

Пусть к сердцу приголубится
и пылом обожжёт.
И стерпится, и слюбится,
и осень сбережёт.

Не верь печали-дурочке,
любить нам лет до ста.
Пройди по тихой улочке
да поцелуй в уста.

А на Канары с яхтами
копить – такая хрень...
Раскрой мне глазки-яхонты
да платьице надень –

то самое, то самое,
которое люблю,
в котором я, душа моя,
всю жизнь тебя терплю.

* * *

Ты одна, мой малыш,
в этой жизни не таешь.
Так спокойно глядишь,
словно в небе летаешь.

Здесь кувшинками тишь
пьёт июньская Волга.
Это лето, малыш, –
не всерьёз, ненадолго.

На плечо мне, грустна,
ты положишь головку.
– Поцелуй, как волна
берег, – скажешь неловко.

На прибрежном песке
серебристая ива
греет руки в реке,
словно птица пуглива.

Жадно гладишь теплынь
волн с глазами кувшинок.
...Словно хочешь уплыть
так же неудержимо –

чтоб глядеть на меня
из лугов междуречья,
из воды, из огня
возвратившейся речью...

Инна СИГУРОВА

Родилась в городе Сальске Ростовской области. Окончила Мичуринский педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Работала заместителем директора по воспитательной и методической работе в частном дошкольном образовательном учреждении в Екатеринбурге, автор книги «Оригинальные сценарии к творческим проектам в детском саду и начальной школе».

Стихи публиковались в журналах «Дети Ра», «Урал», «Александр», «Формаслов». Автор поэтических сборников «Предчувствие слова» (для взрослых), «Душа нараспашку» (для детей).

Финалист Всероссийских литературных конкурсов «Герои Великой Победы», «Георгиевская лента», «В контексте Города», дважды победитель регионального православного фестиваля-конкурса «Время творить добро» и других.

Живет в Екатеринбурге.

Я СКАЖУ ВАМ ГРУСТНОЕ, ЕВРИПИД...

* * *

Военный госпиталь. Концерт для раненых.
Поэт читает – стихи о мужестве,
но застревают слова в гортани, и
он задыхается от их ненужности.

Поэт идёт домой почти в отчаянье,
зачем, о чём ему теперь писать?
И будет заполночь сидеть в молчании,
и завтра в госпиталь пойдёт опять.

* * *

В полуподвальном цоколе
времени стрелки цокали,
смерть пролетала около,
кровью пьяна до риз.

Окна давились стёклами,
взрывы мешались с воплями,
в городе, будто проклятом,
мир взошёл на карниз.

* * *

Чувство смутной вины омрачило мне южное лето:
как за зеркала скол, зацеплялся, занозился взгляд

за известия СМИ, за скупые заметки в газетах,
где в сухих некрологах два слова о боли утра.

А потом разговор с незнакомой семьёй из Луганска,
на вопрос «Как вы там?» получила печальный ответ:
– Ненавидят нас всех за российское наше гражданство. –
и с улыбкою странной: – Вот так и живём девять лет...

Поговорка права, ко всему приспособятся люди:
привыкают терпеть, не бояться и зря не стонать.
Так хотелось сказать им, что мир обязательно будет,
так хотелось, но что-то мешало мне это сказать...

* * *

Неспешно бродят тени по стене,
чадит короткий фитилёк лампадки,
старушка водит пальцем по тетрадке
и молится о всей своей родне.

И с каждым днём она всё ближе к Богу,
давно готов заветный узелок.
«Я задержалась, мне пора в дорогу», –
всё говорит, но не торопит Бог.

Лицо в морщинах, под платком косичка,
помолится – сожмёт бескровный рот,
вот-вот вспорхнёт, как маленькая птичка,
отправясь в ожидаемый полёт.

Ей улетать не трудно и не страшно,
старушка страх давно пережила,
до неба из молитв построив башню,
где небольшое гнездышко свила.

* * *

Тяжеловесных капель зрелость
подталкивает к ним ладонь
хрустальным, невесомым: трон-н-н-ь!
Не выдержишь, нарушишь целость:
древесную нащупав ость,
сорвёшь прозрачных ягод гроздь,
угадывая сквозь телесность
природы тайную словесность.

Я здесь лишь гость, случайный гость,
не сведущий рассудком знака,
пригубивший водицы горсть
из вечной чаши зодиака.

* * *

Если долго на водную гладь смотреть –
переходит реальность в забытый сон,
иллюзорными кажутся жизнь и смерть:
из Эета Медею крадёт Ясон.

Неспокойно: жарою свело виски
или это страсти чужих веков
взяли разум и сердце моё в тиски,
гонят волны – то ненависть, то любовь.

Я скажу вам грустное, Еврипид:
мир и ныне бурлит от слепых страстей,
стало слишком много вокруг Лилит,
сердцем яростных, и – Медей.

Что б на это пропел сейчас
ваш любимый коринфский хор?
До чего ж не хватает великих вас,
и спасибо за начатый разговор.

* * *

Она придёт – пора для созерцаний –
и выверит житейский глазомер,
утихнет резкий ветер отрицаний,
и ближе станут Данте и Гомер.

Откроются, пытливости покорны,
за графикой причудливой холста
природы удивительные формы,
где жизнь неуловима и проста.

Приотворится мир иных прочтений,
и усмехнёшься, заново открыв
в лирических страницах отступлений
печали узнаваемый мотив.

Проза

Осип БЕС (ФУФАЧЕВ)

Родился в 1985 году в Лесосибирске, Красноярский край. В 2001 году переехал в Нижний Новгород, учился в Нижегородском художественном училище и Нижегородском театральном училище.

Работал грузчиком, строителем, археологом, преподавателем рисунка и живописи. Дипломированный фотохудожник, дизайнер.

Автор романа «Стекло» (2010). Издатель и составитель сборника «Плохое время для героев» (2011), сборника «Души прекрасные порывы» (2017) и сборника прозы и поэзии «Мои лабиринты» (2021). Один из основателей мультикультурного Объединения радикального творчества.

Живет в Нижнем Новгороде.

ДЕТИ ИМПЕРИИ

Мы все примерно одного возраста, роста и телосложения. Я где-то читал, что если бы на луне рождались дети, то они вырастали бы стройными и высокими, в связи с местной гравитацией. Гравитация на нас не влияла, не рождались мы на луне, но случись это там, удивление происходящим вокруг было бы, я уверен, сравнительно меньше.

1985 год, перестройка, гласность, секретарем московского городского комитета партии стал Б.Н. Ельцин. Министром иностранных дел вместо Громыко стал Э. А. Шеварднадзе. Мы родились, хлопали глазенками, пробовали голоса в советских палатах больниц. Где-то, кажется, в Мексике рухнул роддом, младенцев откапывали неделю, но все выжили, нам же было невдомек, что через несколько лет рухнет вовсе не роддом, и откапывать нас придется много-много дольше.

Да и о чем нам было думать? Я, к примеру, тарашил глаза и вертел головой, когда меня провозили в коляске по улицам невероятно огромного, маленького сибирского городка. Мои родители были учителями в художественной школе. Отец был даже ее директором. Мать улыбалась от вида румяного, со вздернутым носом, такого долгожданного меня. И где-то надо мной было высокое чистое небо, в котором плавали разноцветные погремушки.

Немного погодя я уже сам семенял по улицам, в смешных сандалиях, хватаясь за палец отцовской руки. Мы просто гуляли. По самому прекрасному, как я считал, городу на свете. В нем везде росли цветы, сосны вздымались в небо настолько, что у меня падала кепка, если я пытался увидеть их верхушку, за соснами искрился Енисей. Из уже открывающихся летних кафе, улыбаясь, вываливалась молодежь,

стайками пробегали школьники, на фонарях торчали маленькие красные флажки. Город готовился к Первому мая.

Флажки мне нравились больше всего, видимо, из-за их размера, я считал их детскими. И как вообще без них играть в красноармейцев?! Впрочем, свой флажок я получил, но много позже, когда, встав на плечи одноклассника, вырвал его из ржавого фонарного флагштока. Красный, тот, который хотел. Из трех я выбрал его.

Но это было позже. Сейчас же, возвращаясь, мы завернули в детское кафе, приткнувшееся бочком к нашему дому. В кафе я не хотел, несмотря на местные сладости, хотел лишь, чтобы скорее наступило завтра, и мы пошли на праздник, рядом, я и мои молодые родители. К тому же дома нас ждал ужин.

Завтра не наступало долго. Я не мог уснуть, а когда получилось, то ранним утром я скатился с кровати, запнулся об игрушечную машинку и кубарем полетел к окну, за которым была главная улица нашего города. В силу своего роста видно мне в него ничего не было, и я полез на подоконник, и точно бы вывалился, если бы встревоженные родители не сняли меня с него. Тогда я расхныкался. Всхлипывал и говорил что-то про цветные колонны, про барабаны и трубы, и девчонок с белыми бантами. Последнее, надо сказать, привлекло меня тогда меньше всего.

Меня обрядили в синюю, новую, почти школьную форму, и я тут же почувствовав себя совсем взрослым, перестал размазывать слезы по лицу. Да и к чему, мы все же идем!

В кафе по дороге мне купили большее облако сахарной ваты, и я с удовольствием зарылся в него до ушей, а когда поднял глаза, то вдалеке уже слышался бой барабанов.

Демонстрация шла вровень с нами, по проезжей части. Солнце отражалось в глазах людей. Солнце сверкало на литаврах и меди начищенных труб. Это был духовой оркестр Дворца пионеров, я знал, потому что ребята оттуда занимались неподалеку от нашего дома. Кстати, подобные клубы продержатся еще несколько лет, как последний оплот развалившегося детства.

Флаги не дергались нервно в небе, не описывали яростные дуги, а спокойно шелестели на весеннем ветру. Люди улыбались друг другу доверчиво. Меж рядов сновала веселая детвора.

Я горд своей формой, я не знаю, что не получу настоящую никогда, не знаю, что дети из бедных семей будут донашивать эти обноски за старшими братьями и сестрами, не знаю, как над ними будут издеваться.

Что сменят этих людей хмурые толпы, которые выплунут из своих лачуг на улицы всех городов их грязные подъезды. Я не знаю этого. Я счастлив.

* * *

Я сижу на полу и собираю модельку пушки, по экрану старенького похрипывающего телевизора катятся танки. Танки стреляют. Мне не нравятся эти танки, и хоть я уже весь увязюкался в клею, я начинаю с удвоенной силой собирать свою пушку.

Империя, со стоном выдохнув, рухнула, погребая под плитами, завалами и клубами пыли своих жителей. До нас донесся только стон, взрывная волна не дойдет досюда, здесь осядет пыль. Пыль эта осядет везде. На лицах и в душах людей, на наших игровых площадках, ею

засыплет дороги. Пыль и пепел покроем клумбы во дворе, и вскоре они зарастут репейником.

Общество станет разлагаться, и мы станем разлагаться вместе с ним. Уже совсем скоро на лавочках у подъезда, у которых весной девочки играли в классики, покрытые пеплом, сверстники начнут нюхать клей. Но этого я тоже пока не знаю, я встревожен, но у меня есть пушка, сверкает себе пластмассовыми боками.

На смену однообразной символике Империи пришли сразу несколько более пестрых знамен. Одно, звездно-полосатое полюбилося исключительно всем. Оно реяло на ветру перемен, приносящем сладковатый запах непогребенных и оскверняемых останков Империи. Оно манило в магазины, наполненные диковинными товарами. Оно красуется и на моих новых джинсах.

Мне их привез отец из своих поездок, его часто теперь не бывает дома, и я скучаю, но он всегда мне что-нибудь привозит.

Кроме джинсов у меня есть настоящее сокровище! Три коробки жвачки, такой же яркой, как новые флаги! Сам я, понятно, все это в рот не запихну, но я охотно меняю ее на игрушки в школе, а иногда и на деньги.

В нашей школе учителя ходят последнее время растерянными, нашли недавно шприц в туалете корпуса старшекласников. А что такое? Подумаешь, шприц! Их много валяется у общаги по соседству, нас они не интересуют. Мы ищем там сигаретные пачки, которыми украшаем свои велосипеды, некоторые принялись их коллекционировать, они тоже яркие. Еще презервативы, их мы, поддев на палочку, предлагаем малышне в качестве воздушных шариков, и некоторые их берут. Из окон общаги несется музыка и брань, звон разбитой посуды и падает в зеленую, упрямо чистую траву.

Образ города тускнел, кланяясь и извиняясь, пятился он на задворки страны перед миражами небоскребов и неоновых реклам, грозно взирающих на него с целлофановых пакетов. Ему нечем было похвастаться, единственная его вывеска местного театра, моргая, угасла. Опустив глаза, город затыкал свои теплые окна все теми же пакетами, ворохом мусора, фантами от жвачки, присосавшейся к партам его школ. Однажды, выйдя на улицу, люди вдруг поняли, что их город – дыра. Улица называлась Победы, но кого и над кем, вспомнить они так и не смогли.

Мать стала возвращаться с работы домой затемно. Теперь она подолгу сидит не шевелясь, глядя в одну точку стеклянными глазами. В школе тоже появилось несколько ребят и девочек, которые умеют так смотреть.

Однажды я играл со своей пушкой у себя в комнате, с кухни доносился пустой, без эмоций, голос матери, раздосадованный голос отца. Они о чем-то спорили. Внезапно дверь распахнулась, и вошел отец. Он молча сел на кровать, закрыл лицо руками, я посмотрел на него и улыбнулся. Следом в дверном проеме появилась фигурка матери. Она устало обвела комнату взглядом, и показалось, что свет ламп там, где он коснулся стен, потускнел и обои пожухли. «Скажи, чтобы папа не уходил», – тихо попросила она меня. «Папа, не уходи», – глядя на отца и все так же улыбаясь ему, просто ответил я. Тогда отец тяжело и молча поднялся, прошел мимо матери и, не закрывая входную дверь, вышел на улицу. Фигурка моей мамы, чуть подрагивая, осталась стоять одна, прислонившись к стене напротив.

Тогда я поднял с пола тупой бесчувственный железный танк и с грохотом опустил его на свою изящную пластмассовую пушку.

Империя рухнула. Вместе с ней рухнула и моя семья. Стеклянными глазами смотрел я на обломки.

* * *

Все менялось. Менялись и мы. С американских боевиков и триллеров мы легко переключились на порно, запросто находя замусоленные неподписанные кассеты на полках отцов-работяг. С сигаретки на пиво и дальше, прячась в заросших развалинах или заброшенных стройках.

Город тоже менялся вместе с нами. Помогал нам, скрывал кустами репейника, оставляя без присмотра толпы мальчишеских ватаг. Он весь превратился в пустырь, по которому нехотя, с работы домой и обратно, тащились люди.

Иногда люди заходили в магазины посмотреть, что в них продают. В итоге, купив что-нибудь серое и несъедобное, возвращались на свой маршрут, смотрели под ноги, старательно обходя лужи, дома долго ковыряли ложкой еду, не поднимая на семью глаз.

Старенький черно-белый телевизор «Рекорд» в нашем доме вспыхнул последний раз, подавившись цветной рекламой «Сникерса». В марафонском забеге бедняга посжигал свои лампы, установив все же рекорд среди себе подобных. Мы молча сидели вечерами на кухне, слушая треск настенного радио. Я грел ноги на батарее и смотрел на хитро моргающий фонарь на главной улице нашего города. На подоконнике стояла коробка из-под муки, тогда я взял карандаш и поставил ударение над буквой У. «Ты прав», – тихо обронила мать, заметив мою шалость. Фонарь моргал и щурился, глядя в наши окна.

Зарплаты к тому времени урезали, а вскоре они исчезли вовсе. Грустно вспоминать зарплату учителя, зарплату учителя художественной школы лучше вообще не вспоминать. И я стал стыдиться своей матери. Ее работы, ее ссутулившейся фигурки, ее доброты и непригодности. Стал стыдиться своей квартиры, с наивным, разноцветными красками покрашенным полом. Своей двери обитой облезлым дерматином на фоне железных, ржавых и не менее уродливых соседских дверей.

Я стал стараться подольше не приходить домой из школы. Бродил по окрестностям, заходил в магазины, по долгу стоял у витрин. Конечной точкой путешествия становилось бывшее кафе «Сказка», ныне ЧП с кавказской фамилией на конце, пристроенное во времена Империи к нашему дому. Кстати, ЧП я тогда считал инициалами. Здесь я мог проводить часы. Медленно я бродил от прилавка к прилавку в тайной надежде что-нибудь утащить. Завороженно разглядывал куски мяса, связки сосисок, палки колбасы, некоторые названия продуктов были мне вовсе незнакомы. Дома на кухонном столе стояла бутылка с подсолнечным маслом, на ее этикетке были нарисованы блюда, которые с помощью его можно было приготовить. Как сейчас помню, что нарисованы там были жареная курица, рыба на сковородке и неизвестный мне салат. Приходя, я ел не глядя в тарелку.

Был еще «забавный» случай, истинно того времени. Однажды мы вместе с матерью поздно вернулись домой, я зашел к ней на работу и просидел там до вечера. Поднявшись по лестнице к нашей двери, мы обнаружили, что замок сломан. Вбежав в квартиру, мы осмотрели все

комнаты, проверили сохранность вещей – все на месте, да и брать-то нечего. Немного успокоившись, я принялся чинить замок, как вдруг услышал из кухни смех матери, пройдя туда, я тоже невольно улыбнулся – из холодильника пропали все наши скромные припасы.

Мы рано повзрослели, оставаясь детьми. Странный симбиоз. Когда приходит время взрослеть по-настоящему, мы упираемся, оглядываемся назад, топчемся на месте, чего-то ждем. Боясь ступить на улицу, ведущую из детства. Главную улицу нашей жизни. Улицу Победы.

* * *

Так что хрень это все: диета, луна, гравитация! Хотите чтобы ваши дети были стройными? Когда они начнут расти, перестаньте их кормить.

Я не берусь рассуждать, какой была жизнь Империи. Не удалось мне в ней пожить. Просто я помню, что моя мать уже ничего не весила, когда умирала.

Я не берусь вас судить. Вы сами судите и оправдываете друг друга без малого двадцать лет.

Вы до сих пор не прекратили поливать мое детство грязью.

Не пожалели вы своих матерей, что вы ответите, когда: «За что?» – спросят ваши дети?

Однажды мы шатались с другом по опустевшему запыленному городу. На улицах почти никого не было, сограждане в выходной предпочитали ругаться в телевизоры. Мы выпили на двоих бутылку пива на набережной и плелись по пустынной улице Победы. У нас в школе сегодня тоже был выходной, Первое мая. На флагштоках фонарей вяло висели три разноцветных флажка, символизируя знамя нашей родины. Вялое знамя позорной страны, ничем не отличившейся, зато навек оскверненной плачем миллионов искалеченных жизней.

Поддавшись внезапному порыву, я остановился у столба и задрал голову вверх. «Леха, подсади меня», – попросил я недоумевающего друга. Тот пожал плечами, но все же сложил руки лодочкой, подставляя их под мой поднятый ботинок. Вторую ногу я поставил ему на плечо, подпрыгнул, уцепился за древко белого флажка и подтянулся на нем. Сначала я вытащил из паза синий, но тут же бросил его в лужу. Качнулся раз-другой, посмотрел вверх, в высокое чистое небо, и поднял над головой флаг. Мной не забытой Империи.

НЕВИДИМКА

Вагон электрички почти пустой. Два гопника с пивом о чем-то спорят, работяга спит неподалеку, открыв рот и свесив голову на грудь. За окном темно, не видать решительно ничего, но я все равно продолжаю в него смотреть. За окном лес, я и так это знаю.

Иногда проносятся мимо, брызнув в стекло холодным своим светом, станционные фонари на безлюдных и мокрых платформах. Где-то очень далеко, за много жизней отсюда, на маленькой станции уже горели такие фонари. Там тормозили поезда, всего на пару минут, и уходили куда-то, а я оставался, смотрел вслед детскими глазенками. Моя электричка не остановится, этих станций, с сиротливыми фонарями, нет в ее расписании. И гопники будут спорить, и работяга спать, и никто больше не войдет в вагон до конечной его остановки.

«Куда же ты?» – недавно приобретенная привычка спорить с самим с собой весьма полезна в такие моменты.

«К ней».

«К кому к ней? – злюсь я сам на себя. – Она – это набор букв, параснов и несколько фотографий!»

«Не только! Она – это мои мысли, слова, на которые не будет ответа, она – это номер телефона, что, кроме гудков, так ничего и не сказал...»

Я опять выглядываю в окно, за ним темнота, но это не значит, что там ничего нет. Поэтому я просто не могу сидеть на месте и смотреть, как мимо проходят поезда. Собираюсь, беру рюкзак, еду в город, открываю дверь своей пустой квартиры и... ровным счетом ничего не происходит. Так я меняю город на область уже несколько месяцев, с промежутками в несколько дней. Попытка движения. Действия, если хотите.

«Мне кажется, я буду ближе...»

«Ребенок! Дурак!»

«Она – это...»

«Иллюзия!»

«Надежда!»

«Посмотри на себя. Спать перестал, да и есть тоже. Стал замкнутым, на всех огрызаешься. Крышу уже реально сносит! Разогнал всех, кому был хоть немного дорог, и ради чего?»

Но я сажусь в последнюю электричку, хорошо бы я ехал в ней один, для полноты картины. В городе долго стою на остановке, но автобуса все нет, и пассажиров уже нет, лишь пара гопников мечтают о пиве да работяга на лавке спит. А ведь я так спешу домой! Домой! Чтоб пару суток провести за монитором и вновь убраться восвояси.

Все началось около года назад, осенним таким же, дождливым вечером. С пары пустячных фраз. С беглого просмотра станицы пользователя. И все, ничего особенного, лишь пара незначительных коммента-

риев, когда не спится и ищет рука в темноте сигарету. Глаза зеленые, фотография симпатичная. Бывает.

Шло время. Работа, стрессы, бессонница, неудачный роман.

«У меня цветок завял».

«Да? У меня тоже».

«Что, думаешь, с ним?»

«Не знаю. Я сам скоро завяну».

«Почему?»

«Да так».

Стрессы, бессонница... у нее то же самое.

«Пойдем, погуляем?»

«Да пойдём. Мои отношения в заднице все равно».

Но она не пришла, извинилась, что не смогла, и мы перенесли встречу. Потом она пропала совсем.

«У нас много общего, – думал я, – хотя какого черта? Любого человека копни поглубже, и общее найдется, а я коммуникабельный к тому же». Но глаза на фотографии стали почему-то теплее.

Время все шло. Тянулось сквозь зимние ночи бесконечно длинным пустым составом. Я открывал дверь своей квартиры, чтобы, поужинав, лечь спать. В окно мое холодным светом своим заглядывал фонарь, да вторил ему монитор, мерцаая на столе в углу комнаты.

«У вас новое сообщение», – прочитал я, потянувшись в темноте за очередной сигаретой.

«Какое платье лучше? Левое или правое?»

«Конечно, левое! А ты сама как считаешь?» Я невольно улыбнулся. Зеленые глаза засмеялись в ответ:

«Левое, естественно».

«Можно тебе позвонить?»

«Да, но не сейчас, сейчас мне неудобно».

И снова дни и недели молчания. Неожиданные, долгожданные ее появления в сети. Прямые, открытые слова, точно сто лет мы с ней знакомы. И тишина. И долгие ночи раздумий. И сигарета, фонарь и монитор.

«Можно назвать тебя чудом?»

«Анчуткой, только анчуткой».

А в городе уже пахло весной, я открывал окно и не мог надышаться, и сердце требовательно стучало в грудь. Анчутка, анчутка – мифический, невидимый дух. Если назвать его имя, он тут же откликнется и окажется перед тобой. Я пробовал не один раз, но не помогало. И только зеленые глаза смотрели с фотографии не мигая.

Я бросил свою проклятую работу, попрощался с друзьями и уехал за город, где был у меня маленький домик. Сидя в электричке, глядел, как мелькают в окне деревья и полустанки, и только на маленькой безлюдной станции вздохнул полной грудью. Вспомнилось детство, я родился в подобных местах, далеко, далеко отсюда.

Весна, не скупясь, посыпала подснежниками леса и поляны. Я мог часами стоять неподвижно, прислонившись спиной к стволу дерева, и слушать шепот его молодой листвы. На чердаке я обнаружил стопку пыльных книг и подолгу осторожно перелистывал их страницы, сидя у маленькой звенящей речушки. Вечером я разглядывал звезды, а потом засыпал крепким, здоровым сном под старым ковром с оленями.

Я вернулся в город только через две недели. Открыл окно, квартиру моментально наполнил запах цветущей сирени. Я улыбнулся, сварил себе кофе и решил разобрать скопившиеся дела.

Среди спама и прочих писем было письмо и от нее. Я кликнул на него мышкой и замер.

«Возьми меня с собой в лес. Я бы под деревом сейчас спать легла, да», – письмо было датировано днем моего отъезда.

«Где ты? Сейчас мне нужно тебя увидеть! – Пальцы бешено стучали по клавишам. – Ты даже не представляешь, как это важно для меня! Почему ты прячешься? Анчутка...»

Кофе давно остыл. Утро пришло незаметно. Тихо, осторожно, чтобы не потревожить застывшего за столом человека, светлел проем открытого настежь окна.

Всего несколько слов на мерцающем экране монитора, одна темная строчка ответа: «Скажи, а с чего ты взял, что я вообще существую?»

Попытки сбежать в маленький домик не увенчались успехом. Протыпаюсь под старым ковром с оленями, и чудится мне, что зовет меня кто-то тихо, и смотрят на меня зеленые глаза. И лишь одно имя шепчу я в темноту, но никого там не вижу.

А время уносится прочь, взмахнув железным хвостом электрички. Все та же пустая квартира, ночь за окном, и не видно решительно ничего. Все так же не спится, и ищет рука сигарету. Но на экране монитора мигает курсор. И в совершенно пустой истории переписки есть только одно сообщение. Мое.

«Я все равно тебя найду. Ты есть. Я знаю».

Священник Николай ТОЛСТИКОВ

Родился в 1958 году в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Владимира Орлова) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В настоящее время – священник храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. За многолетнюю службу и храмостроительство удостоен патриаршей награды – ордена преподобного Серафима Саровского и епархиальной – медали преподобного Димитрия Прилуцкого.

Публиковался в журналах «Север», «Сибирские огни», «Дон», «Южная звезда», «Венский литератор» (Австрия), в газете «Литературная Россия» и других российских и зарубежных изданиях.

Автор книг прозы «Пожинатели плодов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». «За образность языка в прозе» награжден медалью Василия Шукшина, учрежденной Союзом писателей России. Лауреат ряда отечественных и международных литературных конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА

Сева Изуверова дразнили «попом». С длинными кучерявыми волосами, выющейся бородкой, а к сорока – и с подвыпершим изрядно вперед пузцом, он поначалу обижался на насмешников, даже подумывал сменить «имидж»: взять да и забраться наголо, «под Котовского». Но в последние годы, когда уже не в диковинку стал колокольный звон, там и сям пробивающийся сквозь шум города, прозвище Изуверову даже льстило, хотя в церковь-то, откровенно говоря, он если и заходил в год раз – то событие.

Сева был ни бомж, ни деклассированный элемент, просто художник-оформитель, неудачник, к годкам своим начинающий со страхом понимать это. Не спасал дело и звучный псевдоним – Севастьян Изуверов, так-то по паспорту гражданин сей значился проще некуда – Александр Иванович Козлов.

Прежде халявных заказов и на предприятиях, и в школах было море, потом наступил спад спроса, хоть зубы на полку клади, выслушивая попутно монотонные укоризненные причитания жены на одну и ту же тему, что шея у нее – не верблюжья. Сева все-таки приноровился малевать для заведений новых русских барыг всякие вывески и транспаранты, так и жил от халтуры до халтуры. Все супружница, счетный работник, заполучив лишний рублишко, ворчала меньше.

В кладовке многие годы неприкосновенно пылились несколько подрамников с холстами с недописанными картинами. Жена грозилась выкинуть все как ненужный хлам, но в последний момент каждый раз

что-то удерживало ее. На всякий пожарный один холст, на котором угадывались очертания маленького домика возле реки, а над избой на высокой береговой круче сияли купола и кресты белоснежного храма-корабля, Изуверов припрятал понадежнее. По памяти родимщину свою пытался изобразить...

Очередной день для Севы начинался неважно. Он очнулся еще в потемках от духоты: словно кто-то ладонями безжалостно сдавливал ему сердце. Какое-то время Изуверов лежал неподвижно, вслушиваясь в собственное нутро, потом заворочался, намереваясь встать. Пружинны старенького дивана отозвались пронзительным долгим скрипом, но Сева не опасался кого-либо разбудить в своей келье-комнатушке. За стенкой в соседней комнате всегда мерно и мощно храпела жена – с ней не только что давно не спали вместе, но и друг к дружке не прикасались.

Сегодня Севу, с обычной ворчливой бубнежкой под нос продирающего глаза, насторожила непривычная тишина в квартире, но, окончательно оклемавшись, он чертыхнулся, вспомнив, что вчера супружница укатила по турпутевке в Питер и для него настала, так сказать, свобода. Он вышел на балкон, взглянул на небо, обложенное тяжелыми темно-лиловыми тучами, поежился, опять прислушиваясь к боли в груди: «До грозы успею к врачу...»

Одному, да вдобавок больному, оставаться скверно.

У кабинета терапевта уже толклась очередишка из пациентов. Народ, стоя, больше терся у стен, хотя в рядке из десятка стульев пара была свободных. Изуверов поозирался и, стараясь принять страдальческий вид, примостился на свободный стул. И не рад этому был...

По соседству с обоих боков нахально обжимали легкомысленного вида девицу два крепких парня, либо в подпитии, либо обкуренные. Они громко гоготали над своими же плоскими шуточками; «мамзель» заискивающе подхихкивала им дребезжащим смешком, жеманно уворачиваясь от их грубых лап. Для компании, кроме нее самой, вокруг вроде бы никого не существовало. На то в очереди пожилые тетki осуждающе поджимали губы, немногие мужички пугливо отводили глаза. Изуверов же, как неосторожно примостился с компанией рядом, так и уставился напряженно в грязный пол под ногами, боясь лишний раз пошевелиться, вздрагивая только при слишком громких выкриках.

Еще один парень, помахивая какой-то бумажкой, топтался у двери кабинета. Проблеск фонаря-сигнала над дверью он прозеворонил; шустрый белоголовый старикашка шмыгнул мимо него к врачу.

– Вот борзой! Без очереди! – возгласил верзила возле Изуверова и погрозил, развязно ухмыляясь, пальцем. – Надо наказать!

И верно, едва старикан вывернулся от доктора, верзила поднялся и неторопливо, вразвалочку, побрел за ним на улицу. Другой лоботряс, пожиже и помельче, засеменил следом. Все в очереди, немо вопрошая, уставились на девицу. Та отрицательно замотала головой с нечесаной куделей крашенных волос, проговорила жалобно:

– Не знаю я их! Просто пристали ко мне! – и даже свои острые колечки друг к дружке прижала, будто спрятаться норовя.

Изуверову показалось, что теперь все взгляды, ожидая, скрестились на нем, но он, еще больше клонясь к полу и не глядя ни на кого, выразительно приложил руку к сердцу.

С улицы через раскрытое окно донесся похожий на заячье вяканье вскрик старика или, может, это просто скрипнула дверь, выпуская из

кабинета сотоварища хулиганов. Они уже топали из холла поликлиники ему навстречу:

– Взгрели дедка! Будет знать... Ты все? Погнажи!..

Сердце у Изуверова болеть перестало. Он еще посидел какое-то время, удостоверившись в том, потом, на полусогнутых, пряча глаза от людей в очереди, побрел к выходу.

«Струсил?! Как всегда?» – на крыльце кто-то невидимый спросил ехидненько, точь-в-точь голоском дражайшей супружницы.

«Да я!.. Сейчас что угодно могу сделать! – беззвучно возмутился Изуверов. – Хотя бы... в Городок немедленно поеду! – сгоряча ляпнул он и осекся.

На родине своей, в маленьком городишке, он не сразу бы и припомнил – сколько лет не бывал. Там, возле речки, должен достаивать свой век дедов дом: за участок земли на всякий случай исправно платила налоги жена – у нее все всегда по полочкам разложено. Севу тянуло туда, где детство прошло, но пуще желалось закатиться в родной Городок знаменитостью, да вот беда, все не удавалось ею стать. Изуверов до седых волос тешился несбыточной мечтой, так мчались год за годом, и теперь уж он стал страшиться туда, всего-то за сотню километров, наведаться.

«Что? Или... или?! – поддел все тот же ехидный голосок. – Хулиганы-то, вон они, у ларька пиво трескают, подойди и вразуми! Или – в Городок?!»

Изуверов для храбрости прошел на вокзале через рюмочную и почти всю дорогу до Городка благополучно продремал, к удовольствию, еще и сосед попался неболтливый.

Едва Сева вылез из автобуса и побрел было от неказистой хибары автостанции по мало чем изменившейся за минувшие годы улочке Городка; хлынул заполошный ливень. Грозовые тучи, может быть, еще душили большой город, но здесь под угрюмое сверкание молний и раскаты грома дождевые струи хлестали почем зря. Изуверов юркнул под первый же навес и столкнулся с молодым цыганом, испуганно забившимся в угол. Как раз в это время неистово обьяло всю окрестность ярко-сиреневым светом, взметнулся воздушный вихрь – и высоченная железная труба кочегарки напротив через улицу разломилась пополам, верхняя ее половина рухнула на землю. И тотчас шарахнуло так, что под ногами Севы ощутимо запрыгали доски крылечка. Цыганок перекрестился и, лопоча что-то свое, заполз в собачий лаз под крыльцом. Струхнувшего было тоже Изуверова это чрезвычайно развеселило:

– Смотри, ромал! Не бзди!

Сева сдернул с себя рубаху и бесшабашно подставил голову и плечи под теплый дождь, хохоча, заскакал, как пацаненок, по лужам.

Ливень стих, в воздухе еще дрожала изморось, а высоко в небе расцвела радуга. Вскоре Севе голопузым бегать по улице показалось несолодно, и он с грехом пополам влез в мокрую рубаху. Но старался понапрасну – городок будто вымер. Изуверов дошел до речки на окраине, до дедовского дома на берегу оставалось шаг шагнуть, и хоть бы кто живой попался навстречу.

Сева даже вздрогнул от неожиданности, когда из глухого переулочка вывернулись двое. Высокий парень, сжимая за горло бутылку с недопитым пивом, смерил Севу презрительным взглядом и прошел мимо, а вот женщина, тоже с пивком, всю тарачила на Изуверова изумленные черные глаза:

– Вы... ты это не Саня Козлов случаем?

Сева так привык к своему псевдоимени, что не сразу и отозвался, пытаясь припомнить, кто это такая, больно на кого-то похожая.

Дамочка, мало не ровесница Изуверову, оказалась особой решительной: полненькая, невысокого роста, с копешкой кудрявых волос на голове, подпрыгнула и повисла у него на шее, мокрыми толстыми губами пьяно тычась ему в бородастые щеки.

– Санечка! Козлик! Неужели это ты! Ведь ты для меня, ты для меня... ну святой прямо!

«Да это же Кнопка! Васьки Фута, одноклассника, сестра!» – осенило наконец Изуверова.

Как две капли воды на братца похожая, не шепелявит только. У того – «шут» так «фут» или «парафут», разговаривает, ровно камешника в рот набрал. Он был паренек тихий и миролюбивый, а вот сестренка норова задиристого и неуступчивого. Любому обидчику в школе могла запросто кулачком нос расквасить, а то и куда побольнее лягнуть. Изуверов на всякий случай начал осторожно пятиться и, чтобы ослабить напор назойливых ласк, додумался спросить Кнопку про брата. А то уж та на шее висла – не продохнешь, а грубо ее отпихнуть – вдруг себе дорожке выйдет. Своего спутника Верка спровадила, сделав ему выразительно ручкой; парень, презрительно хмыкнув, нехотя побрел прочь.

Услышав про братца, Верка отпрянула, измазанный помадой рот ее скривился, из глаз хлынули слезы, и, громко всхлипывая, она опять зарылась лицом в грудь Изуверову:

– Погиб Васенька! В лесу на делянке и выпили-то с мужиками малость, а тут хозяин нагрязнул. У Васьки последнее предупреждение, он за лесовоз и спрятался. А тот возьми да сдайся назад – Васю к стволу дерева и припечатало... Много ли времени с того минуло, а уж все брата моего забыли. Ты помнишь...

Верка еще повсхлипывала, потом отлепилась от Изуверова, сжала запястье его руки крепкими горячими пальцами и потянула за собой:

– Пойдем ко мне!..

Сева почему-то ожидал, что Верка увлечет его в какой-нибудь бардачок, конуру с грязной посудой на столе и с промятой койкой с прожженным искрами от сигарет и закинутым несвежей простыней матрацем, но, переступив порог жилища, он без приглашения стал стаскивать с ног промокшие грязные ботинки. В доме было без затей, дорогой мебели и ковров, зато по-деревенски чисто и просто, даже бумажные иконки в шкафу за стеклом красовались.

Верка укатилась за занавеску в другую комнату и через минутку вернулась, облаченная в просторный халат.

– Тебе тоже обсушиться надо. Но сначала – изнутри! – улыбнулась понимающе.

Мокрую рубаху, разгорячась после парочки пропущенных стакашков, Изуверов расстегнул, но тут же запахнул полы обратно, стесняясь выползающего из-под брючного ремня немалым бугром пуза.

Верка же неотрывно пялила на Севу восхищенные влюбчивые глаза:

– Ты, Санечка, особенный еще с малолетства, в школе. Не такой, как все.

– А сами же меня дразнили мазилом и бумагомараньем! Проходу не давали!

– Завидовали! Ведь вон какие картинки ты рисовал! И просто так, и на всякие выставки. Ты теперь, наверное, у себя в городе великий художник!

– Есть немного, конечно... – уклончиво, скромно потупясь, промычал Изуверов.

– А тут живешь – как не живешь... Учетчицей в дорожной шараге работаю. Мужики, лапти мазутные, кобели проклятые, клеятся, а дома свой, постылый, дожидается. Опротивел, спасу нет! На рыбалку лешего унесло, пьянствует сволочь. Ты из другого мира, солнышко...

Гневные морщинки на Веркином лбу разгладились, она опять заулыбалась Севе, маняще заоблизывала языком пересохшие губы.

– Вы там всякое, небось, рисуете... И баб тоже. – Она замялась было, но задорно встряхнула своей копной кудряшек на голове. – Меня бы ты смог нарисовать?

Верка выпросталась из халата – он бесформенным кулем опал на пол, и тотчас стыдливо прикрылась ладошкой, потупя глазки.

Изуверов, старательно корча скучающую мину профессионала и разглядывая пухленькое кургузое Веркино тело, белеющее в полумраке комнаты, вспомнил еще одну обидную школьную кличку Верки – Овечьи ножки. Было затлевшийся уголек страстишки в Севе безнадежно потух, он еле сдержал себя, чтобы по-идиотски не расхохотаться.

Тут что-то хлопнуло в сенях или на крыльце, заставило насторожиться. Верка подняла и накинула халат:

– Если муженек это мой благоверный возвратился и выступать начнет, так я его быстро с крыльца-то налажу! Бывало уже не раз. И не вякнет – на моей шее сидит.

Тревога оказалась напрасной: за дверью – никого. Но Изуверов, увертываясь от нетерпеливых Веркиных объятий, скользнул в темноту, в кусты возле крыльца.

– Я сейчас...

Он, стараясь ступать как можно неслышнее, удалился уже порядочно от Веркиного дома, когда расслышал ее зовущий голос, поначалу тихий, но потом звучащий громче и громче.

– Санечка! Саня!..

«Вот баба! Ничего не боится!» – с невольным восхищением пробормотал Изуверов, из темного проулка выбегая на освещенную тусклым светом фонарей центральную улицу.

Таких поклонниц ему еще не встречалось. Впрочем, и были ли они когда-нибудь? Но как все-таки это сладко!..

И нового поклонения опять возжадала избалованная вниманием публики душа художника Изуверова!

На улице было по-прежнему пусто, хоть бы встретился кто, даже в окнах домов ни огонька. Сева с неутолимой жадной общением побрел обратно от реки в гору, к автостанции, где бодро плясали какие-то разноцветные светлячки. Вблизи они оказались гирляндой из лампочек над зарешеченной витриной круглосуточного ларька. Рядом издавал мелодичные трели игровой автомат – зараза эта везде добралась; тут же возле серебристой «тойоты» топтались несколько парней с обритыми наголо башками, потягивая из банок пиво и то и дело подобострастно поглядывая на лупоглазого сухощавого, Изуверову под годы, мужичка. К «быкам» бы Сева еще подумал подойти, задал бы в целях самосохранения порядочного кругаля, но мужик этот, постоянно обшаривавший настороженным взглядом лягушачьих блестящих глаз окрестность,

привлек его внимание. Да он же из параллельного класса!.. Как его там звать?!

Память Севы предательски дала сбой насчет имени и фамилии, а паренька-то он вспомнил, так и встал тот перед глазами – в алом пионерском галстуке и с сияющим медным горном в руке на школьной линейке. Открытое лицо, аккуратно зачесанные назад русые волосы. Все знали, что у мальчишки дома кавардак, вечно под мухой родители, да и как не знать, если в ту пору на любую улицу приходилось всего по двое-трое пьяниц, а то и ни одного. Но парнишка с младых ногтей следил за собой, не позволял себе заявиться в школу мятым или рваным, лез во все общественные дела и учился, хоть и давалось учение туговато. Оболтусам его часто ставили в пример – погодите, вот вырастет и будет из него толк: космонавт или общественный деятель!..

«Чего ж он тут, среди бандитов, делает? Если, конечно, это он...»

Изуверов, уверяя себя, что только ради любопытства решил пойти к мужику, и назвав его первым пришедшим на ум именем, осторожно протянул ему руку.

– Не ошибаешься? – мужик не торопился с ответным рукопожатием и холодным взглядом своих водянистых глаз обстоятельно ощупывал Севу с ног до головы. Память у него оказалась лучше: – Олег я... А ты Козлик, бедный художник?

То, что поименовали его забытой школьной кличкой, Изуверову не понравилось, но в окружении бритоголовых, поглядывающих на него насмешливо-презрительно и выжидающе, оставалось заискивающе заулыбаться.

– Может, дернем по пивку?! – отчаянно предложил Сева, нашаривая мелочь в кармане.

Олег усмехнулся и открыл дверцу «тойоты»:

– Садись, угощаю!

Автомобиль резко взял с места и стремительно понесся под гору, к реке. Косясь на молчаливых угрюмых спутников, Изуверов окончательно струхнул, у моста через речку робко попросился выйти и причину нашел – дом родной еще не успел проведать.

– Сиди уж! – коротко бросил Олег, и Сева с тревожно затрепыхавшимся сердечком вжался в сиденье.

Впрочем, все страхи были преждевременны: на другом берегу в свете фар выкурнула придорожная кафешка; внутри тесной забегаловки под ор магнитофона тусовалась кое-какая молодежка. Для вновь прибывших тотчас освободили столик, и не успел Сева толком при moistиться за ним на железной табуретке напротив Олега, а уже на поверхности стола пышно запенилось пиво в стеклянных кружках, появилась добрая горка подобающей закуси: вяленая рыбка, соленые орешки и прочая хреновина. У Изуверова потекли ручьем голодные слюнки; Олег, лениво глотнув раз-другой пива из кружки и глядя насмешливо на поглощающего спешно яства Севу – у Верки-то не до того было, – спросил:

– Малюешь все потихоньку, не забросил? Больно ты на попа похож. Уж не туда ли затесался?

Сева с набитым ртом, кивая, промычал что-то невнятное.

– Недосуг мне, – Олег, не допив кружку, встал и ушел.

Скучать одному Изуверову не пришлось: тут же подсели какие-то рожи и разомлевшему от выпивки и внимания Севе выложили все про

негаданного спонсора. Что он – и крутизна местного масштаба, и не один магазинишко в городке имеет, и вообще всех и вся держит в своих крепких ручках несостоявшийся космонавт.

Яства на столике моментально исчезли – Сева, успев обожраться, о дармовщинке не сожалел, растворились, прикрываясь завесой табачного дыма, и собеседники. Остался только напротив, на Олеговом месте, паренек. Пуча восторженно лягушачьи глаза на Изуверова, он спросил, сильно заикаясь:

– Пра-правда, вы ба-атюшка?

Сева, пусть и раскис, да определил, что похожий на Олега парень – не того и не маленько: неподвижное, точно маска, личико, странный блеск в глазах. Но становилось опять скучно, за столик никто больше не лез, и Сева кивнул утвердительно – называй хоть горшком, лишь в печку не суй.

На лицо паренька набежала счастливая блаженная улыбка; он перегнулся через столик и принялся целовать, смачно шлепая губами, Изуверову руку.

Сева поспешно отдернул свою клешню и, смущенный, заозирался. Только, похоже, никто на это не обратил внимания: немногочисленные посетители по-прежнему пили, закусывали и галдели. Но было и приятно, Изуверова даже взбодрила собственная, пусть и мнимая, значимость – дурачок преданно пялился ему в рот, словно норовя угадать и тотчас исполнить любое желание, говорил заискивающе:

– Ба-атюшка, вы у-устали? Не хотите отдохнуть в ти-иши, у камина? Для меня па-апа О-оля дом строит...

Соблазненный то ли обещанным камином, а пуще – лестью: стоило пошевелиться, и паренек, подскочив, предупредительно распахнул дверь на улицу, – Изуверов очутился опять в автомобиле, правда, много поплоче папиного. Паренек повел его рывками, виляя по дороге. Проскочив мостик и попетляв по берегу, он заехал в середину громадной лужи перед темным остовом новостройки; Изуверов различил слабый колышущийся свет в большом, аркою, окне на нижнем этаже. Олегов отпрыск, не выключая фар, выскочил из кабины и зашлепал по воде:

– Тут мосточки, ба-атюшка! А тут ступеньки! – он бережно поддерживал Севу под руку; в темной пещере холла Изуверов и сам, будто слепец, вцепился в паренька.

Но вот открылась дверь – и в глубине пустынной комнаты с высоким потолком приветливо затрепетало пламя камина. Всю мебель составлял стол с останками явно роскошной трапезы и несколько стульев. Паренек подвинул один из них поближе к камину.

– Приса-аживайтесь, ба-атюшка, грейтесь!

Изуверов, приободрившись на свету, величественно пошагал от порога: пусть и чужой почет, да все равно уважение! Незадача только: путь Севе преградил сладко дрыхнувший на подброшенной на полу фуфаечке в аккурат перед камином гражданин. Невзрачно одетый, со стриженной головой, немолодой, свернулся калачиком – наверняка сторож и хорош, најрался, небось, хозяйских обедков. Изуверов небрежно потыкал его под бок носком ботинка: подвинься, дай дорожку!

Внутри спящего словно взведенный механизм сработал. Мгновение – и уже мужичок сидел на корточках, встревожено хлупая глазами.

– Это ба-атюшка! – начал успокаивать его молодой хозяин.

Мужик, высохший как скелетина, одежка свободно болталась на нем, поднялся, сел за стол, по-прежнему хмуро и недоверчиво поглядывая щелками заплывших глаз на землистом сером лице.

Изуверов все-таки узнал его – Васька Кроль! Даже в горле пересохло!..

Пока Сева благополучно заканчивал старшие классы в школе, ровесник Кроль успел отмотать срок на «малолетке». Потом по городку он бродил – пальцы веером, хулиганистая пацанва взирала на него как на героя, а тихони, наслушавшись мамкиных страшилок, бежали от него прочь да дальше. Изуверов уезжал учиться в большой город, с ним же в одно время увозили после суда в воронке Кроля – опять кого-то в задницу ножиком пырнул...

– Выпейте за знакомство, за дружбу! – Олегов наследник разлил водку по стаканам.

Не чокаясь, молча, все так же не отрывая от Севы холодного взгляда, Кроль нехотя, сквозь остатки гнилых зубов, выцедил угощение; Изуверов хлопнул залпом. Васька жестко усмехнулся, кивнул хозяину: налей еще! Сева, замороженно уставясь на сцепленные на столе руки Кроля с вытатуированными на пальцах перстнями, опять хлопнул стакан, откачаться не посмел.

Уркаган с хищной усмешкой качнулся, поплыл куда-то в сторону; у Севы первоначальный, из детства, испуг перед ним прошел, захотелось быть с Кролем на равных. Изуверов попытался заботать по фене, сам не понимая смысла корявых похабных слов, – но поскольку ныне они щедро сыпались со всех сторон, то без труда соскальзывали с языка.

Кроль, приторно корча изумленную харю, вроде внимал, потом вдруг мягким кошачьим прыжком шмыгнул к Севе:

– Какой ты к хрену батюшка! Матюг на матюг городишь!

Он резко дернул Изуверова за ворот рубахи – пуговицы пулями отскочили.

– И креста на тебе нет! Фуфло гонишь, фраер!

Глаза Кроля недобро сузились, вовсе превратились в щелки; он, не выпуская из кулака закрученного в узел ворота изуверовской рубашки, другой рукой медленно подвинул к себе по столешнице кухонный ножик.

Оцепеневшему Изуверову вспомнилась картинка из детства: широкий пен в школьном дворе, несколько первоклашек, обступивших его, на трухлявой поверхности пня извиваются толстые темно-бурые дождевые черви, и Васька полосует их бритвой на куски; на чистеньком личике мальчишки жестокое и одновременно любопытствующее выражение.

Сейчас было оно и на землистой, сморщенной, как печеное яблоко, небритой харе старого уголовника.

Рядом залиvisto и истерично захотал, хлопая себя ладонями по ляжкам и словно бы предвкушая удовольствие, юный хозяин. Это и привело Изуверова в себя, он рванулся, оставляя ворот рубахи в кролевском кулаке; лезвие ножа, блеснув, прочертило по предплечью длинную розовую бороздку. Сева, сопровождаемый диким хохотом, выбежал из комнаты в темень холла, различил прямоугольник дверного проема, сунулся туда и со всего маху плюхнулся в лужу у подъезда. Расшибся об камешник на дне, но встал кое-как на карачки, чтобы не захлебнуться. Вот сейчас запрыгнет ему на спину Кроль и начнет полосовать изнеженное тело кухонным хлеботорезом! Вспомнился Изуверову

тот, прошлым утром зажатый отморозками старичок в поликлинике, которому никто не посмел поспешить на помощь...

Неужели – все?! Молиться Сева не умел, ни одного слова молитв не знал, забегал иногда в храм из любопытства и потому выдавил из себя только просительно-горькое: «Помоги...»

Яркий свет ослепил Изуверова, Сева, булькаясь в воде, пополз на него и услышал голос Олега:

– Чего его окучили-то?

– Он не ба-атюшка! – обиженным разочарованным голоском провякал сыночек в ответ папаше.

– Сам, что ли, вам сказал?

Олег кивнул водителю, и тот, ражий детина, выволок Изуверова за остатки рубахи из лужи, поставил перед шефом.

– Делайте что хотите, только не убивайте... – жалобно простонал трясущийся Сева.

– Кому ты нужен, кто ты есть? – хмыкнул Олег. – Иди да больше нам не попадайся!

Детина увесисто хлопнул, подталкивая, Изуверова по шее, и Сева побрел прочь, выписывая нетвердыми шагами кривули по улочке.

– Эй! – окликнул его Олег. – Может, ты и на самом деле батюшка, тогда простишь нам грехи!..

Ноги сами приволокли Севу к дому Верки: забрезжил робко рассвет. Изуверов, поначалу неуверенно, а потом с силою и зло принялся бухать кулаком в дверь. Показалось: дрогнула занавеска в окне.

– Я это!.. Я... Вернулся! – обрадовано, с надеждой, застучал Сева скрюченной пятерней себя в грудь и испуганно замолк, не узнавая собственного хриплого, словно придушенного, голоса.

Он подождал еще какое-то время, с досадой пнул так и неоткрывшуюся дверь, чертыхаясь, поковылял дальше...

Оказывается, спяну он кружил по одному и тому же пятаку – не успел отойти от покосившегося забора Веркиного дома, а уже опять рядом зачернели арки незастекленных окон новостройки местной крутизны. На них чертыхнуться да шарахнуть прочь, и – всего каких-то полсотни шагов ступить – на речном берегу на пригорочке вот он, родительский дом, или вернее то, что от него осталось! За хлипкой изгородью – кто-то из дальней родни не запускал огород – виднелась крыша с дырой вместо печной трубы; домишко по самые подоконники ушел в землю, словно обидчиво набычил пустые провалы окошек на покинувших его хозяев. Им еще интересовались, находились желающие его купить; разузнав городской адрес Изуверова, они посылали письма с предложениями, но практичная супружница выжидала, набивая цену, а Севе было как-то все равно.

Теперь он с опаскою, согнувшись в три погибели, лез в окно, хотя бояться, что придавит, нечего – потолок давно обвалился, концы толстенных плах-потолочин торчали там и тут из-под земляной насыпи. Со стен свисала большими лоскутами обивка со слоями обоев. Изуверов все так же ползком нашел ощупью сухое место и затих, ощутив за старыми стенами защиту. Вжимаясь в землю, он хныкал, поначалу жалобно, по-щенячьи, скулил; потом обида стала перетекать в ярость. Сева подполз к оконному проему, приподнялся и увидел возвышающийся неподалеку особняк Олега.

«Гады, сволочи, куркули! – он погрозил перемазанным в земле кулаком. – Ну ничего, вы сейчас набегайтесь без порток!»

И внезапно пришедшей мысли страшно обрадовался, даже еще толком не успев осознать ее...

Зажигалка в заднем кармане брюк была на месте, стоило разок чиркнуть, и тут же она выбросила острое жало огонька. Клок отсыревших обоев долго не загорался, тлел, наконец, робкое пламя нашло пласт сухой бумаги и зазмеилось по стене.

Сева, надышавшись чаду и отплеываясь, выбрался из избы и потрусил вниз по берегу, к речной пойме в ивовые кусты.

«Напляшетесь еще! Попомните меня!»

Был тот утренний час, когда, суля ясный день, только-только поднималось солнце, задорно пересвистывались птицы, народ еще спал самым безмятежным сном. С противоположного берега вдруг донесся мелодичный звук – с шатра колокольни церкви на горушке, где на погосте под старыми деревьями покоились отец и мать, два старших брата Изуверова.

«Туда надо было сразу сходить, проведать... – встрепенулось болезненно и горько у Севы в груди, отодвигая озлобление и удушье обиды. – Трава там у них, в оградке, наверно, не ниже, чем здесь. Сто лет не бывал!»

В непрямой луговине речной поймы он вымок до пояса, неосторожно задетый ивовый куст окатил его, освежая, щедрой росой.

Переливчатый радостный звон к заутрени оборвался, и тяжело, грузно ударил тревожный набат. Изуверов оглянулся назад, на домики городка; на мгновение привиделись ему лица: сумрачно-хмурое – отца и испуганное, доброе – матери: «Сынок, что ж ты вытворил-то...»

Пламя в считанные минуты опряло стены и крышу дома; Сева, давась криком, бросился к нему, пылающему одинокой громадной поминальной свечой.

Артем НОВИЧЕНКОВ

Родился в 1991 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Писатель, учитель литературы, ведущий на радио «Маяк», музыкант, режиссер. Автор Telegram-канала «Говорящий тростник».

Автор романа в ста предложениях «Синаксарион», эпического рассказа «Утро вечера мудренее», мистерии «Всеядная троица, богородица, помилуй нас», книги стихов «Немая сцена, затянувшаяся на годы».

Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Знамя», «Этажи» и других печатных и электронных изданиях.

Живет в Москве.

ЗАВЕЩАНИЕ ДУШИ

1. Последнее желание

На электрический камин Ольга смотрела через опущенные ресницы. Открытыми под вечер уже не было сил держать глаза. Она знала, что эта ее болезнь – последняя, завершающая вереницу недугов. Электрический камин видел все их – с расстояния детства: простуды, ознобы, судороги, мигрени, колики, бессонницы, ночной бред... бедная девочка, наконец-то страданиям придет конец, Ольга чувствовала это, как слабость в руках и что-то медленное и молчаливое, прогрессирующее ниже колен. У нее было время познать болезни и каждой отвести место в хрупком теле. Она себя не жалела, и даже не плакала, другой жизни у нее не было, а искушаться мечтами она себе запретила давно и навсегда.

Был канун Рождества, за окном второго этажа под фонарем снег падал мукой, и тишина стояла небесная. Ольга уже три дня ничего не ела, только пила и молча смотрела на камин. Охряно-красно горели пластиковые поленья. Временами камин мантрически гудел и чуть ли не раскачивался в усилии, перебарывая перепады напряжения, как тайный проводник электричества, на котором держалась вся система электроснабжения пятиэтажки. Грел он душно, грозя иссушить мебельные вещи, привезенные из Москвы или Харькова, поэтому стоял отдельно и направлен был только в Ольгу. Девушка никогда не видела, как горит настоящий костер, лишь по телевизору, откуда перенесла образ на электрический камин. Камин был сам огонь. Кто бы ей рассказал, что в костре огонь горит башней, а в настоящем камине лесом. В ее камине огонь горел полем. Да и где ей видеть живой огонь? Школьные турпоходы она проболела, в пионер-лагеря мать не пускала «по состоянию здоровья», все равно забирать через неделю, а деятельного отца, который мог бы дать дочери прививку природой, чтобы жизнь казалась более сносной, у нее никогда не случилось. Отец погиб на заводе,

когда Ольга только собиралась начаться. Нутро матери переворачивалось от горя, и Ольга испугалась оставаться в темноте и неведении; она родилась на тридцать третьей неделе с недобором веса и веры в то, что дальше может быть что-то обнадеживающее, и первый месяц провела в реанимации. Ольга знала, что ее болезнь началась там, вдали от груди матери, под трубками, в искусственном свете. Мать не любила вспоминать, и с подругами о здоровье Олюшки говорила нехотя, обычно пеняя на природу: ведь всё старшенькой отдала – Танечке, а на Олюшку не хватило, они ж у меня погодки.

Танечка во всем опережала Олюшку: раньше пошла, заговорила, в шесть – в первый класс, всегда на отлично, по дому хозяйшук, почти не болела, в пионерлагере – вожатой, медали за фигурное катание, первые роли в школьном театре, и вот – посмотрите – уже зарабатывает поболее матери. Ольга ей не завидовала... да завидовала, конечно. Только не говорила ни за что, куда ей тягаться. Вон у сестры – коса до пояса, толстая, канат, а у Ольги волосы ломкие, сухие, как ее имя, с детства недостаток витаминов. Не то – Татьяна, тело без изъяна, – та в бабушку именем. Бабушка была бойкая, муж герой войны, погиб в апреле 45-го, четверых одна подняла, целое хозяйство на ней. А Ольгу назвали в память об отце, об Олеге. Ну что она могла взять от мертвеца? Да у нас покой в роду Ольг не было. Вот и она приплода не даст. Надо было Женей называть, как я и хотела, были бы Татьяна и Евгений. Я вообще Пушкина очень люблю.

Все она слышала через дверь, когда у матери гости были, а сегодня были – шумели, и Татьяна всегда с ними сидела, смеялась, пока Ольга блуждала по морочным лабиринтам. Мать еще со школы переселила старшую к себе в комнату, подальше от болезни, оставив Ольгу в детской за панельной стеной. Мать знала, что дочь ее слышала, да только так и могла донести, как она ей в тягость, с детства, а от нее никогда ведь благодарности не дождешься, так и проболит до смерти. Потом еще слезы лить, ну а как, все равно одна кровь. Нет, мама, ничего, скоро я вас избавлю. Камин ей подмигивал.

– Пых-пы-пых, ненастоящие мы с тобой, дзз. Я – ненастоящий камин. Ты – дзз, ненастоящий человек.

Ольга смотрела на фонарь за окном, но слушала камин внимательно.

– Вот ты умрешь. Кому я, дзз, буду нужен? Я – ассоциация с тобой. А о тебе захотят поскорее забыть. Пых-пы-пых...

Здесь Ольга могла бы вставить слово, но слезы подступили к горлу.

– Если так подумать, мы с тобой сделаны из одного. Ты, дзз, отправись в землю. А я – хоть и на свалку, но потом когда-то тоже в землю. Нам с тобой с этой планеты, дзз, не вырваться. Так что нам не вырваться. Не вырваться нам. Пых. Не вырваться...

Иногда камин замыкало. Его надо было выключить и включить, иначе он начинал искрить. Ольга собрала все силы, чтобы дотянуться непослушной рукой. Нажала на кнопку выключения. Но включать не стала. Из последних сил она приподнялась на локте в последнее положение, глубоко вздохнула и закричала: «Мама! Таня!»

Разговор женский замер, мама с сестрой распахнули дверь. Ольга смотрела исподлобья, не пряча взгляда и рук.

– Пошлите мне за Давидом!

Фраза оглушила. Ольга много пропускала школу, поэтому необремененная миром память все впитывала с жадностью, а это – кажется, с пятого класса лежало ненужным, что *теперь* с этим делать?.. Мама

и Таня, тема урока: «Повелительное наклонение глагола», Ольга впервые говорила *так*. Мать запричитала, оглядываясь в гостей, подошла к кровати:

– Олюшка, что с тобой? Тебе плохо? Олюшка, не пугай мать-то.

«На мать-то» Ольга внимания не обращала, оно было направлено на Татьяну. Сестры встретились взглядами, словами-мыслями: «Таня, ты же помнишь Давида». – «Маме это не понравится». – «Я никогда тебя ни о чем не просила. И больше не попрошу. Приведи мне Давида». – «Ольга, ты просишь о невозможном». – «Я заслужила эту просьбу. И ты знаешь чем». И после паузы – «Знаю». Мать испугали большие глаза младшей:

– Таня, вызывай врача, она не в себе!

– Все в порядке, мам.

– Ты куда одеваешься?

– За Давидом.

– Что-о? Я тебе запрещаю. Ты же видишь, у нее жар! Я не потерплю этого отморозка у нас дома. Она скоро отойдет. Никакого не надо Давида!

Мамины подружки засуетились: нам пора, что-то мы засиделись, да нет, куда же вы, сейчас, я только поговорю с дочкой, нет-нет, уже и правда поздно, ну ладно, Жанн, селедочку хоть под шубой с собой возьми, и ты, Олесь, нет, что ты, у меня у самой наготовлено, нет, ну куда нам, Ольга ничего не ест, пропадет, а так старалась, ну ладно, только немножко, и мне тогда тоже, сейчас я вам соберу, ага, мы пока оденемся...

Мать уводит за локоть старшую на кухню и жестким шепотом:

– Она умирает, ты что, не видишь? Дай ей спокойно уйти.

Таня молчала.

– Давид – чудовище!

– Да никакое он не чудовище! Отпусти меня!

На улице тетя Жанна говорит, взяв под локоток:

– Тань, Танюш, может, я не в свое дело лезу, ну ты же не можешь привезти в ваш дом такого человека, Девочка моя, ну подумай сама. Тем более к больной-то сестре.

– Да, тетя Жанн, вы лезете не в свое дело.

Татьяна вырвала локоть и побежала к автобусной остановке.

– О-о-ой, доведут мать, о-ой доведу-ут, – сказала тетя Жанна.

– Да ... они мелкие, – ответила тетя Олеся и жадно закурила сигарету.

2. «Двум смертям не бывать, третьей не миновать» – это ложь

Давид жил на краю города под боком у химзавода, так что тут было из чего «писать по мозгу», как называл свою посттравматическую слабость, из которой, равно из-под тени отца, выходил медленно и вязко. «Говорить по порядку», как от него требовали со школы, сложно, хотя с годами судьба начинала связываться, и Давид был в издевательском смысле «рад», что дожил до этого момента под голой лампочкой в казенной комнатушке, доставшейся ему неожиданно-негаданно, благо отец переехал в деревянный параллелепипед, отключенный от коммунальных услуг советского тела. Комната была самой маленькой в коммунальной трешке, зато с балконом и видом на двор, в других жили заводские холостяки, никто ни с кем не общался, даже на кухне,

все пили тихо по своим углам, а случайные встречи у холодильника или в коридоре у туалета сопровождались бурчанием и нескладными, пароксическими жестами в сторону коллективного ничто. Давида эта обстановка вовсе не напрягала, напротив даже – умиляла, но не как человека из будущего, а как того, кто побывал в аду.

После того, как Давид вернулся оттуда, – а возвращений было два, третье уже зависело от него – мир схлопнулся до комнаты, потому требовал меньше внимания и, конечно, доверия, как любые возможности или вещи. Соседям он представился Андреем. Вещей у него имелось немного, впрочем, как и досады, ему отвелось уже длинное время на жалость к себе, как и всем вокруг в адском субтропическом пекле. Отнюдь не был он человеком сильного характера, ибо так принято называть тех, кто хочет отличаться от других сильнее, чем их любить. Давид хотел выжить – ему это удалось, не без потерь, но все же, вот он – сидит под лампочкой, чинит крыло или хвост, дышит клеем, что, надо признать, его изредка выводит из себя напоминанием о третьей смерти, которая наступила даже раньше первых двух и до сих пор не выпустила, может, и не выпустит, может, она раскрошилась внутри Давида с первой брошенной гранатой, и сейчас он склеивает именно ее крылья в надежде, что в один день она выпорхнет из него, и Давид забудет.

Но как забыть о том, кем был раньше, тем паче в моменты радости? На выручку приходят эвфемизмы: первая смерть, вторая, третья, да вот же он – сидит с сигаретой во рту, дневного света уже не хватает, счета за электроэнергию все больше, есть мысли о быте, а значит, смерти нет? Давид не считал эти мысли самообманом. Просто там, на земле чудовищ, он чувствовал, как живое отмирает и на его место приходит невидимая пустота. Врачи спасли его живое тело, вытащили из молочных рек с кисельными берегами, – и это была первая смерть, от второй он уходил наощупь и на память: как бы припоминая смыслы, которые вели его за собой, будто главную опору – позвоночник – вытащили из него и теперь он опирался на него, как на трость. Третья смерть казалась непреодолимой, пока не раздался дверной звонок.

Впрочем, звонка Давид не услышал в зыбкой мешанине образов, в которых ни вам, ни мне уже не разобраться, да и кто мог к нему прийти? Где-то наверняка записан его адрес, кто-то же занимался его благоустройством, а может, и он сам, те времена *после* ему хотелось вспоминать меньше всего, да и не осталось от них, овечьих анабиозным посттравматическим сном, ничего, кроме ужаса. Жизнь, как сказано выше, сомкнулась до пределов комнаты и двух-трех направлений, связанных необходимостью: туда – за пенсией, сюда – за продуктами, как-то же он прожил эти год или два, склеивая пластмассовые модельки в поисках желания жизни. А жизни в новогодние праздники было много: мишура, елки, в окнах гирлянды, прохожие с подарками поздравляют со своими праздниками. «Они ни в чем не виноваты», – уговаривал себя Давид, вся эта обстановка забудется уже через две недели, и все пойдет по-старому.

Казалось бы, какое ему дело до окружающего мира? Но когда соседи отправлялись на работу, ему отчего-то становилось легче, он выходил на балкон подышать, и даже – изредка – помыться, после чего лез подкручивать счетчик на воду, чтобы соседи не спросили с него платы. Только в одиночестве он чувствовал себя хозяином. В чужом гнезде обостряются чувства. Давид по звукам определял, что делали

соседские мужики в каждой точке времени и пространства, и поэтому засыпал всегда последним, когда вибрации храпа придавали дому ощущение ночного дыхания. Если небо лежало чистое, Давид вылезал из постели и босиком с балкона смотрел на него, включая зимнюю пору, когда снег белый кусал ступни. Его наполняла живая ртуть лунного сока. Острая тоска вампира, который отрекся пить человеческую кровь навсегда.

3. И вновь так жарко и волнительно

Под снегопадом густым Таня добежала до остановки, дрожа от приливного возбуждения. В ней боролся стыд перед мамиными подругами и гордость за то, что наконец-то она проявила себя. Словно прошлое и грядущее столкнулись в той, уже отдаленной, сцене у подъезда; все равно этим теткам нечего ждать от будущего, все равно умирать, а мне жить, и мать еще теперь будет знать, что у меня тоже есть свое. Она пока не могла назвать это, но чувствовала в двух точках: в груди и внизу живота. В детстве она уже обреталась возле этого ощущения, когда они с Ольгой были близки, шептались и держали секреттики – до поры, пока мать не вклинилась между ними. За это она ее любила на протяжении отрочества и с годами все больше ненавидела. Кто бы сказал ей, что ненавидела Таня свою беспомощность и слабость перед материнской волей, а ведь ей так сильно хотелось мужчину, которого бы мать не приняла, мужчину, который бы заставил мать страдать и плакать над праздничным столом в самый безмятежный день в году! Слезы застилали и жгли на морозе, на опустошенной ушедшим 25-м автобусом остановке, не успела Таня, и как теперь добираться до заводского района, где, она знала, сможет найти Давида, помнила его адрес от девчонок с работы, встал в памяти и тот желтый трехэтажный дом. Девчонки следили за судьбами ушедших на войну, все-таки всем городом провожали и плакали, потому что все плакали, потому что знали, что так, как было, уже не будет, и плакали еще потому, что не знали, что то невидимое, что было, – было ценно. Те слезы катились и сейчас, это были слезы правды; воспоминания и люди прибывали волнами, Таня не успевала утирать их рукавом, но в первую очередь на память приходила Ольга, ее прозрачные радужки в болезненных глазах, слабые, секущиеся волосы и тихий-тихий голос, он звучал в голове, когда Таня получала похвалу или чего-то добивалась, недоступного для запертой дома сестры. Таня думала, что это завидующий голос, осуждающий, хотела отделаться от него, перебить своим, и только после разговора о Давиде она поняла, что этим голосом говорила совесть, и он останется с Таней навсегда, даже после смерти Ольги не оставит ее. И она трепетно сохранит его как напоминание об этом засыпанном по горло снегом вечере, в конце концов, именно голос вывел Таню из теплого женского дома, где можно ничего не менять и стариться, как эти тетки, как мать, не нашедшая после смерти отца для себя иных, кроме Тани, смыслов для продолжения. И этот голос вновь нашел ее совершенно растерянной на остановке под желтым фонарем:

«Глупо ждать автобус. Ты замерзнешь, заболеешь и умрешь. Ищи машину». – «Это опасно. Мало ли кто тут ездит под ночь?» – «Что, боишься, что изнасилуют?» – «Да все что угодно». – «Тогда возвращайся домой к маме. Попросишь прощения». Таня уже не плакала, она

выдохнула и подняла руку мчавшей мимо красной копейке. Машина резко затормозила, удивленно поднимая брови дворников. Водитель опустил стекло. Таня всмотрелась в его бородатое лицо под ушанкой. Лицо улыбнулось.

– Куда тебе?

– На Комсомольский.

– А дом?

Желтый, бледный, двухэтажный, номера не знала, дура, и как она выглядит?

– Ну, садись, разберемся.

Внутри стоял жар, как при гриппе, они ехали по заснеженному оледенелому городу в маленькой печке на колесах. Таня смотрела в ухо машины на удаляющуюся остановку и на слезы, которые она впрямь решила держать при себе.

– Автобус ушел, что ли?

– Да.

– Как зовут-то?

– Таня.

– Да не бойся ты. Первый раз, что ли? Вон – руки погрей.

Татьяна не поняла, что именно «в первый раз», но что бы то ни было, ответить могла только «да», но давать согласие на что-либо этим «да» не хотела, потому и промолчала. Надо быть смелой, ведь как-то живут люди, можно по-разному. Чтобы меньше бояться, она спросила; или не спрашивала, а только подумала.

– А я Князь! – выпалил мужичок, зычно рассмеялся. – Ну, Князев я. Игорь. Князь Игорь получается, понимаешь? Со школы так называют. – Он приподнялся за руль и плюхнулся обратно. – Да я добрый, не бойся. У меня у самого дочь такая ж.

Они плыли по млечной дорожной реке. Откуда-то из мотора звучала симфоническая музыка, и Князь дирижировал пальцем, управлял ею. Мимо проплывал город в праздничных пятнах, тех же, что три, и пять лет назад, в окнах елки горели. До полуночи оставалось часа четыре, не больше, но это ничего не значило, главный праздник был неделю назад, пора возвращаться. Князь ничего не говорил больше, даже закурил от молчания. Вроде хороший мужик. Уютно у него и тепло. И чем она с ним расплатится? Наверняка ничего не попросит, но чем-то же надо отблагодарить. Может, потом? Но странно брать адрес. Хотя бы в дороге его развлечь, а слова не шли, как на первом свидании.

Чем ближе Комсомольский, тем шибче мело, вьюжило, будто гражданская война углублялась в Сибирь – все, что рассказывали в школе об этом, осталось такими же размазанными пятнами, как светофоры и огоньки в лобовом стекле. Да и зачем ей это все, никому не расскажешь, усами Будённого сестру не утетишь.

На повороте перед проспектом они встали из-за аварии и поломки снегоуборочной машины, внутри которой сидел уставший и сонный водитель.

– Проклятое место, – вдруг сказал Князь. – Тут раньше кладбище было. Когда дорогу эту клали, парни погибли. По-дурацки. Не люблю тут ездить.

Городское проклятие, под которым челябинцы каждый день распииваются соком жизни. Таня почувствовала себя виноватой, но не нашлась для ответа, а его и не надо. Аварию скоро объехали по встрече и выехали на Комсомольский проспект.

– Ты дом покажи – я остановлю.

Тот дом она помнила. Не могла забыть, так же и Давида. Учился на год старше, загадочный, недоступный, с чем-то цыганским внутри, не для слов. Она помнит его с новогодней дискотеки, решила пригласить на танец под шуршащую пластинку Джо Дассена, поющую из тряпичной колонки. Тогда было не так уютно, как в этой «копейке», – включенный свет, надзор завуча, но было что-то чудесное, чего Таня прежде не знала. Его руки держали ее за талию. А после она с подружкой и еще двумя парнями пошла в тот желтый двухэтажный дом, куда она так и не вошла, вот в этот дом.

– Этот дом, – она тыкнула пальцем в запотевшее стекло, как в память.

«Копейка» захала во двор. Таня открыла дверь, но ступевалась выходить. Князь опередил ее:

– Да не надо ничего.

– Спасибо, – зарделась она.

– Еще увидимся.

Дверь захлопнулась, и Таня очутилась в дворовой темноте. Все было по-прежнему – сиротливо и тихо, скрипучие качели на утравованной площадке, прямоугольники ворот, широкие объятия сталинских подъездов, как подступающая тошнота. Они стояли-мялись, потому что Давид увидел свет в окне и загляделся на небо в снегу.

– Не выйде. Батя вернулся. – В одной руке он держал ключи, в другой – открытый портвейн, в молчании пустили его по кругу – в молчании каждого, так что Тане не пришлось выбирать. Да и холод оправдывал нарушение запретов. Холод всегда на этой земле служил оправданием, не новость, минус 27, прижмись ко мне покрепче, так спасемся, Таня с подругой успеали еще на автобус, но вчетвером они пошли в гараж. Машины в гараже не было, зато нашлась походная горелка. Грелись, разбившись по парам, Давид обнимал Таню сзади, что-то насвистывал, она чувствовала его горячее дыхание над ухом и вспоминала именно это дыхание в конце грядущего лета на школьном дворе, когда он уезжал служить. Она готова была отдать ему, что он хотел, потому что в ту минуту это ничего не стоило, но холод спас ее для будущего одиночества. Больше никогда не было ей так жарко и волнительно, разве что сейчас.

Таня удивилась, что дом оказался трехэтажным, но балкон сразу узнала. В темном подъезде стоял привычный запах и напряженная, выстраданная годами страха, тишина. Она поднялась на третий и позвонила в дверь. Ей открыли не сразу, долго разглядывали в глазок. Подумала, что ошиблась, когда увидела толстопузого щетинистого мужичка лет шестидесяти.

– Ты к кому?

– Здрате.

– Здрате.

– А Давид здесь живет?

Мужичок так поднял брови, что на всем лице изменилось расположение морщин, затем похабно улыбнулся.

– Может, Андрея? Этот тут.

Он впустил ее и рукой показал на белую дверь. Когда она постучала, мужичок сказал:

– Может, и ко мне заскочишь?

Время за белой дверью почернело и замерло, потом Таня услышала шаги.

4. Единственная Драгоценность

На ту новогоднюю дискотеку мать, конечно, не пустила Ольгу, как всегда и так больная, еще заразишь кого, потом же мне выговор, и вообще, если можешь танцевать, хватит в постели валяться, тоже мне стрекоза... – Ольга знала наизусть. И уже не плакала, не просила. Когда надо будет сбежать – она сбежит, хватило бы только сил, вот уж не хочется возвращаться устыженной, да и куда ей идти, на всем свете был один человек, да и тот наверняка забыл ее, хотя сидел здесь, рассказывал истории, пока не поймали, пока не прогнали, Ольга все их разговоры наизусть помнила, хранила как драгоценности, слово в слово переписала в тетрадь. Она его имя на языке крутила, как сладкую конфету, по буквам обсасывала, всеми богами обмолила, когда узнала, что он там, где танцует смерть.

Она была в предвкушении разговора с Таней в тот вечер. Ждала ее, но шел десятый, одиннадцатый час, а сестры не было. Мать укуталась в шерстяной платок и пошла в школу. Через несколько минут вернулась Таня, насилу разминувшись в подъезде с матерью. От нее веяло чем-то новым, женским.

– Ты откуда? – Ольга помогла раздеться сестре, обессиленной от долгой прогулки. – Ты пьяная, что ль? Тань? – Они рассмеялись. Таню внезапно затошнило, Ольга довела ее до унитаза и, пока держала ей волосы, думала, что совсем она не одинока, что сестра у нее хоть куда, и все у Тани будет хорошо. Таня закончит школу, выйдет замуж и будет счастлива, Оля об этом позаботится. Она отпоила ее, раздела, уложила в постель, дала три шоколадные конфеты и открыла окно. Матери все не было.

– Ты где была?

– На Комсомольском. – Таня бормотала, не открывая глаз.

– С кем это?

– С мальчишками.

– С какими? С Жарковым?

– Нее.

– Татьяна, колись.

– С Давидом. И там еще этот – друг был.

Ольга проглотила слюну со словами, но ревность прорвалась:

– Одна, что ль?

– С Алкой.

– Где были?

– В гараже.

– В каком гараже?

– В обычном.

– Ладно, завтра расскажешь.

– А ма?

– Придумаю что-нибудь. Спи.

А Таня и спала. Ольга подошла к окну и посмотрела вдаль, за дома, где иногда стояли световые столбы – синие и зеленые, точно опоры для северного сияния, которого здесь не бывало. Теплые электрические столбы перемешивались с холодными световыми и превращались в ночную радугу. Ольга знала, что во всем городе, кроме нее, никто не видит этого.

Мать пришла чуть не в слезах и почти бросилась на Таню, если бы не Ольга, успокоила ее, все оправдала, не секрет: Алла, Танина подруга, на дискотеке подвернула ногу, не могла сама идти, а надо ей было

к бабушке, потому что родители на выходные уехали на дачу, Таня вот и помогла, а бабушка живет на Комсомольском, и пока они доковыляли до остановки, пока дождались автобуса, уже поздно было, а обратно Таня пешком пошла, потому что деньги потратила на автобус до бабушки Аллы, так что ты ее не буди, мам, она с дороги устала, минут пятьдесят по морозу шла, вся в жару, как бы не заболела, такая вот у тебя старшая дочь добрая, такая жертвенная, такая самоотверженная, не то что я – успокоила мать. Но наутро-то уж, как вдвоем остались, расспросила, конечно.

Она всегда смотрела на Давида, как ни на кого не смотрела. Она даже не знала, откуда у нее такой взгляд другой, будто с этим Давидом уже была знакома, не то в прошлой жизни, не то в будущей, где было не так одиноко. Ольга к нему не подходила, изучала, узнает ли и он ее. Да и как с ним заговорить на том языке, которым они оба владели в иной жизни, ведь на другом нельзя? Может, он забыл больше нее, увидит в ней не ту, кем она была для него, и уже не вспомнит никогда. Может, они были птицами, поющими судьбы всего живого, или деревьями, которые сплелись корнями и умирали, взявшись друг за друга, стоя до конца. А может, это был язык тела, тоже позабытый, как и все, что действительно важно, достойно внимания в этой маленькой комнатке жизни. В общем, Ольга не знала их с Давидом настоящего языка и все ждала, но узнавать времени не хватает, да и смерть, которая всегда витала где-то над постелью, однажды прошелестела «пора», как раз дня три до дискотеки было это, и она уже продумывала наряд, но мать не пустила, и так больная, еще заразишь кого... может, это и к лучшему, подумала Ольга, а то испортила бы еще последнюю надежду на встречу с родным человеком, только все равно нарядилась, надела платье и лежала, заговаривала Давида на дорогу сюда, в комнату с электрическим камином, и когда Таня произнесла его имя, Ольга поняла, что Давид ее слышит, хотя и не знает, что слышит. Осталось только помочь ему обрести слух и зрение, чтобы он узнал в Ольге ту душу, с которой он был голос в голос, корень с корнем, жест ради жеста в прошлой, а может, в будущей жизни.

После каникул она постаралась не болеть. И когда в воскресенье температура вдруг подскочила до 38, сбила градусник и с широкой улыбкой протянула маме.

Несколько суток Ольга продумывала письмо. Лично сказать все равно смелости не хватает. Но когда в понедельник она подкралась к кабинету биологии и положила записку в его ранец, Давид окликнул ее и подбежал. Она обернулась и остановила его взглядом. Он опешил, побледнел.

– Что ты делаешь?

– Ничего.

– Нет, ты что-то мне...

Давид схватил ранец и вытащил письмо. Ольга встала световым столбом, точно как один из тех – вдали, за домами, и просто светила на Давида. «Светом, наверно, мы были светом», – думала она.

– Твое? – спросил мягко. Ольга кивнула. – Прочитай. – Ольга на него посмотрела: нет.

Давид прочел письмо, поглядывая в ее распахнутые глаза.

– Что за глупости! – Он схватил ранец и ушел.

После школы Ольга слегла и больше не вставала. А следующим днем, часа в два, пришел Давид. Он просидел до вечера и, не дожидаясь матери, ушел. Таня была на репетиции в школьном театре. В следующие

полгода он стал заходить к ней, и Ольга начала выздоравливать, пока летом его не забрали в армию и дальше – туда, где танцует смерть. Больше Ольга его не видела, даже во снах, хотя именно там хранится все действительно важное, достойное внимания.

5. Ключ

«Когда я вспоминала его, мне тогда казалось, что у него все впереди, что он сможет добиться чего-то невообразимого, с его-то харизмой и умом, с его большим сердцем, хотя откуда я знала, что у него большое сердце, я просто знала, и когда его вот так взяли и...»

– О ком ты говоришь?

Таня вздохнула в освещенной одной настольной лампой комнате с множеством лишних, то есть вышедших из употребления и не имеющих отношения к хозяину вещей. Вдоль пустой стены в стопках стояли гэдээровские коробки из-под пластиковых моделек военных самолетов. А рядом на двух самодельных стеллажах пылились одна на другой бесчисленные истребители и вертолеты. Перед нею стоял Давид, лица не видно, лампа же за спиной. Один рукав был заправлен в джинсы. А на глазах какие-то дедовские очки с толстыми стеклами. Она бы и не узнала его, если бы не запах и голос.

– Ты кто?

– Таня.

Давид промолчал. Сел за стол доклеивать модель. Таня еще с минуту побыла в глупом для любящего сердца положении и аккуратно подошла к нему, точно к тайне.

– Ты сам все это сделал?

– Да.

– Правда?

– Хочешь спросить, – он огрызнулся, – как я сделал это одной рукой?

– Нет, просто хотела...

– Зачем пришла?

– Ты меня не помнишь?

– Да помню уж.

– Тогда чего ты такой?

Он прыснул и отбросил кисточку с клеем. Повернулся к ней лицом, чтобы она могла рассмотреть его.

– Чего тебе надо?

– Давид...

– Я уже не Давид, не тот мальчик, с которым ты обжималась в подворотне. Неужели не видно.

– Не видно, – твердо соврала она.

Давид опять отвернулся, уперся в самолет, но клеить не стал, не смог. Закурил, хотя спичка и не слушалась. Так вот откуда берется кино, подумала Таня.

– Уходи, – сказал он и тут же: – Скажи зачем пришла.

Таня мялась: вот еще одно глупое слово – и он вышвырнет ее на улицу сразу на тридцать лет вперед – в одинокую бабью жизнь с селедкой под шубой, с девчонками под пятьдесят. Но потом пришла Ольга и напомнила, что ее смерть ближе Таниных страхов. И Таня сказала:

– У меня есть сестра. Ты, наверное, помнишь ее. Она часто болела и много пропускала. Она меня попросила... найти тебя. Она...

– Как ее зовут?

– Оля, Ольга.

Ольга.

Как чувство, теснимое памятью, как тонкий запах, за городом дымным забытый, как вкус запрещенный, как свет, испаренный глубокою ночью, в которой ни звука, ни буквы, ни слова о том, что узнал и забыл, и забыл, что забыл, как во сне былью проклятый дух, обнимаемый тенью чужого желания – кстати, чьего? – о том чуде, с которым здесь каждому будет дано попроситься во сне материнского чрева, где слезы сливаются с темной водою беспомысленности; это проклятие – древний морок, из которого имя родное лишь служит ключом.

Ольга была тем ключом для Давида.

Через десять минут они стояли на обочине пустой дороги. Мело сурово. Таня дрожала, смотря на Давида без шапки: как он не мерзнет, у него и зимней одежды-то нет, не могла знать, что привык к той, что вытанцовывает по миру смерть. Редкие машины проезжали мимо в белой слепоте. Минут через десять, когда непослушной от мороза рукой Давид умудрился закурить на ветру, подъехала красная копейка. Знакомые фары загорелись пламенем в глазах Тани. Давид посадил ее на заднее и захлопнул дверь. Водитель посмотрел ей в зеркало, подмигнул. Просыпаться не хотелось, Давид был рядом, долго же она этого ждала, хотя бы смотреть в его затылок, на сальные в перхоти волосы, на толстые душки очков.

Давид назвал адрес уже после того, как тронулись, будто Князь и сам знал, а он знал. Ехали быстро в одиночестве дороги, хотя ее и не видеть было, редкие огни светофоров.

– Жаль, за метелью птиц почти не слышно, – начал он. – А то я умею. В ясный-то день с соечкой поболтать – за милую душу!.. Люди пугаются, правда, они ж гракают, это одно название только – сойка, а на деле почти что сорока, только трещит еще, а бывает, что и завывает будто, бывает – скрипит, просит. Такие болтливые птицы, скажу я вам. С шумом города сливаются как будьте здоровы, не отличишь. Да что я рассказываю?

Пока Князь пролетал перекрестки на красный, никто и слова не вымолвил. Таня ехала и думала, что же Давид так усердно искал в коробках с барахлом, расшвыривал исписанные тетрадки, открытки, медали, и нашел? Танин взгляд зацепился за логарифмическую линейку, на такой же она зашифровывала любовное послание, теперь забытое. И вот уже на месте, время за полночь. Давид сунул водителю красную бумажку.

– Ну, спасибо! А то из дома выгнали, говорят, давай отработывай, и так, мол, дров наломал. А я послушный стал. – Он еще раз подмигнул Тане в зеркало заднего вида. Хлопнули двери, и Князь исчез в молочном небытии.

6. Прощание

Мать хоть и надеялась, что Таня одна вернется, но от греха убрала с полка все ценное. Кто знает, чего ждать от этого субъекта, он и раньше доверия не вызывал, а теперь и вовсе, небось, в бандита превратился, век бы его не видеть, принесла же нелегкая, ворчала и ворочала в голове она, пока Таня впускала в дом Давида.

– С праздником, – сказал матери Давид.

– Здравьете. – Отсутствие руки ее не смягчило, будто всего не смогли забрать. Оттуда нормальными не возвращаются, что она, не знала, что ли, все говорят. Как он вообще ввязался в их жизнь, завтра-то она им устроит, этим пигалицам, и не посмотрю на то, что при смерти.

Таня провела его в комнату Ольги, подвинула стул, но Давид не сел.

– Таня, оставь нас, – сказала Ольга.

Таня зарделась, впрочем, с мороза, не стала перечить, закрыла дверь, но далеко отойти не смогла, Оля знала, что сестра слушает, и мать наверняка, поэтому заговорила вполголоса:

– Знаешь, в детстве я ловила себя на том, что если я перестану заставляя себя дышать, то задохнусь и умру. И я иногда много минут не могла думать ни о чем, кроме дыхания. Я удивлялась, как я вообще раньше могла дышать самостоятельно, то есть неумышленно. Я все думала, что если перестану заставляя себя, то дыхание начнется само, но оно не начиналось, представляешь, и я опять заставляла себя дышать – это отнимало много сил, но что мне оставалось? Каждый раз я была на волоске от смерти. Так оно и было. Меня успокаивала только мысль о том, что это мучение закончится и я забуду о том, что надо дышать, и тогда дыхание будет само. Потом это ушло – с детством. Но сейчас я на волоске, умираю. Я так долго тебя ждала. Неужели ты забыл обо мне, Давид?

Давид молчал, сдерживая слезы.

– Вот только не плачь. Не жалею меня.

– Я закурю.

Метель улеглась, но снег не переставал под фонарем. Давид открыл форточку, впусив морозный воздух, прикурил.

– Вот ты рассказала. А я вспомнил. Когда мне было лет десять, мне постоянно снились кошмары. Я стал бояться засыпать. До последнего боролся со сном, а в школе ходил разбитый. Но потом додумался, что сны же зависят от реальности. Если в комнате холодно, то снится Северный полюс, а если, не знаю, например, что-то шумит за окном, то этот звук во сне тоже есть. И я решил, можно сделать наоборот: во сне задвигаться быстро-быстро, раскрутиться как-нибудь, тогда это отразится на реальности, и ты сможешь себя раскатать и прервать сон. С этим планом я уснул. Мне опять стал сниться кошмар, какая-то подводная лодка с мертвым капитаном, а я от него прятался в отсеках, убегал по лестницам. Во сне я вспомнил про план, остановился и стал биться головой о стену и – проснулся! А в реальности я ударился о спинку кровати, потому что сильно тряс головой.

Ольга засмеялась.

– Я скучала по твоим историям! – Она достала из-под одеяла тетради. – Я их все по памяти сюда записала. Хочешь, забери?

– Нет.

Ольга уперлась взглядом в электрический камин, однако тот молчал, не принимая взгляда.

– Нет, Оля, я не забыл. И не мог забыть. Даже когда совершал страшные поступки, не мог, хотя я старался. Если бы не *это*... – Он протянул ей сжатый кулак. – Я бы, может, и не мучился там. Но я не мог умереть.

– Потому что ты обещал.

– Обещал. И я не жалею. Я думал, что жизнь еще будет впереди, пока не вернулся. И теперь мне кажется, что меня нет, я еще как будто не родился, еще не стал человеком, и поэтому мне так больно. Потому что ты уходишь первой.

Неизвестно, с какого момента они перестали говорить вслух, но голоса их вдруг больше не были слышны из-за двери, и у Тани набухли глаза – от ревности ли? от сострадания? от страха? Давид продолжал говорить в голове Ольги – голосом нездешним:

– Насколько мои радости и страдания принадлежат мне? Да ни на чуть. Это чье-то – не мое. Все как будто бы уже было – и не со мной. Видишь, вот так людей убивает ужас. А то, что я видел там, – было ужасно. – Ольга смотрела на Давида без жалости. Ну и что, что нет руки. Она не хотела, да и не могла уже, пестовать его боль, слезы по себе. – Все хотят увидеть свое будущее. Но истинное прозрение в том, чтобы увидеть прошлое. А оно – уже не мое. И ты – как будто призрак. Может быть, я вообще твоя фантазия.

– Нет, ты не моя фантазия, Давид. И то, что ты держишь в руке, – вот доказательство. Ты – фантазия самого себя. Это ты себя такого придумал, чего бы ты там ни видел, я не хочу об этом знать. Посмотри на меня. Посмотри. Всё ужасно, но точно так же всё и прекрасно. Я берегла тебя и спасала. А если ты выжил посреди ужаса, но так и не понял этого... Отдай мне то, что я вверила тебе.

Он встал на колени перед ее кроватью, вложил ей в руку талисман и начал целовать ее тоненькое, ангельское запястье.

– Прости меня. Я сам не знаю. Мне было стыдно и страшно там, очень страшно, и до сих пор. А ты была моим ангелом-хранителем, которого я не мог принять. Ты доверила мне свою душу, а я был при ней, как храмовая муха, надеющаяся вымолить прощение, чтобы в следующей жизни наконец-то разучиться бесцельному полету.

Давид положил голову рядом и замолчал. Ольга положила руку на его грязные волосы, волосы человека, который был ей сыном, отцом и мужем, она сама не знала почему, слова слабее правды, да и неубедительнее.

– Позови Таню. Позови мне Таню, – сказала она уже сипло, из предпоследних сил.

Таня вошла.

– Вот она – твоя следующая жизнь. Для нее и сберегла. А я – отпускаю.

Ольга посмотрела на сестру взглядом последних слов и закрыла глаза навсегда. Таня припала к Ольге, заискрил камин, чье ворчание уже никто не разбирал, вбежала мать, засуетилась над розеткой, а Давид впервые за вечер посмотрел на Таню и увидел в ее больших слезных глазах настоящий узор, линии которого тянулись от музыки Джо Дасена, через наивные слова Олиной записки, подкинутой в ранец, к последнему прощанию – летом, на школьном дворе, где были обе сестры, и он даже на мгновение спутал их, так одинаково направлялись их взгляды в него. Сквозь тревогу и надежду посреди далекой жаркой войны снегопадом топленого молока отцветала амурская сирень, и Олин подарок в руке – связанный из белого бисера пятилистник, будто на удачу сорванный с куста, – с обещанием вернуться, держал он, как может держать себя молодой человек перед лицом смерти невозможной, потому что душа бессмертна, как сказала ему Ольга, и я отдаю тебе свою душу, чтобы ты вернул мне ее, когда мы увидимся в следующий раз, ты сам узнаешь зачем.

– Так вот зачем, – прошептал он, глядя на Таню, и страх ушел.

Николай ЗАЙЦЕВ

Родился в 1950 году в г. Талгаре Алматинской области Казахстана. Работал в топографической экспедиции, закройщиком, радиомехаником. Мастер по изготовлению очковой оптики.

Автор девяти книг стихов и прозы. Печатался в республиканских журналах «Простор», «Нива», альманахе «Литературная Алма-Ата», в московских «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», в коллективных сборниках прозы и поэзии, в сетевых изданиях. Лауреат премий им. В.И.Белова (2009), им. В.М. Шукшина (2013) и других литературных конкурсов.

Руководитель творческого объединения «Вершины Талгара», г. Талгар. Член Союза писателей Казахстана и Союза писателей России.

Живет в Талгаре.

ОГНЕННАЯ БОРОДА

Махмуд не мог понять простого женского каприза в отчуждении жены от его желаний и даже простого нежелания вести с ним разговоры. Он пытался докопаться до причины разрыва отношений с супругой, но наткнулся на совсем не ласковый взгляд и даже, как ему казалось – не женский, какая-то давно затаённая ненависть таилась в глубине глаз Айши, и было странно, что он пугался этого злобного огня, который вспыхивал искрами, когда она смотрела на него. Он хорошо разбирался во взглядах мужчин – смелых, отчаянных, трусливых, но женский, полный неясной ненависти взгляд, был для него загадкой. Он не понимал, что происходит в его семье и томился ожиданием чего-то неведомого, что должно случиться в жизни, и душа его трепетала от неизвестности исхода каждого дня. Ему приходила в голову мысль, что он боится смерти, но не понимал, как можно её страшиться, когда он прошёл многие испытания войной и часто смотрел своей погибели в лицо и даже смотрел в глаза людей, приговорённых к смерти, а приказывал убивать их он – Махмуд, когда служил командиром батальона воинов ислама.

Как это случилось, вспоминать долго и не очень приятно сознавать, что именно ты стал причиной гибели многих, часто невинных людей. Он не знал тогда, что память так мучительно страшна для людей, не страшась совершать убийство других – многих и многих...

С начала раздела между ним и женой прошло некоторое время, и Махмуд думал, что жена не хочет простить ему рождение детей, которых они ждали и дождались, и были очень рады, но мальчики-близнецы выросли в красивых, здоровых парней, но разумом остались детьми. Им была неведома взрослая жизнь, они играли с детьми, взрослых слушались и трепетали от их гнева, хотя были чрезмерно сильны физически. Их охотно нанимали таскать тюки на базаре, хорошо платили,

потому что они легко переносили тяжелый груз, который нормальные мужики и не мечтали даже поднять. Дети обеспечивали жизнь всей семье, но радости от этого их родители не испытывали. Дети их жили в другом мире, наверное, более счастливом и потому на их лицах всегда блуждала светлая улыбка. Народ называл их детьми Аллаха, и каждый человек в отдельности старался их не обижать (хотя они едва ли понимали, что такое обида), дарили им детские игрушки, чему они были несказанно рады. Вся округа кликала их «сынками», и никто не пытался им внушить, что они люди неполноценные, просто любили этих двухметровых силачей за их детскую непосредственность и всегдашнюю приветливость. Братья умели разговаривать, не задавая вопросов, изустно знали молитвы и вершили их в надобное время, чтили отца и беззаветно любили мать, почитали святые книги. Читать не умели, но казалось, что они знают, о чём написано в Коране, с благоговением брали в руки священную книгу, когда её надо было куда-нибудь переместить или передать. Игры с мальчишками были их любимым занятием, на них катались целые отряды детворы, они строили запруды на реке и делали это так основательно, будто кто-то учил их этому искусству. А в строительстве разрушенной весенними водами дамбы, возведённой ранее для полива огородов, равных детям Махмуда не было. День их был заполнен трудом, играми, жалоб на них не поступало, а только похвалы от близких людей и соседей. Братья всегда были готовы помочь любому человеку совершенно бескорыстно, они и не ведали, что существует человеческая жадность к деньгам, а рассчитывался честной народ с Махмудом, мол, дети детьми, но трудятся как взрослые, и даже лучше, не зная усталости и лени, да и кушать хотят все. Махмуд тоже очень любил своих детей, но был утомительно огорчён их детскостью, а больше всего безразличием к нему Айши.

В этот аул он прибыл издалека, да и в сам этот не совсем понятный ему мир Махмуд явился с другого края света. Там он разговаривал на другом языке, который теперь едва помнил, говорить на нём было не с кем и только во сне, бывало, вёл разговоры с призраками прошлого своего или чужого – это теперь уже трудно понималось. Родился и вырос Махмуд в стране семи рек и жил в небольшом городке, окружённом высокими горами. Учился в школе, хотел продолжить образование в большом городе, но из-за какого-то пустяка поругался с отцом, ушёл из дому, связался с дурной компанией и сел в тюрьму. Всё это произошло так быстро, что опомнился юноша уже в колонии, где познакомился со своими одногодками-кавказцами, и они стали обучать его рукопашному бою, а так как он был парнем от природы очень сильным, то быстро превратился в бойца, которого боялась лагерная шпана. Те же кунаки рассказали, что в странах, где идёт война с неверными, можно хорошо заработать, и после отсидки они собираются туда ехать, и если хочет, возьмут его с собой. В неволе легко соглашаешься на все условия неясной, но свободной жизни, и он, тогда ещё не Махмуд, согласился. Освободившись, даже не дал знать об этом родителям, уехал на Кавказ, а оттуда... Куда он попал, потом уже никто никогда не узнает, – его везли, вели, тащили на себе, а после всего этого где-то на чужой земле учили воевать и говорить на арабском языке. Там же заставили принять ислам и дали имя – Махмуд, даже не спрашивая его желания. Потом началась война жестокая и бесконечная. С кем он воевал? Со всеми, кто не верил в Аллаха, но и с теми, кто верил в него неправильно. Кто правильность этой веры определял – неизвестно, но голов иноверцев и мусульман

отрезали много, кровь их, если замерить, запеклась выше плеч Махмуда. Став командиром отряда матёрых головорезов, уже сам готовил набеги на деревни и кишлаки, где они грабили жилища, убивали мужчин и насиловали женщин. Получил прозвище Огненная Борода – то ли от того, что не жалел ни жилищ, ни людей, предавая всё огню, а может потому, что в отличие от других имел на своём лице бороду ярко-рыжего цвета. О жестокости Огненной Бороды в народе ходили ужасные слухи, приправленные жуткими выдумками людей, никогда его не встречавшими. Он ничего не знал ни про тот народ, который о нём слагал страшные легенды, ни про людей, которых убивали его воины. В отряде большим почётом пользовались легенды о мамелюках, людях без рода и племени, славных воинах, и эти рассказы несколько утешали мужчин, оторванных от родины, своих домов, ушедших на войну в юном возрасте и уже мало помнящих о мирной человеческой жизни. Иные плохо помнили свои настоящие имена и пользовались прозвищами, которыми наградила их война в зависимости от свойств характера и поведения на её полях. Так произошло и с Махмудом, он не только любил слушать саги о мамелюках, но и сам стал и был человеком без родины, не знающим и не помнящим родства. Его кумиром стал султан Египта – Бейбарс. Множество героев и великих правителей родилось на землях Великой степи – Дешт-и-Кипчак, но самым великим из них был предводитель мамелюков – султан Египта – Бейбарс. В юном возрасте вывезенный с родины, оторванный от родной земли, он сумел объединить разноплеменных воинов-мамелюков, которые и привели его к власти в Египте и Сирии. Талант полководца позволил ему создать непобедимое войско мамелюков и победить полчища крестоносцев и монгольские орды. За эти победы султан Бейбарс удостоился прозвища – Абуль-Футу́х, что означало «отец побед», что совсем не походило на кличку Махмуда. Махмуд до дыр зачитал книгу о подвигах султана Бейбарса и всегда носил её с собою. Но, читая эту книгу о великом человеке, сумевшем объединить в одно целое воинов разных национальностей и народов и одержать победы над сильным врагом, Махмуд задумывался, а кого же победил он – Огненная Борода, кроме несчастных жителей аулов, попадавших на пути его головорезов, а вот от боёв с регулярными войсками его вояки и он почти всегда пытались уклониться, но часто были биты и спасались бегством в разные стороны. Его солдаты не могли стать вровень с мужественными воинами-мамелюками, потому что не имели цели в своей жизни, кроме обогащения за счёт несправедного грабежа. И потому султан Бейбарс, глядя с портрета на главной странице книги, не пытался рассеять сомнения Махмуда, а только со временем всё более мрачнел лицом. И тогда Махмуд начал понимать, что нечестивые поступки в жизни и на войне не делают человека великим. Султан Бейбарс объединил мусульман и в борьбе против внешних врагов победил, но ещё он строил города и всячески улучшал жизнь простых людей, а кто был врагом Махмуда и где были его друзья и родина – он не знал, и никто не мог дать ему ответа на этот мучительный вопрос.

Уже минули годы войны, прежде чем вся эта разбойная жизнь стала тяжело утомлять Махмуда, он начал подставляться под пули – искать смерти. В конце концов получил тяжёлое ранение, долго лечился, а потом его как человека негодного к войне вывезли в страну, где правительство и народ победили войну, и оставили жить в этом тихом кишлаке. Здесь тоже когда-то начиналась война, но люди не поверили в её

правду и, взявшись за оружие, защитили свои дома и семьи – отстояли мир. На появление Махмуда никто не обратил внимания, но на всякий случай он перекрасил свою густую огненно-рыжую бороду, закрывавшую добрую половину лица, в чёрный цвет и обрил голову, как истый мусульманин. Когда излечился от тяжкой раны правого плеча, купил на заработанные чужой кровью деньги дом, а потом сосватал сиротку Айшу у её дальних родственников. Чему он основательно научился в бродячей, опасной жизни наёмника, так это жить в дружбе с наркотиками и каждый день перед сном угощался напитком из маковой соломки, потом стал готовить кукнар и днём, покуривал гашиш, так и жил, не помня себя, пытаясь забыть войну и глядя в мир через завесу дурмана. Мало внимания обращал на происходящее вокруг и на своё присутствие в мире, разговаривал только с детьми, даже понимая, что они его не понимают, и со временем перестал красить бороду, и она расцвела прежним жарким цветом.

Айша с самого начала своего замужества присматривалась к этому человеку, а особенно к его крашеной бороде, из которой часто пробивался рыжий волос, а потом она стала совсем огненной – что-то знакомое и страшное напоминала ей эта мужская роскошь. Потом муж вместе с бородой стал приходить в её тревожные сны. В этих частых снах какие-то люди стреляли из автоматов, кричали и убивали, убивали... Тогда она отказала мужу от своей постели и много лет не пускала его на свою, женскую половину, ссылаясь на физическое недомогание женского естества.

И однажды всё разъяснилось – она ясно увидела во сне своего рыжебородого Махмуда, который ворвался в их отчий дом с автоматом, застрелил отца, мать и братишку, а она спряталась за шкафом, дрожа всем своим маленьким телом, и её не заметили. Бандиты разграбили дом и ушли, а её потом нашли дальние родичи и забрали к себе. Сон был так ясен, что она проснулась от вновь пережитого ужаса, вышла в кухню, взяла самый большой и острый нож и пошла на мужскую половину. Дети спали сладким сном, и она, прикрыв дверь в их комнату, вошла на территорию мужа, куда он редко кого пускал. Махмуд спал на спине тяжёлым сном наркомана, не шевелясь и тяжело дыша. Под всклокоченной рыжей бородой белела бычья шея. Ни минуты не раздумывая, Айша занесла нож и полоснула по этой белизне с такой силой, что ненавистная борода отвалилась от тела, задравшись вверх и кровь хлынула, будто из горла зарезанного барана. Махмуд даже не вскрикнул и не пошевелился, а Айша тем же путём вышла на кухню, вымыла нож и руки, ушла в свою комнату и, спокойно улегшись на постель, заснула без сновидений, как исполнивший необходимый долг человек.

Елена АЛЬМАЛИБРЕ

Родилась в 1986 году в Константиновске, Ростовская область. Окончила магистратуру Южного федерального университета, факультет романо-германской филологии (английский, испанский языки). Работает переводчиком.

Публиковалась в журналах «Дон_новый», «Север», в газете «Литературная Россия», альманахе «Ковчег», на сайте «Российский писатель». Участник Совещания молодых литераторов «Химки-2021», «Химки-2022». Член Союза писателей России.

Живет в Ростове-на-Дону.

КУКУШКА

«Солнце моё, взгляни на меня», – зазвучало в голове, пока руки чистили картошку над раковиной. Кухня в половодье света пела булькающей водой в кастрюле, скворчащим маслом на сковородке, растекающимся по клеткам крупно нарезанного лука так, что можно было рассмотреть эту замысловатую сеточку без школьного микроскопа. «Моя ладонь превратилась в кулак», – пальцы, жёлто-чёрные от кожуры молодых картофелин контурно обнажали сеточку своих отпечатков. «И, если есть порох, дай огня», – невпопад картошка умывалась под струёй холодной воды, а после плюхалась в волшебный чан на плите, где ей суждено было утратить свою твёрдость и неказистый сырой вкус.

– Вот так! – вслух закончила приготовление супового раствора учительница никак не химии, а литературы в средних классах.

«Когда Цоя будут в школе проходить? Родители бы с гитарами на урок приходили».

«Све-е-етка!» – в памяти возник голос одноклассника Андрея, который двадцать пять лет назад брэнчал на гитаре под окном ту самую «Кукушку» Цоя, если Светлана не показывалась после трёх позывных. Теперь Андрей «куковал» где-то в Заполярье.

– Все птицы как птицы поют. А кукушки нет же – кукуют. Всё у них не как у... – и тут Светлана Николаевна осеклась, припоминая, что поэты вполне позволяли себе заявлять, что кукушки «поют». Вступать в филологический спор с самой собой она не любила, от этого страдала её самооценка и нервная система, расшатанная десятью годами преподавания в классах «отъявленного» возраста.

Варить суп вместо того, чтобы поглощать завтрак воскресным утром, было не самой главной причудой Светланы. Куда больше на странность смахивало её пристрастие всё воскресенье проводить за чтением не классиков, а современных поэтов на Стихи.ру. «Интернет –

это куча мусора, где если не знаешь, что ищешь, то ничего хорошего не найдёшь». Так считал муж Светланы, но тем не менее уезжал с десятилетним сыном на рыбалку, оставляя тонкую душевную натуру жены наедине с её увлечением.

Пройдясь по десятку «избранных» авторов, Светлана заглянула в свежие стихи. Среди них было стихотворение, название которого вызвало у неё широкую улыбку. «Кукушка».

– Ну, кукуй, сколько мне осталось, – сказала со смешком Светлана. Она любила «гадать» по стихам: задавала вопрос, а потом наобум читала «ответ» в первом попавшемся стихотворении.

Ты несмелая, беззащитная,
Я тебя никак удержать не смог.
Я «Кукушку» пел безобидную,
Ты гнала меня от своих ворот.

Я гнезда не свил и любви не снёс,
Жизнь подбросила мне раскаянье,
Я живу один, словно старый пёс,
В тишине ночи Заполярья.

Андрей Вихрев

Ни бедные рифмы, ни отсутствие ответа на поставленный вопрос отнюдь не могли взволновать душу Светланы более, чем «встреча» с обладателем голоса, всего пару часов назад прозвучавшего в её голове. Совпадение ли, зов ли душ, терзающихся тоской по первой любви, мистика или волшебство – что могло значить столь необычайное для воскресного «будня» событие. И вот он, Андрюша, ждущий, зовущий, не надеющийся на то, что его услышит далёкая возлюбленная. Напиши ему, ответь, скажи хоть, что помнишь, отправь лучик света в его тёмное царство.

Светлана встала, помешала суп, дёрнулась к окну. Села на место. Нажала на ссылку с заветным именем.

«Меня зовут Андрей Вихрев, живу в стуже необъятной страны. Женат, двое детей. Счастлив и благодарен судьбе за мою Наденьку. Прошу у неё прощения за свои вирши. Кто поймёт стареющего поэта».

Суп выкипел до куриных крылышек, подсыхающих над слабо булькающим бульоном. Светлана опустила ложку в варево, поднесла её к губам, отхлебнула и скривилась. «Пересолила». Руки привычным жестом плюхнули в кастрюлю кружку воды, превращая концентрат в прежний раствор. Губы улыбнулись.

Андрей ПУЧКОВ

Родился в 1963 году в посёлке Хандальске Красноярского края. После демобилизации из Советской армии служил в МВД в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2006-м вышел в отставку.

Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Север», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей», «Сура», «Аргатак», «Гостиная» (США) и других, а также в коллективных сборниках и альманахах. Живёт в г. Сосновоборске Красноярского края.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

«Человек за бортом!» – раздался чей-то вопль, и я, вздрогнув, начал судорожно вертеть головой во все стороны, пытаюсь определить, кто же это удосужился принести нам столь дурную весть.

– Ага, по-моему, вот этот орёт... – пробормотал я и посмотрел в ту сторону, куда яростно тыкал пальцем прыгающий на брёвнах парень, одетый в синюю флотскую робу.

Присмотрелся. Ты глянь-ка, и в самом деле!.. Вроде кто-то плывёт. Видно, правда, плохо, солнечные блики, слепят мешают как следует рассмотреть, кого же это дурная голова занесла в ледяные воды Енисея. Разглядеть можно было только какое-то тёмное пятно, маячившее над водой.

Пловец – это плохо! Это, знаете ли, очень плохо! Вода в реке всегда холоднющая, каким бы жарким лето ни выдалось. Через Енисей поплывёт лишь тот, кто принял решение самоубиться таким незатейливым способом. Мощное течение и холодная вода – вот две составляющие, которые быстро и качественно сделают своё дело. Без вариантов.

Возле спасательной шлюпки началась суэта. Матросы спешили опустить посудину на воду.

– Отставить шлюпку! – раздался усиленный громкоговорителем голос «первого после Бога», и, по всей вероятности, заметив направленные на рубку удивлённые взгляды, капитан добавил:

– Это не человек... Медведь бултыхается!

О как!.. Медвежье рандеву состоялось! Это интересно! И я, пользуясь правами гостя, поскакал в капитанскую рубку.

Тут следует добавить, что к водному транспорту я никакого отношения не имею, а на этом буксире, гордо несущем солидное имя «Медведь», оказался совершенно случайно.

Мой сосед по лестничной площадке, Виктор Егорович, уже лет сорок бороздит просторы Енисея. Начинал, как водится, простым матросом, потом учёба, и вот уже двадцать лет он капитан буксира-толкача. Кстати, довольно большого, имеющего команду в полтора десятка человек.

Три дня назад Егорыч, прогуливаясь по двору, увидел, как я кручусь на карусели, установленной на детской площадке, и сердито спросил:

– Санька! Ты что, всех преступников уже переловил? Заняться, что ли, нечем, как только детские забавы курочить! Не стыдно оперу – да на качельках?! В тебе вон росту под два метра да весу за центнер!..

Стыдно мне не было, о чём я соседу откровенно и сообщил, заодно поинтересовался, каким образом мне можно убить полтора месяца отпуска – в нашем благословенном городке, кроме качелек, и заняться-то больше нечем.

Вот тогда Егорыч и предложил мне сходить с ним на пару недель в низовья Енисея. На закономерный вопрос, что я буду делать на судне, ответил: «Помогать, кому делать нечего». Этот род деятельности меня вполне устраивал, и я согласился.

– Вон, прямо по курсу, – сунул Егорыч мне в руки бинокль и негромко добавил: – Здоровенный, похоже!.. Жалко будет зверюгу...

– Чего жалко-то? – удивился я, не отрываясь от окуляров бинокля. – Хочешь сказать, утонет? Они же вроде хорошо плавают. Это не человек, переплывёт...

– Хорошо-то хорошо, – хмыкнул капитан, – если бы не течение, переплыл бы. А так, сам видишь, несёт его... Гляди, устал уже!..

– Пожалуй, твоя правда, Егорыч, – согласился я с капитаном, понаблюдав некоторое время за невезучим медведем, и, возвращая бинокль, спросил: – А мы ему ничем не сможем...

Капитан ответить не успел: распахнулась дверь, и в рубку ввалился широкоплечий русоволосый мужик. На вид лет пятьдесят, не больше, на нём поверх обязательной тельняшки был надет жилет с множеством карманов. Честно говоря, я не успел узнать, как его зовут, а вот прозвище Тувин запомнилось сразу же, едва ступил на борт судна. Собственно, по-другому его никто и не называл.

Почему его прозвали Тувином, было непонятно. На тувинца он не походил совершенно. Глаза – да, заметно, что раскосые, не поспоришь, но совершенно не тувинские, больше на татарские похожи.

Виктор Егорыч предположил, рассказывая о членах своей команды, что Тувин, скорее всего, результат давнего смешения одного из таёжных народов со славянами. В результате чего появились вот такие светловолосые и узкоглазые лесные жители.

– Командир, спасти хозяина надо, – негромко сказал Тувин и мотнул головой в сторону баржи, перед которой маячила над водой голова медведя. – Негоже, если душа его над водой останется, беда будет.

– И как ты себе это представляешь? – раздражённо спросил капитан. – Что, руку ему, что ли, с борта протянешь?! У него башка, вон, в пять раз больше твоей!..

– Я могу на шлюпке к нему подойти... – начал было Тувин. Но капитан его перебил:

– Совсем обалдел, что ли?!.. Эта морда нашу шлюпку на раз-два потопит! Неужели не понимаешь?!

Он понимал это, прекрасно понимал, но всё равно, непонятно на что надеясь, исподлобья хмуро смотрел на капитана.

Ну что же, надо бы помочь. Тем более что сам Егорыч и хвалил его – человек, мол, исключительно хороший. У меня как раз идея нарисовалась. Как говорится, мой выход.

– Совершенно верно! – поддержал я капитана. – Лодку он одной лапой на дно отправит, даже не заметив этого. А вот бревно, хорошее бревно, потопить не сумеет, как бы ни старался.

– Объясни-ка, – заинтересованно посмотрел на меня капитан.

– Легко! – радостно заявил я. – Делов-то и будет – сбросить в воду это самое бревно. Я нахожусь с кем-нибудь в шлюпке, цепляю его багром, и мы спокойно подводим бревно к утопающему. Дикая скотинка хватается за предоставленное ей спасательное средство, после чего от- важная команда буксирует топтыгина к берегу, где на радостях начина- ет с ним обниматься. Вуаля!.. Проще простого!

– Вуаля ему... клоун недоделанный, – пробормотал Егорыч и, в за- думчивости почёсывая пальцами подбородок, уставился на Тувина. Тот улыбнулся, блеснув великолепными зубами, и часто начал кивать, все- цело соглашаясь с моим гениальным предложением.

– Ну хорошо, так и сделаем, – наконец принял решение капитан и скомандовал: – Шлюпку на воду!

– Да, командир! – обрадовался Тувин и, выметнувшись из рубки, уже с палубы проорал: – Сам на мотор сяду!..

– Ты что, действительно, тоже собрался поучаствовать? – спросил Егорыч, когда мы остались одни.

– А то! – довольно подтвердил я. – Ты меня, конечно, извини, но я в твоей команде самый здоровый получаюсь.

– И самый хвастливый, – вздохнул капитан и подтолкнул меня к выходу. – Ладно, пошли, амбал, на месте командовать буду. – Он сде- лал несколько шагов, а потом вдруг остановился, повернулся ко мне и, ткнув меня указательным пальцем в грудь, предупредил: – Ты смотри там поосторожнее, бревно тебе придётся с борта лодки цеплять, на кор- ме Тувин с мотором будет. Не опрокиньтесь мне...

Баржа была загружена под завязку лесом-кругляком, поэтому выби- рать долго подходящее бревно не пришлось. После того как мы с Туви- ном оказались в шлюпке, мужики с помощью ломов столкнули одно из брёвен в воду. Лихо ухнув, я вогнал в него багорный крюк и рывкнул:

– Вперёд!..

Лодка, взревев мотором, рванулась, и я чуть не выпустил багор из рук.

– Э-э-э-э!.. Полегче там!.. – заорал я, изо всех сил вцепившись в ба- гор. – Давай постепенно скорость набирай, а то не удержу...

Тувин кивнул, сбавил обороты, а потом, постепенно добавляя газу, уверенно обошёл баржу и направился к плывущему перед нами медведю.

Успели мы вовремя. Медведь уже почти и лапами не работал, время от времени полностью скрываясь под водой. Тувин обогнал его, а по- том пересёк ему путь, подставив бревно.

Потапыч оказался умной животиной. Первый раз, правда, он обхватил бревно лапами и кувыркнулся вместе с ним, уйдя под воду. Вынырнул, смешно отфыркался и, осознав, что под белы лапки его никто придержи- вать не будет, кардинально сменил тактику собственного спасения.

Я со всё возрастающим изумлением наблюдал, как медведь пере- брался к середине бревна, забросил на него сверху обе лапы, а потом, тяжело вздохнув, опустил на него голову и закрыл глаза.

В этих его движениях было столько человеческого, что я невольно покосился на управлявшегося с мотором Тувина. Заметив мой взгляд, тот улыбнулся и, стараясь перекричать тарахтение мотора, крикнул:

– Давай, Саня, держи крепче, а я потихоньку к берегу направлюсь.

Я кивнул и посмотрел на медведя.

Вы когда-нибудь видели глаза льва, или тигра, или ещё какого хищ- ника? Уверен, видели. Вот и я видел, и не один раз. Доводилось и в зоопарке посмотреть, да и по телевизору тоже.

Остановившийся взгляд с чёрной точкой зрачка. Всё, больше ничего.

Никаких эмоций взгляд хищника не выражает. Мне кажется, что когда тебя кто-нибудь из них начнёт жрать, ничего в его глазах не изменится.

Посмотрел и поспешно отвернулся, встретившись с ним взглядами.

Медведь уже не болтался, обессиленно прицепившись к бревну. Он поднял голову и смотрел на меня. И взгляд у него был неправильный, не должно такого быть у зверя. Разумный был взгляд, настолько, что даже страшно стало. Кожа мурашками пошла.

Я облизнул пересохшие вдруг губы, отвернулся от медведя и крикнул:

– Давай быстрее!.. Как бы он не утонул!..

Ага! Как же, ждите, он-то теперь не утонет! Теперь я обделаться могу!..

Больше я ему в глаза не смотрел. Даже тогда, когда медведь, выбравшись из реки, шумно отряхнулся от воды и, усевшись на мелкие прибрежные камни, уставился на нашу лодку.

Опять глянуть на него решился, когда мы отошли от берега достаточно далеко. Медведь так и сидел на заднем месте, свесив перед собой лапы. Ни дать ни взять, пожилой усталый человек! От этой похожести дух захватило.

Перебравшись поближе к Тувину, некоторое время молча смотрел на несущуюся вдоль борта лодки воду, а потом, как бы в шутку, спросил:

– Слушай, говорят, ты большую половину жизни в лесу провёл, там не слышал никаких таких преданий, чтобы человек мог в медведя превратиться?

– Что, хозяину в глаза заглянул?! – засмеялся Тувин и чуть скинул обороты, приглушив рокот мощного японца.

– А как ты догадался?..

– Догадался, тоже мне, скажешь, – фыркнул Тувин, – видел бы ты свою физиономию в тот момент – дурацких вопросов бы не задавал, – и он опять добавил мотору оборотов.

– Так как насчёт превращений-то? – повысил я голос. – Или мне показалось?

– Нет, не верь в эти сказки, не может такого быть! – засмеялся Тувин, а потом вдруг резко оборвал смех: – А вот душа человека, бывает, и находит себе в нём пристанище. У нас это всем известно. И это не такая уж редкость, – он грустно улыбнулся и негромко, словно опасаясь, что кроме меня ещё кто-то может услышать, добавил: – Если ты, конечно, в это веришь.

Я смотрел на улыбающегося Тувина и не знал, что и думать-то.

Разумеется, я ему не верил. Тоже мне, душа человека в медвежью тушу вселяется. Как же! А с другой стороны, он совершенно не походил на шутника. Да и зверюгу кинулся спасать очертя голову, рискуя быть утопленным. Зачем? Из любви к братьям меньшим? Наверяд ли. Не похож этот человек на идиота.

Выходит, сам он в это переселение души верит и зачем-то мне предлагает поверить. Ну что же, интересный оборот получается. Надо будет с ним на эту тему более подробно поговорить. И я, глядя на быстро приближающееся судно заорал:

– Ты поосторожнее там, а то вяпаемся в бочину!

– Не бойсь, не впервой! – откликнулся Тувин, и ловко приткнул катер к борту буксира.

Полина МИХАЙЛОВА

Родилась в Москве в 2002 году. Alma mater – философский факультет МГУ им. Ломоносова. Работала инструктором по спортивному туризму и экскурсоводом в заповеднике «Пасвик» на Кольском полуострове, в питомнике чукотских ездовых собак в Карелии, а также была инструктором экспедиции на Северный полюс «Большая арктическая экспедиция – 2018».

Стихи и проза публиковались в журналах «Нева», «Новый мир», «Юность», «Идель», «Литерга», «Млечный путь» (Иерусалим), «Южный маяк», «Пролиткульт», «Пашня», «Кольцо А», «Изящная словесность». Победитель секции «Поэзия» семинара-совещания «Мы выросли в России – Урал», издала книжку стихотворений «Ранка на ладони» (2022). В 2024 году издала по президентскому гранту сборник рассказов «Топить можно вернуться». Шортлистер премии гуманистической прозы «ДИАС».

Живет в Москве.

И РАССЫПАЛ ГОРОХ

Вживую никогда не увидеть только одну вещь – своё лицо. Но я увидела: глядя на бабушку.

Она называла пакеты сумочкой, заворачивала бородинский хлеб в салфетки и всегда носила с собой сахар в кубиках. На её душе болталась жёлтая казахская кожа и заштампованные старые слова, которые не любят в литературе, – но мир с ней почему-то был свежим и ненадёванным.

До замужества я часто приезжала к ней, в Брянск. Мы готовили хворост и «бабку»*, смотрели сериалы (не так, как уплетают их обычно, чтобы передёрнуть или обмануть время, – а по-другому; и я больше не умею так смотреть), шили кружевное бельё на зингеровской швейной машинке и вырезали из бумаги безумные, никому не понятные головоломки. Вечером бабушка делала мне массаж. Строился домик из подушек, чтобы упереть туда лоб и расслабить шею. В нём было сложно дышать, и наволочки пахли лилиевым ополаскивателем и сиреневым одеколоном.

«Про что сегодня, – спрашивала бабушка, – будем делать?»

И я могла ответить: про гиену или про слона – в кого запросто превращались бабушкины маленькие кулаки; про учениц в классе, которые стучат каблуками и ходят по моим коридорам-рёбрам; про пустыню, по которой идёт караван с верблюдами и связанным Аладдином с обезьянкой на плече, про поезд Москва – Брянск или Москва – Сарыагаш (теперь, когда мы вместе, всё равно). Бабушка водила, водила руками; и ученицы, и слон, и караван ходили по моей жёлтой спине.

* Блюдо из тёртого картофеля брянской кухни, готовится в духовке.

Пока взрослый – меньше знаешь себя. Но какое чудо происходит, когда посреди взрослой глухоты, вспоминаешь свою «детскую молитву»* – стих, поговорку или мякиш слов, по которым выучивал себя раньше, которые разминал по слогам и пристально разглядывал, вписывая в эту жуткую понятийную сетку мира. Моей детской молитвой стал массаж про горох.

Рельсы, рельсы,
Шпалы, шпалы,
Ехал поезд запоздалый.

Бабушка снимала с меня футболку и начинала проводить линии вдоль позвоночника, параллельные и поперечные. Лилиевый запах подушек смешивался с бальзамом-звёздочкой или барсучьим жиром, расслаблялась на два оборота моя резинка, приятно покалывало и щипалось в корнях волос. Между началом массажа и следующим сюжетом происходило что-то невнятное; проскальзывало беззвучно за оглушительным спокойствием – и я ничего до сих пор не помню, но потом... Потом бабушка вдруг произносила взхлѐб и диминуэндо – так, что слова осыпались и «горох» превращался в барханное «грх»:

И рассыпал горох.
И рассыпл грх.

Горох рассыпáлся там, откуда должны были (так я, клянусь, планировала в детстве) расти крылья.

Я представляла, видела спиной, как склонялось над потерянным под моими лопатками горохом (сколько его там было: килограмм, центнер? И почему поезд вообще так резко, так чудом его просыпал?) по-азиатски раскосое бабушкино лицо, как она улыбалась, мягко и хитро, – так умела только она; как приминали её бока мою скрученную в дырке между стеной и кроватью футболку с этикеткой «6-7». Потом приходили куры, гуси, семья слонов. Тяжёлые вѣсны, письма на e-mail, врачи, война – кто только ни приходил. А я бессовестно и неумолимо становилась старше, так, как обычно растут под руками родных.

Пришли куры, поклевали, поклевали, поклевали.
Пришли гуси, пощипали, пощипали, пощипали.
Пришёл слон: топ-топ.
Пришла слониха, пришѐл маленький слонѐнок...

Бабушка прошла быстро, совсем как простуда.

И когда ей стукнуло сорок дней, а мне – двадцать, я открыла, точно жемчужницу, бабушкину сумку (сумочку или пакет), чтобы нюхать это нежное, только наше содержимое: сахар и бородинский. Я не растрескалась, благодаря, конечно, сильной после массажей спине. Караванам, Алладину, слонам, поезду и пустыне. И благодаря мужу.

Мы решили пожениться в тот самый день, когда бабушке стало сорок. Я хотела, чтобы она успела увидеть нас, хотя знала, что в исламе не всегда считают сорок дней после похорон. Для меня православие и ислам давно сплелись тугой косой, третьей прядью в которой был

* Мерещковский Д. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества.

избыток жизни: не важно, как верить, главное – радовать, когда радоваться нет сил.

Утром после свадьбы в нашем номере пахло ремонтом и чем-то по-февральски свежим, с балкона виднелись поезда с «Киевского», который раньше назывался «Брянский», а дверная ручка в спальне оказалась нежной, как подбородок цветаевского цветка.

Муж стал делать мне массаж, впервые, и я не знала, как он сядет и о чём будет говорить. Но он сделал домик из неудобных гостиничных подушек и начал ставить следы слона там, где у меня в детстве должны были вырасти крылья.

Потом немножко с опозданием нарисовал рельсы и шпалы – может, ему кто-нибудь делал этот массаж в детстве, а может, он знал меня «до»: спрятался в мои семь за машинкой «Зингер» и всё подсмотрел. Слон, рельсы и шпалы получились у него плохо. Но одно – самое главное – он сказал так по-бабушкински, что я оглянулась, с ужасом, посмотреть, не сидит ли она у меня за спиной.

И рассыпал горох.

Вот, вот она, с бальзамом-звёздочкой и азиатским лицом, подминает медовыми чак-чаковыми боками мою скрученную футболку; вот она благословляет нас и расслабляет мне резинку для волос на два оборота.

Окно, как форма для печенья, налезало на небо оттенка губной помады; и муж, удивившись, почему я обернулась, продолжал повторять родную молитву-стих. Он придумывал, кто бы из животных мог ещё прийти потоптать горох, кого мы ещё не встречали и хотели бы видеть. Но я видела только, как бабушка говорит со мной сквозь мужа, как тянет ко мне руки, проводит параллельные и поперечные линии вдоль позвоночника. Теперь это не она – теперь это я расправляю спину, чтобы никогда в вечности не сломаться.

Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изыщная словесность», «ЛиФФТ», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

ЗИККУРАТЫ

Он подходит по коридору, останавливается у двери комнаты, поворачивает ручку, входит внутрь. В его руках – букет белых лилий.

Он подходит по коридору, останавливается у двери комнаты, задумывается, поворачивает ручку, входит внутрь. В его руках – букет белых лилий.

Он подходит по коридору, останавливается у двери комнаты, задумывается, стучит трижды, поворачивает ручку, входит внутрь. В его руках – букет белых лилий.

Он подходит по коридору, останавливается у двери комнаты, небрежно стучит пару раз, предупреждая о своём появлении, поворачивает ручку, входит внутрь.

– Привет, – говорит он непринуждённо во всех четырёх комнатах, отводя взгляд.

– Привет, – полувопросительно здоровается он с ней в четырёх комнатах. В его глазах мелькает опасение.

– Здравствуй, – несмело звучит его голос в шестнадцати стенах комнат.

– Хорошо, что застал тебя, – произносит он в трёх комнатах, закрывая за собой дверь во всех.

Она не оборачивается.

Она вздрагивает, но не оборачивается. Чтобы совладать с собой, подсыпает корм в аквариум с золотой рыбкой.

Она испуганно оборачивается в тридцати двух комнатах: в двадцати четырёх – на несмелое «Привет...», в восьми – на «Здравствуй».

Она берёт себя в руки и оборачивается.

Она молчит в ответ.

Она отвечает, изображая улыбку:

– Здравствуй.

Она отвечает еле слышно, сглатывая комок в горле:

– Здравствуй.

Она отвечает, сглатывая комочек и изображая улыбку:

– Привет!

Она прячет руки за спиной.

В шестидесяти четырёх комнатах звучит: «Как ты?» – «Хорошо», «Как ты?» – «Нормально», «Как поживаешь?» – «Как видишь», «Как ты?» – «Зря ты пришёл», «Как дела?» – «Уходи», «Ты как?» – она пожимает плечами и отводит взгляд вправо, отводит взгляд влево, смотрит в пол, смотрит с вызовом.

Ещё одна фраза, и я наблюдаю за 1024 комнатами. И каждая из них имеет право на существование. В каждой из них они имеют право на жизнь. Кто я, чтобы судить? Я – наблюдатель. Кто решил, что я квалифицирован для такого ответственного занятия? – Сам факт того, что я наблюдаю. Ибо я есмь и объект, и субъект.

Тот, кто оставил меня здесь, проинструктировал: «Раз ты смог вспомнить того, кто жил в тебе до тебя, раз ты смог прочесть его жизнь на стропилах и балках его тела, то и тут справишься». Он сказал:

– Пари и смотри.

И ушёл.

К концу разговора они наплодят десять в сто двадцатой степени вселенных – кажется, столько вариантов у шахматной партии. С вероятностью семь девярых их разговор окончится ничем, в одном случае из восьмидесяти одного они прозреют. Квинтиллион раз они займутся сексом, 84 тысячи из них – любовью. Миллион раз он её задушит, миллиард – она упадёт виском на угол стола. Столько же раз она убьёт его – случайно, со злости, из любви и просто воспользовавшись случаем узнать себя получше: «Способна ли я на это?» Две трети смертей окажутся бездарны. В одной трети последним, что увидят её или его угасающие, перебирающие способы выжить сознания, будут протянутые к ним руки Христа и обретший плоть голос, повторяющий слова шахады.

Где-то белые лилии медленно впитают кровь.

Где-то среди лепестков будет биться на полу золотая рыбка.

И несколько раз звон стекла, рассыпающегося осколками по полу, откроет им какую-то из истин.

Я бы позволил им жить – каждой из их вселенных.

Если бы у меня был разум размером с Вселенную, я бы позволил им жить.

Если бы у меня был разум размером с Фонтан вселенных, я бы позволил нам всем жить.

Но нужно выбирать – и я выбираю.

Но нужно выбирать. И я выбираю.

Может, тот, кто сказал мне: «Пари и смотри», и был Бог? Кто ещё способен выбирать, кому пребывать, а кому – прейти? Тогда что же – это Бог ушёл? Ницше бы порадовался.

Где-то, по столешнице Мира, с четырёх его углов, стучит молоточками Время, собирая хаос их свидания в узоры, вибрируя их телами, закидывая в них случайные, не в тему, мысли, прорастающие в чувства и слова.

Моё внимание привлекает часть их судеб – те, в которых они живы своей страстью, надеждой, отчаянием. Остальные угасают, брошенные моим взглядом: остальные комнаты пусты, хоть в них и есть эти двое.

– Я взял кредит на машину, – расписывается он в бессилии своего сердца в третьем миллиарде вселенных.

– Я изменила тебе. Но ты сам виноват, – не решается она сказать о главном в сотый триллион раз.

Неловкое молчание. Неловкая улыбка. Удачная усмешка. Гнетущая пауза. Он думает, как бы уйти. Она думает, как бы выпроводить. Она думает, что хочет выпить. А лучше – напиться. У него чешется спина.

Они умирают. Для себя – и, значит, для меня. Я покидаю их – не божество, нет! лишь клетка Его обращённого внутрь, глядящего со всех граней Мира Глаза, – но как Он покидает души. Ибо не праведными Он сотворил нас, но страстными.

Что станет с ними? Будут ли они как пустые оболочки, как сердца, сожранные, пережёванные и выплюнутые Амаг – Поглощающей смерть, чтобы не пропустить неживое в царство Живого? Будут ли они носиться по ветру, неспособные даже пожелать чего-либо?

Где хранится архив мёртвых, несостоявшихся вселенных? Или Свет забывает их так, как способен Забыть только Небытие?

В первую очередь умрут те вселенные, где золотая рыбка бьётся на полу среди лепестков белых лилий. Зачем нужен мир, в котором рыбка задыхается на полу?

Иные, однако, прорастут. Как деревья под дождём. Ступень за ступенью, к небу – то Время ритмом своих молоточков строит свои зиккураты. Зачем? У Времени не спросишь. Время – это Бог вне своей Личности.

Я не пытаюсь понять, в какой из триллионов оставшихся комнат «истинное я» этих двоих. Даже если они где-то есть – в чём я обязан сомневаться, – попытка разыскать Человека будет предательством остальных, ещё живых его и её. И мне ли искать «личность», когда я сам – всего лишь (не менее чем) Наблюдатель: и субъект, и объект, недоказуемый и непроверяемый.

Но порой ощущаемый. Вот я замечаю её – миллиард «её», – безмолвно кричащую на дне своего бытия – воронки своего существования: «Ты есть, Бог? Мне больно!» – слабое пламя её свечи источает зыбь вопросов в будущее. Я отвечаю: «Он где-то здесь. И ты – здесь: я вижу тебя». Я молчу о «здесь»: надежда всегда обращена в будущее, но будущее настолько едино с прошлым – как земля, пропитанная водой, – что даже настоящее становится фикцией. А как назвать время, что слева, и время, что справа?

Она ухватывается за нить ответа, она просит его:

– Обними меня, – в сотнях миллионов комнат.

Она ухватывается за нить-ответ, она спрашивает его:

– Ты ещё любишь меня? – в сотне миллионов комнат.

Она как настоящая женщина слышит ответ на нити и говорит ему:

– Как глупо... Прости, – в десятках миллионов комнат.

Как все женщины, способные вплетать нити ответов из своего будущего в пряжу своих судеб и потому живущие дольше, она берёт его за руку в сотне тысяч комнат.

Как отчаянно храбрая женщина, она всматривается в его глаза, пытаясь понять тысячу раз.

Как чистый человек, она видит сотню бездн, за которыми – Свет, оберегаемый Тьмой.

Как Человек, она – всего (целых!) дюжину раз – узнаёт Его:

– Ты?! – не верит она себе.

Он отвечает ей. Как Человек. В один-единственный, обрастающий текучими кристаллами вечности, миг:

– Я.

Вибрация молоточков и барабанов Времени стихает, и становится слышен шелест его волн.

Зиккурат достроен.

* * *

– Прекрасная работа. Совершенная свершённость, – сказал по-арамейски мягкий голос слева, со стороны сердца.

«Сердца? – удивился я. – У меня есть сердце?»

– Теперь снова есть. Взвешено, признано чистым и возвращено имени твоему, – улыбнулся человек. – У тебя много вопросов? Пройдёмся.

Он подхватил руками с затянувшимися ранами прозрачный, как алмаз, кирпич. На одной из его граней я уловил зеленоватое отражение – своего лица? В глубине, вечно живые, двое познавали: она – всю себя в нём, он – весь мир в ней.

Золотая рыбка в аквариуме глядела внимательно, с радостью и прощением – как и глаза моего собеседника. Её плавники медленно перемешивали Время вокруг себя.

Комментарии:

1. Рассказ описывает реальность в многомировой интерпретации Эверетта (довольно популярной, в т. ч. в Голливуде – видимо, в силу её простоты), а после пытается урезать эту энерго-, информационно- и бог-весть-чего-ещё-затратную гипотезу, акцентируя на роли наблюдателя (Копенгагенская интерпретация).

Слабое пламя её свечи источает зыбь вопросов в будущее. Я отвечаю... – это ближе к транзакционной интерпретации с двумя физически реальными волнами: вперед во времени и назад во времени. Время в тексте можно считать метафорой онтологии Бома (частным случаем которой является онтология классической (макро)механики): свойства частиц определяются волновой функцией, и частицы воспринимают их благодаря сложной и тонкой внутренней структуре; в ней же описывается возможность существования пустых «волн-призраков» (по Эйнштейну). Или наоборот: интерпретацию Бома – частным случаем онтологии Времени). Онтология Бома была подвергнута остракизму из-за его симпатий к коммунистам, но недавние эксперименты с суперхолодными каплями на вибрирующей воде открыли квантово-механические аналоги в макромире, иллюстрирующие волну-пилот и с поразительной точностью имитирующие статистическое поведение электрона, – вплоть до квантового туннелирования, образования квантовых орбит двумя каплями (как у электронов в атоме водорода) и квантового загона (места, где вероятность обнаружить частицу выше). (Строгие реалисты категорически протестуют против переноса квантовых идей в макромир, однако – вот.)

2. Поскольку большая часть читателей являются социал-атеистами и некоторая – истинными атеистами (а горожане могут позволить себе быть физикалистами), то можно понимать Бога в этом тексте как имманентного Миру Бога Спинозы или вывести другие критерии моего Бога.

3. Предполагая обвинения в метафизичности Наблюдателя, которое с немалой долей вероятности будет выражено в мысли «мистика какая-то», сошлюсь на наиболее авторитетную сейчас из теорий сознания – теорию интегрированной информации, которую Кристоф Кох (один из самых известных нейробиологов) называет «математически точной формой современного панпсихизма» – философской метатеории сознания, восходящей чуть ли не к анимизму, пантеизму стоиков, Спинозы, Бруно и панентеизму Григория Паламы. Само сознание Кох считает фундаментальным свойством вселенной наряду с массой и энергией.

Ирина ДРУЖАЕВА

Родилась в лесном посёлке Рустай, на севере Нижегородского края, на реке Керженец. Окончила Горьковский сельскохозяйственный институт и аспирантуру. Работала в почвенной экспедиции НИИ Гипрозем и ассистентом в ГСХИ. Директор художественного выставочного зала «Галерея на Троицкой» в городе Городце Нижегородской области.

Публиковалась в газетах «Литературная газета», «Современная литература», «Литературный Кавказ», журналах «Нижний Новгород», «Вертикаль. XXI век», альманахе «Земляки» и других изданиях. Лауреат Международного конкурса детской и юношеской литературы имени Алексея Толстого, конкурса сценариев Московского международного кинофестиваля «Лучезарный ангел», литературной премии «Золотое перо Руси», премии города Нижнего Новгорода. Лонг-лист премии «Ясная Поляна».

Член Союза писателей России. Живет в Городце.

КОРДОН БРАТКИ

Счастье – не лошадь. По прямой дорожке не везёт.

Молодого парня Ивана Молодцова из деревни Заскочиха это в полной мере коснулось.

Что для счастья земледельцу надо? Надел родной землицы, чтоб с неё кормиться. Да малость удачи в крестьянской доле.

А Ивашкино счастье – дождь да ненастье. Под кем лёд трещит, а под ним ломится.

Вроде не лентяй, с петухами встаёт, с курами ложится. Работает, не надеется на небо, а всё равно сидит без хлеба. Потому как без удачи и в лес по грибы не пойдёшь. На такого невезучего и девушки не глядели, потому неженатым ходил.

Отца Ивана, Касьяна, да матушку везение тоже стороной обходило. Так и жили втроём, трудно да нудно. Только всё в сравнении познаётся. И такая серенькая жизнь Ивашке счастьем показалась, когда беда за горло схватила.

Серым октябрьским утром пошёл парень в лес, поздних грибов зеленушек поискать, родителей порадовать. Идёт с ножом да корзиной вдоль опушки, под ноги смотрит. Да вместо грибов набрёл на страшное.

Увидел человека под кустом, наклонился над ним, потряс. Видит, что мужик знакомый из Заскочихи, Пётр, лежит и не шевелится, а рубаха в крови.

Вскрикнул Ивашка от страха. А рядом Федот, сосед Молодцовых.

– Ты что это, Ивашка, натворил? И чем тебе Петруха не угодил? Идти тебе, убивец, по этапу!

У страха глаза велики, а ум короток. Растерялся Иван, мычит да заикается, сказать ничего не может, машет рукой, а в ней – нож грибной.

Федот развернулся и убежал с криком.

– Караул, убивают!

А Иван заплакал горько. Молва, она не по лесу ходит, а по людям. Не уйдёшь от неё, и суда на неё нет. Простодушному Ивану и в голову не пришло подумать, как тут Федот оказался. И что Федот с Петром враждовали давно. Всё меж ними межи да грани, ссоры да брани. Вздорным да злобным человеком слыл Федот.

Представил Иван, как Федот по деревне бежит да его убийцей называет, за голову схватился.

Выскочил на дорогу и побежал прочь от деревни в лесную керженскую глушь, сам не зная куда и зачем, очертя голову.

Долго бежал, пока не устал и не опамятовался. Бредёт тихо, думу думает.

– Всего добра – нож да корзина. Одежонка не самая тёплая. Куда мне бежать? Иль замёрзну ночью, или волкам достанусь. Вернусь в деревню. Будь что будет.

Только собрался развернуться, впереди колокольчик послышался.

Посторонился Иван, пропуская тарантас. А из леса такой свист вдруг раздался, что сердце похолодело. Выскочили на дорогу молодцы с топорами, облепили тарантас. Раздался выстрел, но не спас невезучих путешественников от горькой участи. От криков разбойников и их жертв трусливый Ивашка чувств лишился и рухнул на обочину. Может, именно это ему жизнь спасло.

Видать, и несчастье иногда запинается.

Очнулся парень оттого, что кто-то его за плечи трясёт. Глаза открыл, а над ним Мирон, из соседней деревни знакомец.

– Мирон! Так ты уж год, как пропал! Не чаял тебя в живых увидеть! А ты вон куда ушёл...

А разбойник захохотал.

– Вот гляди! Жив, как видишь. И ты жив будешь, коль с нами пойдёшь. А нет – не обессудь.

Иван обречённо побрёл вместе с ватагой разбойников, стараясь не оглядываться на разорённый тарантас.

– Видно, и несчастливей меня бывают... Хотя, ещё не вечер...

Мирон в ватагу не от лютоги пошёл, от нищеты да безысходности. Но быстро освоился среди разбойников. За год настоящим лиходеем стал, жестоким и безжалостным, совсем озверел от неустроенной да страшной разбойной жизни. Но знакомцу жизнь спас. Не было резона Ивашку убивать, что с него взять.

– Зима скоро, холодно да голодно. Жизнь у нас не сахар. Тут год за три идёт... Ещё годик поброжу, да и пристроюсь где-нибудь. С кубышкой-то заживу, – бормотал рядом Мирон.

А Иван слушал вполуха, а сам думал, как от лиходеев сбежать.

«Креста на них нет! Лучше сгинуть, чем душегубом стать».

Разбойнички в глушь, поближе к керженским зимницам пробирались, тут и промышляли. Пошаливали здесь уже давно, на их поимку целый отряд снарядили. Но злодеи о том ещё не ведали.

Шайка свернула в сторону от дороги, принялась добычу делить. Без ссор да криков в таком деле не обошлось. Так расшумелись, что не услышали, как отряд сыскной полиции окружил их со стороны дороги. Как увидели, схватили награбленное и пустились в бега.

Ивашке, без вины виноватому, выбора не было. Кто ж разбираться будет, как он в ватаге оказался. Бежать пришлось сквозь бурелом

да густые заросли колючих кустов. Вслед много стреляли, подгоняя беглецов.

Иван не оглядывался, бежал, что есть силы. Лес вдруг поредел, а потом и вовсе кончился. На край незнакомого болота выскочили Иван, Мирон и ещё семь разбойников. Болото, усеянное чахлыми маленькими берёзами и осинками, уходило в даль без конца и края. Мирон удивлённо ступил на изумрудный моховой ковёр.

– Кой шут! Откуда тут этакая тряси́на! Знать не знаю о таком.

Разбойники испуганно толпились на твёрдой земле, но близкие выстрелы заставили их шевелиться.

– Эй, пусть этот встречный первым идёт! За ним пойдём гуськом.

Все уставились на Ивана. Он сломал ветку, перекрестился и двинулся на болото.

– По солнышку пойдём. Поперёк чтоб, не может болото большим быть, никто о нём не слыхивал! – крикнул Мирон.

Чем дальше, тем страшнее становилось идти. Мох под ногами пружинил и чавкал, всё глубже засасывая ноги. На краю болота показались полицейские, пару раз пальнули для острастки, но в болото не полезли.

Иван задохнулся от бега, оглянулся вокруг. Вроде совсем недолго шли по болоту, а твёрдый берег как пелена завесила, не видать позади большого леса, только те же чахлые тоненькие деревца на кочках, усыпанных багряной клюквой. Пока оглядывался, Ивашку чуть не по колено в мох втянуло. Стал он прыжками двигаться с кочки на кочку. А позади крик слышался. Один из разбойников оступился, отскочил в сторону и угодил в топь. Крик ещё звенел в ушах ватаги, а об оступившемся бедолаге напоминали только пузыри над чёрным окошком болотной жижи. Иван больше не оглядывался, выбирал кочку на удачу и прыгал. Не могла вереница разбойничков теперь след в след за ним идти. Следы на кочках видны плохо, а у кого ноги коротки, не допрыгнуть. Каждый сам теперь судьбу испытывал. Страх – плохой попугачик. Один за другим вскрикивали погибающие разбойники. Самые суетливые первыми в тряси́не исчезли.

А у Ивашки сердце от радости ёкнуло, когда увидел впереди зелёные макушки высоких елей и сосен. Это ему силы прибавило. Без передыха добрался до твёрдой землицы на краю тряси́ны. Упал на усыпанную сосновыми иглами землю и заплакал.

– Впервые удача ко мне лицом повернулась...

Кроме Ивана до края болота добрались Мирон и ещё один из лиходеев, Нил. Остальные страшную смерть приняли в болотной тине.

Мирон, как на берег выбрался, принялся хохотать.

Иван со страхом смотрел на знакомца.

– Никак, умом тронулся с перепуга!

А Мирон из-за пазухи здоровенный свёрток достал. Вся ватажная кубышка при нём оказалась.

– Нет худа без добра! Теперь делить на двоих, богаче станем. Тебе, Ивашка, пока не причитается, не заслужил.

Беглецы отлежались, передохнули и в путь тронулись. Лес показался таким дремучим и буреломным, что решили они вдоль края болота идти, в надежде на тропинку набрести.

– Тут ягод разных видимо-невидимо. Значит, и тропа будет, ягодниками натоптанная.

Шли долго, а ни дорог, ни тропинок не встретили. Слева болото топкое, справа тёмный лес стеной небеса подпирает. Иван идёт, на солнышко поглядывает да бормочет.

– Чудно, братцы... Солнце нас кружит, что ли? Недавно слева было, а тут уже затылок греет...

Только сказал, запнулся за палку. Поднял, и побелел от страха.

– Мирон! Я с этой веткой по болоту скакал. Мы опять на то место вышли...

Сделали метки. Из последних сил прошли ещё круг. От чего ушли, к тому и воротились.

– Вот тебе и радость! Думал сена клок, а тут вилы в бок!

А время к ночи идёт. Кой-как развели разбойнички огонь, срубив большой ствол, возле него и грелись до утра.

С рассветом голод заморили сизой голубикой.

– Идти дальше – страшно. На той стороне и кочек-то мало – сплошная топь. И ослабли уже. Может, сначала остров осмотрим. Тут бы переждать, пока болото замёрзнет. По твёрдому льду и выберемся. Недолго уж, ночью инеем всё покрывалось.

Стали подельники в лес пробираться. Без топоров, что у лиходеев имелись, не вошли бы в чащу, так густо, плотно стояли огромные деревья с колючими сухими сучьями до самой земли.

– Всю жизнь в керженских дебрях живу, такой чащи не видывал, – удивлялся Иван.

Мирон ему вторил, работая топором направо и налево. Целый день беглецы рубили деревья, пробивая тропу сквозь дебри.

– А стволы-то будто железные, аж топор отскакивает, умаялись. Может, там и нет ничего другого? Что тогда?

Только сказал, срубил толстенный сук и вскрикнул. Впереди просвет образовался.

Выбрались все трое, словно стену преодолели. Лес стал редким, но не менее таинственным. Даже солнечным днём под сенью крон огромных деревьев царил полумрак. Под ногами не видно было ни травинки, землю устилали сухие хвойные иглы. А на них красовались невероятные, невиданные грибы. Разного размера, ярко-фиолетовые, синие, жёлтые, оранжевые, зелёные, ярко-красные в белый горошек, они светились и мерцали в полутьме, образуя множество кругов, завиваясь в разноцветные спирали. Зрелище заворожило и напугало Ивана и разбойников. Они смотрели под ноги и ступали осторожно, боясь наступить на непонятные создания. Грибной лес закончился так же резко, как стена из деревьев на краю болота. Перед измученными беглецами открылась большая почти круглая поляна с пожухлой травой, редкими осинками и кустами. А в центре блестело озеро. Небольшое, в зелёной раме из осоки, с абсолютно чёрной неподвижной водой. В ней, как в зеркале, отражались облака и макушки деревьев.

– Ну, хоть вода есть, – прошептал Иван.

– Ты чего шепчешь-то? – Мирон храбрился, но тоже оглядывался вокруг растерянно и удивлённо.

– Странно тут... И словно смотрит кто в спи...

Иван не закончил фразу. Все развернулись в сторону леса. Совсем рядом на высоком толстом пне сидел кот. Хотя назвать его котом язык не поворачивался. Огромный чёрный зверь величиной с крупную собаку наклонил лобастую ушастую голову и, не моргая, уставился на непрощенных гостей большими изумрудными глазами.

Иван растерянно прошептал.

– Какой красавец...

Кот прыгнул на землю, зашипел и сделал шаг в сторону Нила. Разбойник икнул от испуга, а потом вскинул топор и ринулся на зверя.

– Зарублю! Страшилище!

Иван, рискуя попасть под топор обезумевшего от страха разбойника, схватил Нила за рубаху, не пуская к коту.

– Зачем, Нил? Это просто кот, хоть и большущий.

Мирон молча смотрел на эту потасовку. Потом потрогал топор на поясе.

– Ну, кот и есть кот. А что большой – так это хорошо. Варева больше будет. А то тут даже грибов нет, одни поганки чудные. А торопиться некуда, прав Ивашка, пусть ещё позыркает глазищами, зверюга хвостатая.

Ивану показалось, что пушистое чудище понимает их слова. Котище перестал шипеть и не сводил глаз со своего заступника.

Разглядывая кота, беглецы не сразу заметили избушку. Маленький бревенчатый домишко, заросший лишайниками, с зелёной моховой крышей стоял на двух корявых пнях возле леса.

– А вот и зимница нам. Какая-никакая, а крыша, – обрадовался Нил, – только дверь-то где?

Мирон с сомнением оглядывал поляну.

– Изба – хорошо. Только вот еды и впрямь не видать. Живот уже к хребту приклеился от голода.

Мирон с Нилом кружились вокруг избы, а Иван всё никак не мог оторвать глаз от кота. Ему вдруг нестерпимо захотелось погладить зверя. Он несмело протянул руку и коснулся пушистой головы.

А кот вдруг вытянул шею и затарахтел невероятно громко, но вполне по-кошачьи.

– Красавец, Черныш! – Ивашка гладил чудище.

Невезение отвернулось от Ивана, ему опять повезло. Огромный кот не откусил протянутую руку, а принял ласку. Черныш потёрся о ноги мужика, как обычный мурлыка. Ивашка присел на замшелое бревно возле домика и обхватил себя руками, пытаясь согреться. Кот прижался к нему, положив огромную голову на колени. От зверя шёл такой жар, что Иван перестал дрожать.

Избушка смотрела дверью на плотную зелёную стену леса. Над дверью белели два лошадиных черепа.

Мирон первым забрался на высокий порог и дёрнул за корявый сучок, торчащий вместо ручки. Дверь со скрипом отворилась. На разбойника пахнуло таким спёртым и густым воздухом, что он свалился на землю.

– Ух! Ну и дух тут! Аж дыханье спёрло! Пускай повыветрится!

Первым на порог ступил Нил.

– Как же тут тесно. Как-нибудь разместимся!

В домушке пахло гнилью, грибами, прелой листвой и чем-то непонятным и странным. Снаружи домик казался просто малюсеньким. А внутри оказалась печь, стол с лавкой, полки по стенам, уставленные чёрными от старости горшками и плоскими, какие-то кадушки, корыта, метла. С низкого потолка свешивались связки сушёных трав и грибов.

Сквозь маленькое слюдяное оконце света проникало немного. Поэтому мужики не сразу заметили в ворохе тряпья на печи живое существо. Пока оно не зашевелилось, не чихнуло и не уселось на краю печки.

С печи свесились лохмотья подола и два больших бурых лаптя. Древняя, худющая, как скелет, обтянутый тёмной сморщенной пергаментной кожей, носатая старуха устала на непрошенных гостей.

– Фу, фу! Что за дух? Какого лешего? И кто это спать не даёт? Разрази меня гром, если не людишки пожаловали.

Голос у бабки был низкий и скрипучий. А глубоко посаженные глаза отливали красным и сверлили мужиков, как буравчики.

Разбойники от удивления дара речи лишились. Выскочили из домушки, отдышались.

Солнце отбросило последний луч на макушки сосен и скрылось за лесом. Темнота наступила быстро и укутала поляну чёрным пологом. Мужики с удивлением уставились на конские черепа на шестах возле двери. Они светились тусклым мертвенным зелёным светом.

– Жутко тут что-то. А старуха – прям чудище... Что с ней делать будем? – прошептал Нил.

Мирон, хоть и оглядываясь с опаской на скрипучую дверь, храбрился и страха не показывал.

– Чего шепчешь-то? Это страшилище лишайниками обросло! И не слышит уже, поди. Есть-то в ней нечего, да и отравиться боюсь. Но убрать её надо. Печку освободить. Места в избёнке всего ничего.

Мирон поёжился, взглядываясь в темноту.

– Холодища тут. До утра застынем. Сейчас надо. Ивашка, ты чего там скукожился? Надо со старухой разобраться. Иначе троим не разместиться. Давай ты, а то на холоде оставим!

Иван со страху совсем съёжился.

– Нет. Вы уж сами. Я тут, как-нибудь.

– Ну, уж нет! Бери топор, а то самого порешу! – зверем зарычал Мирон.

Но тут Черныш поднял голову и уставился на Мирона горящими в темноте глазами. Разбойник даже икнул со страха.

А Нил крепче ухватил свой топор и двинулся на кота.

– Эх! Семь бед – один ответ! Если этого зверюгу не зарубить, он нас сам загрызёт!

Ивашка вскрикнул и обнял кота за шею.

– Нет, Нил! Он ласковый!

– Оно и видно! Волчарой глядит!

Кот стремительно метнулся под ноги Нилу и схватил его за руку. Разбойник выронил топор и взвыл от боли.

– Ой! Зверюга! Руку отгрыз!

Из руки Нила капала кровь, он причитал и пятился от кота. А котище лязгнул зубами над топорищем и за раз перекусил твёрдую деревянную ручку, словно прутик.

Мужики замерли от страха. Даже раненый Нил примолк.

Иван перекрестился.

– Ничего себе... Вы уж не сердите кота-то. Ишь, зубы какие...

Мирон первым пришёл в себя.

– Ну, раз такое дело, придётся в тесноте переночевать. Может, по очереди спать? Не загрызёт нас эта страсть?

Мужики двинулись в домушку бочком и с оглядкой, боясь поворачиваться спиной к коту.

И застыли у порога – темнота кромешная. Мирон оглянулся на Ивашку.

– Иван! Череп с шеста возьми! Тебя зверюга не трогает.

Иван взял череп и передал Мирону странный светильник. В его холодном зелёном свете избёнка выглядела мрачно, но можно было разглядеть обстановку подробней. Всё свободное от большой печи пространство занимали стол да лавка. В правом углу у двери стояла большая деревянная кадка, а левый был завален кучей непонятных ве-

шей. Над ними был навес вроде полатей из пары широких досок, одним концом положенных на край печи, на которой со свистом похрапывала бабка.

Досок пола под ногами не было видно под слоем непонятного шуршащего мусора. В полутьме казалось, что в нём что-то шевелится.

Мирон со страхом поглядел под ноги и сразу уцепился за полати.

– Ну, вы как знаете, а я тут расположусь.

Но сразу же осёкся, увидев рядом горящие глаза кота. Зверь потёрся о ноги Ивана и легко запрыгнул на полати, словно приглашая за собой. Иван молча забрался на доски, а кот улёгся на краю печки между ним и свернувшейся калачиком бабкой.

Разбойникам ничего не оставалось, как делить стол да лавку. Дощатый грязный стол был коротковат, а лавка узка. После короткой перебранки Мирон, со злобой глянув на храпящую старуху, улёгся на стол. А Нил, вздохнув, устроился на скамье.

Череп, оставленный у порога, мигнул и почти погас.

Раздался дрожащий голос Нила.

– Мужики, глушь, ни образов, ни креста какого – уж не ведьма ли тут...

– Заткнись, накаркаешь, церковник нашёлся, – цыкнул на него Мирон.

Измученные мужики забылись в тревожном сне. Но не все. Мирон ворочался на своей прокрустовой лежанке и ворчал.

– Сразу надо было, засветло, страшилище порешить. И зверюгу её.

Наконец, он решился. Спустился со стола, сжал покрепче топор и стал шарить рукой на печи, пытаясь понять, где бабка. В полутьме сверкнули два кошачьих глаза и раздалось страшное шипение. Спина у Мирона покрылась холодным потом. Он мигом запрыгнул обратно на стол и затаился, как паук в паутине.

Едва забрезжил рассвет, Мирон и Нил, зевая и почёсываясь, выбрались из душной тёплой домушки. Воздух был ледяным, а на траве поплёскивал иней.

Нил стонал, поглаживая распухшую прокушенную котом руку, и весь чесался.

– Господи, еле пережил эту ночь. Лавка узёхонькая, падал с неё во сне раз пять. А на полу живность кишит, не пойми кто. Вот, глянь, раздавил ночью!

Он показал зажатое в кулаке насекомое.

– Ничего себе! Клопище с целковый размер, толстый, как орех! Как не сожрали меня насмерть за ночь! Давай меняться через ночь! Нынче я на столе лягу!

Мирон криво усмехнулся.

– Ну уж нет. Да на столе радости тоже немного. Ноги не вытянуть. Печь надо освободить. Ванька встанет, заставим его увести подальше зверюгу. Никого так не боялся, как этого котищи. Но сначала кубышку зароем.

Разбойники выбрали приметную раздвоенную сосну и, орудуя топором, закопали награбленные разбойничьей шайкой сокровища у её корней.

Потом долго слонялись по поляне в поисках хоть чего-то съедобного.

– Там и ухват есть, и горшок. Только варить нечего. В животе урчит от голода, – бормотал Нил.

А Мирон нарезал круги возле леса.

– Как так? Какого ляда? Нил, где тот проход, что мы прорубили? Не нахожу!

Они вместе бродили в сумраке деревьев. Просека в стене леса исчезла.

– Ладно! Новый прорубим! – зевнул Нил.

– С одним топором труднее будет! Там у болота хоть грибы поздние были и ягоды. А тут – ничего, хоть шаром покати.

Мужики уселись на бревно возле избёнки. С каждым часом голод становился всё невыносимей. Нил беспрерывно чесался и ныл.

– Он там живой хоть, Ванька-то? Спит, хоть бы что! А мы тут маемся.

Мирон вдруг вспомнил про бабкины заготовки.

– Слушай, там же в избе связки грибов сушёных! Хоть какая, а еда. На первое время. Когда ещё эта болотина замёрзнет!

– Точно! Правда, вид у них странный. Может, не один десяток лет висят... Да что им сделается! Пыль стряхнём и сварим.

На зависть разбойникам Иван проснулся отдохнувшим и не покусанным. Мирон сунул ему в руки горшок.

– За водой сходи, а мы за хворостом.

У озера были деревянные мостки. Иван загляделся на воду, ему показалось, что озеро невероятно глубокое даже у берега.

Огонь в печи, на удивление Мирона, разгорелся с одной искры. Мужики откопали в углу ухват и сунули в печь горшок с грибами. От кипящей похлёбки избёнка наполнилась грибным духом. Бабка на горячей печи заворочалась и перестала храпеть.

– Ну и горазда спать эта старая карга! Не ест, не пьёт, знай себе храпит. Спячка у неё, ишь ты!

– А чё, похлёбка вкусно пахнет, жаль, соли не нашли, – глотая слюны, радовался Нил.

Три деревянные кленовые ложки нашлись среди глиняных плошек, чёрные и отполированные от времени.

Как только горшок оказался на столе, старуха вдруг приподнялась, легко соскочила с печи и уселась на лавку рядом с Нилом. Разбойник прижался к стенке, но оттолкнуть бабку не решился, он боялся её больше, чем кота со стальными зубищами.

Мирон уставился на парочку напротив и усмехнулся.

– Ишь ты, шустра старушенция! И ложку уж схватила!

Бабка первой принялась за похлёбку.

Мирон и Нил с опаской попробовали варево, поморщились от странного вкуса. Но голод заставил глотать скользкие куски.

Иван снял со стены связку пыльных грибов, долго рассматривал, нюхал. И повесил обратно.

– Чудные какие-то грибы-то. Вы хоть много не ешьте. Мало ли чего...

Но разбойники и старуха опустошили горшок.

Бабка сытно икнула, расплылась в устрашающей улыбке, поднялась и одним прыжком забралась обратно на печь. Было в этом движении что-то настолько нечеловеческое, что даже Мирон покрылся мурашками.

– Ишь, как блоха скачет. А на вид – в чём душа держится...

Бабка не мигая уставилась на Мирона и проскрипела хриплым голосом.

– Ладно, шебуршитесь пока. Мяса наваришь, буди.

Старуха перевела взгляд на кота.

– Приглядывай тут, царапалка!

Бабуля смачно зевнула, свернулась калачиком и тут же захрапела.

Мирон уставился на старуху, перевёл взгляд на свой топор. И уже протянул к нему руку, но услышал такое шипение за спиной, что в страхе выскочил из избы.

Варево набило желудки, на время приглушив чувство голода. Но через час-другой от мнимой сытости следа не осталось. В животах разбойников урчало и бурлило, к тому же в глазах стало двоиться, головы закружились. Мирон и Нил, покачиваясь, сидели на лавке, шатаясь выходили до ветру, что-то тихо бормотали и смотрели друг на друга и на Ивана пристально и злобно. Им мерещились то куски мяса на столе, то каравай хлеба, и они засовывали в голодные рты пустые твёрдые ложки, скрежетали зубами и стонали от своих видений.

Иван, сам ослабевший от голода, с ужасом смотрел на происходящее. К тому же в наступающей темноте он вдруг увидел, что глаза Мирона и Нила светятся красным светом. Ивашка замер от страха на своих полатях.

– Вот тебе и грибы... Совсем обезумели... Страшно. Нельзя мне спать. Котик, помоги.

Кот не покидал своё место, охраняя Ивашку и бабу. Иван покачивался, крутил головой, клевал носом, сознание меркло, глаза слипались и неустойчивый, необоримый сон погрузил его в пелену беспомощности.

Пробуждение было резким и тревожным. В окошке брезжил рассвет.

В ушах стоял крик Мирона. Он сидел на столе, обхватив живот и стонал.

– Ой! Ой! Есть хочу-у-у.

У Ивана по спине пополз холодок.

«Никак, опять на кого нацелился».

Ивану понадобилось выйти из избы. Со страхом оглядываясь на разбойников, он выскочил на воздух. И с облегчением вздохнул, увидев рядом заступника кота.

– Спасибо, Черныш! Если бы не ты, уже загубили бы меня разбойники! А так – от голода сгину...

Кот потёрся о ногу Ивана и исчез в серой рассветной туманной мгле. Мужик испуганно озирался, на глаза навернулись слёзы.

– Куда ж ты, котя!

Из двери показался Мирон. Он сверкнул красными глазами, вытащил из избы кадку, поставил на землю и со злобной улыбкой уставился на Ивана.

– Ишь, как холодно. Хорошо сохранится.

– Что – сохранится? – у Ивашки зуб на зуб не попадал от страха и от холода.

– Так мясо. В кадку сложим. Ванятка, у Нила рука распухла. Всё равно не жилец. Так мы ему и поможем.

Мирон шагнул к Ивану, тот вскрикнул и отбежал в сторону. И чуть не столкнулся с мокрым котом. Черныш положил перед ним то, что держал в пасти.

– Это мне? Это съедобно?

Иван разглядывал четыре мокрых чёрных шарика, похожие на орехи, величиной с некрупную картошку.

Оболочка легко отделилась. Иван лизнул, потом надкусил шарик. Вкус был ореховый и сладковатый.

– Спасибо. Вкусно. Ты что мокрый весь? Это в озере растёт?

Кот понимающе кивнул.

– Надо мужикам сказать, пока не поубивали друг друга!

Но было уже поздно. Из домушки вышел Нил. И сразу заподозрил неладное.

Он закричал и бросился бежать в сторону озера. Мирон бежал следом, размахивая топором.

– Нилушка! Не беги, сразу и отмучишься! Я и кадку припас!

Нил добежал до озера, заметался на мостках и упал в воду. Даже крикнуть не успел, просто скрылся под водой, только круги разошлись.

Мирон вдруг завыл. Он рычал по-звериному, ругался и грозил озеру, отнявшему добычу.

А потом обернулся в сторону Ивана.

Иван попятился, ноги вдруг ослабели, он не мог сделать ни шага и испуганно забормотал, протягивая Мирону орех.

– Мирон! Не дури! В озере орехи есть! Выживем на них!

Мирон сверлил мужика безумным взглядом, облизываясь приблизился к земляку и занёс топор над его головой.

Кот сидел у ног Ивана, спокойно глядя на разбойника. А тут вдруг издал такой странный громкий звук, от которого Мирон запнулся и удар топора пришёлся не на темя Ивашки, а на собственную ногу злодея. Из сапога хлынула кровь. Мирон взвыл и закрутился волчком от боли.

А над озером вдруг появилась белая прозрачная пелена, она клубилась над водой, уплотнялась, приняла облик Нила и поплыла к лесу. Совсем обезумевший Мирон, хромая и невозможная боль, бросился за призраком.

– В кадку! В кадку! – орал убийца.

Иван вдруг увидел, что стена леса поредела и показалась прорубленная разбойниками просека. Он растерялся. То ли бежать за обезумевшим Мироном, то ли нет. Кот первым бросился к лесу, увлекая за собой Ивана.

Выскочив из просеки на край болота, Иван успел увидеть, как мечется среди кочек Мирон, гоняясь за туманной фигурой Нила. Призрак замер, на миг обняв разбойника. И исчез в болотной жиже вместе с ним. Болото издало странный долгий звук, похожий на стон, от которого Иван весь покрылся липким потом. И настала глухая, ватная, тяжёлая тишина.

Иван оглянулся на лес. Просека вновь исчезла. Обессиленный голодом и ужасами этих дней, он стоял на краю болота, припорошенного снежком и оттого – ещё более страшного и коварного.

– Не дойти мне. Я и прыгать-то теперь не смогу. И не видать ничего под снегом.

Но кот вдруг неторопливо пошёл по болоту, оглядываясь на Ивана. Тот двинулся за зверем, ступая по цепочке следов на первом снегу. Так, петляя, и добрались до коренного берега с высокими соснами. Иван обнял кота, погладив ушастую голову.

И вздрогнул от странных звуков. По болоту неслась изба. Та самая, что дала им приют на болотном острове. Она бежала на корявых ногах-пнях, словно встревоженная курица. Кот помчался ей навстречу, вскочил на порог. И изба с её обитателями исчезла из виду.

Иван вцепился в сосну, перекрестился и застонал.

– Да что это? Что это было?

Но думать об этом было некогда. Мужик торопился выбраться из леса.

Ивану опять повезло. Вышел на дорогу и тут же набрёл на лошадь с телегой. Знакомец из ближней деревни, увидев Молодцова, так перепу-

гался, что выронил вожжи и заикаться начал. Успокоился только тогда, когда Ивашка перекрестился да заговорил.

От встречного знакомца Иван, укутанный в старую рогожу, покачиваясь на ухабах на тряской телеге, узнал деревенские новости.

Оказалось, что все свои мытарства он зря претерпел. У преступления Федота в лесу свидетель нашёлся, так что никто Ивашку в убийстве Петра и не подозревал. Наоборот, пропавшего Ивана Молодцова все тоже убитым посчитали. И никто уж не чаял его в живых увидеть.

Возница высадил беглеца на развилке дороги за пару километров от родной деревни.

Откуда и силы взялись, чуть не бегом спешил Иван домой. А из придорожных кустов прямо ему под ноги чёрный комок выкатывается. Маленький жалкий чёрный котёнок жалобно мяукнув, прижался к ногам мужика.

Иван с удивление разглядывал найдёныша.

– Да откуда ты тут? Ишь, как на Черныша похож, зеленоглазый! Только малюсенький совсем. Да не трясись, не брошу! Как сажей вымазан, будешь Сажик.

Он сунул за пазуху дрожащего котёнка.

– Всё не пустой приду. За грибной добычей уходил. С ушастой вернусь.

Вся деревня дивилась возвращению Молодцова домой. А отец с матерью от радости и смеялись, и плакали. Не чаяли уже дожидаться кормильца-сына.

И вот ведь что чудно. Словно на том страшном болоте повернулась к Ивану судьба другим боком. Удача и счастье в дом пришли и наполнили жизнь светом да радостью. И работа спорится, и жена нашлась по душе да по любви, весёлая, добрая и работающая.

А ещё вся деревня на кота Ивашкиного дивовалась. Из заморыша превратился он вскоре в огромного зверя, с собаку хорошую величинной. И повадки – не кошачьи. Охранял Сажик хозяина денно и ночью, словно службу нёс. И в поле, и в лесу, и в доме. Вся округа кота боялась и уважала. А Иван к нему, как к верному другу относился. И разговаривал часто, и про Черныша – спасителя своего рассказывал.

– Ты, Сажик, уж не сынок ли Черныша? Это он тебя прислал, я знаю.

Иван не удержался, рассказал соседям про свои злоключения. Кто у виска покрутил, а кто и поверил. Слухом земля полнится. Кого чудеса удивляли, а кому разбойничье золото по ночам снится стало. Многие то болото искать принялись. И вроде как нашли. Только оно быстро подсохло, такой топи уж не было. А вот остров с дебрями посередке остался, и даже сруб замшелый полуразрушенный нашли. Место это кордоном Братки стали звать. Оставили разбойнички памятку о себе в керженских лесах.

Кордон – пограничная охранная застава лесов и болот. Или граница другого мира, параллельного, неведомого и непознанного?

Далось ли кому несправедное богатство разбойничье или нет – то неведомо. Только если и далось, счастья точно не принесло.

Иван Молодцов чужого добра не искал. Своим довольствовался. Руки чистые, сердце доброе. Сам себе рад, в семье лад, вот и клад!

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках.

Стихи переведены на различные языки. Награждён медалью Кирилла и Мефодия за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012). Живёт в Коктебеле.

СМОТРИШЬ – И ВПРАВДУ ЗАБРЕЗЖИТ ВДАЛИ...

* * *

Сухим ореховым листом
Упал под ветром час полдневный, –
Ты скажешь: в мире непросто
Есть некий глас, глухой и древний.

Его нельзя не прогневить
И не услышать невозможно,
Когда решишь благословить
Всё то, что в сердце столь тревожно.

В неизъяснимости дыша,
Едва восстав из сновидений,
Ещё препятствует душа
Наплыву новых впечатлений.

Когда ж решится приоткрыть
Неплотно запертые двери,
Уже смирится – так и быть –
С невозвратимостью потери.

Что это было? – что за звук,
Первоначальный и мгновенный? –

Как птица, вылетев из рук,
Он рвался к дали незабвенной.

Быть может, редкое письмо
От небожителей с Востока? –
А может – пусть оно само
Расскажет, как нам одиноко.

Ушло, ушло оно – куда? –
Ведь так стеноло и дышало! –
Ушло, исчезло без следа, –
Ищу – и нет его, пропало.

Так воды вешние сошли
Куда-то в глубь земли великой –
И рвы бурьяном поросли,
Увились стены повиликой.

Так, образуясь в тишине,
Под ветром тает одичалым,
Как очевидец в стороне,
Тепло над градом обветшалым.

Ещё немного – и уйдёт,
Смутит, стеснит, впадая в дрёму,
А там – ну кто его поймёт? –
И нет пристанища былому.

* * *

Нам не вспомнить, зачем в ночах
Появились они из детства,
Отягчая плечей размах,
Точно призрачное наследство.

Потаённой соседства птиц,
Засыпавших в кустах и кронах,
Белизна изумлённых лиц
Отражалась в очах влюблённых.

И на платьях, жасминно-бел,
Цвет неистовой пел в объятьях,
Чем представить восторг умел,
Захлебнувшийся в восприятьях.

Смысл событий и суть вещей
Открывались во мгле кромешной,
Где поспешность была плащцей
Неизбежной любви прибрежной.

Восставали за валом вал,
Исступлённое мела в черни, –

Там на воле давали бал,
Домогались земли дочерней.

В море гул оставался цел,
На земле исцеленья ждали –
И тогда я взглянуть посмел
На открытую сцену дали.

Там сверкала призывов тьма
И мерцала надежд армада –
И сводили меня с ума
Светляки на подмостках сада.

Их теперь не найти нигде –
Заблудившись в иных канунах,
Топят девы в ночной воде
Ярый воск отражений лунных.

* * *

Как бы сказать мне о той, что любил,
Что возратить не сумею?
Как я себя обречённо губил,
Маясь с душою своею!

Память о ней, породнясь со звездой,
Мне освещала дорогу,
Выйдешь – и обе стоят над водой, –
Господи, как это много!

Кровной ли тайны спасительный взгляд
Сердцем ловил, замирая?
Словно сквозь пламя бредёшь наугад,
Вспыхнув – а всё ж не сгорая.

Что это было? – какую же связь
Чуял, томимый бедою?
Обе сияли, над миром склоняясь,
Память – с высокой звездой.

Обе хранили и обе вели –
Дальше, туда, где светало, –
Смотришь – и вправду забрезжит вдали, –
Надобно было так мало!

Кто мне вернёт эту память сейчас
Вместе с подругой-звездой?
Ищешь, и – пусто, и – слёзы из глаз,
Полночь – да небо седое.

* * *

Как мученик, верящий в чудо,
На острове чувства стою –

И можно дышать мне, покуда
Всего, что могу, не спою.

И вместо кифары Орфея
В руке только стебель сухой –
Но мыслить по-своему смею,
Затронутый смутой лихой.

И кто я? – скажи-ка, прохожий,
Досужую выплесни блажь, –
У нового века в прихожей
Ты места спроста не отдашь.

А мне-то жилья островного
Довольно, чтоб выстроить мост
К эпохе, где каждое слово
Под звёздами ринется в рост.

И всё-таки зренье иное
Дарует порою права
На чайные в мире земное,
Чьим таяньем почва жива.

* * *

Развевались листья, осыпались розы
В саду беспокойном твоём,
На том берегу, где житейские грозы
Встречать вы привыкли вдвоём.

Ещё не отвыкли вы трогать спросонок
Ладонь, что струила тепло,
Но яд расставанья замедленно-тонок –
И что-то, однако, прошло.

Никто не спасёт и никто не отыщет
В жестокой вселенской глуши,
Как дождь ни бормочет и ветер ни рыщет –
А встречи и так хороши.

Никто не навяжет чего-то такого,
Что души бы ваши спасло,
Никто не обяжет легко и толково
Сказать, что и вам повезло.

Прощанье ножами по коже проводит,
Когтями скребёт по хребту –
И вам не до сна – но никто не уходит
Куда-то туда, за черту.

Разлука слоёные бусины станет
Низать на смолёную нить –
И счастье, приблизившись, разом отпрянет,
Чтоб вместе его сохранить.

* * *

Ночью прислушайся: что тишина?
Где притаилась пред гомоном утренним,
Чтобы, глаза открывая со сна,
Помнить в покрове её целомудренном?

Нету плащей, чтобы плечи укрыть,
Пояса нет, чтобы стан её скрадывать, –
Ни приютить, ни позабыть –
Волосы трогать да веками вздрагивать.

Эта походка да тропка в саду –
Где я их видел? – ужель не припомнятся?
Ни при звезде, ни на беду, –
Только уйдут и другим не восполнятся.

Или представиться случая нет?
Ах, мы знакомы? – конечно же, милая!
В этих скитаньях – забытого след,
В памяти – свет, а не ноша постылая.

Так ли? – спрошу-ка опять у души –
И отвечает крылатая спутница:
Ты не спеши – все мы в тиши –
Это и радость, и Матерь-заступница.

Ника БАТХЕН

Родилась в 1974 году в Ленинграде. Работала в парикмахерской, магазине обуви, гостинице, на бензозаправке. Училась в Литинституте им. Горького. Выпустила двенадцать авторских книг и две в соавторстве. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «45 параллель», Prosōdia, «Идель», «Аврора», «Перископ», «Северная Аврора», «Брега Тавриды», «Зарубежные записки», «Дети Ра», «Огни Кузбасса», «Дарьял» и других.

Лауреат Грушинского интернет-конкурса, лауреат премии «Поэт года» от РСРП, фестиваля «Покровский собор», дипломант премии имени Дельвига.

Живет в Москве.

ЗАКОН ОДУВАНЧИКОВ

Слово о полку

Игорев полк поднимается по тревоге.
 Вороги на дороге, в оврагах волки,
 Вот бы шеломом водицы черпнуть из Волги ...
 Небо исчерчено росчерками снарядов.
 Смерть – рядом.
 Дикое поле скалится. Укреплений
 Хватит еще на несколько поколений.
 Богатыри не становятся на колени.
 Половцы и хазары торгуют газом...
 Вдарь разом!
 Курсом из Курска к ржавой подкове Суджи,
 Красное знамя ветер восточный сушит.
 Княже, ты слышал – битва идет за души?
 Тонные танки буксуют в кровавой каше.
 Отче... Наши!
 Рыжий скрипач на крыше палит наотмашь.
 Сколько уйдет сегодня – потом не вспомнишь.
 Бой переваливает за полдень, потом за полночь.
 Пот заливает глаза и пропитывает разгрузки.
 Свой?
 Русский.

Н в квадрате

Город, горький словно корочка померанца,
 Не смотрит в ранцы, не считает желуди и каштаны.
 Прячет тайны в руинах, глиной рихтует раны.
 Говорит «радио», подразумевает «рация».

Говорит «самолет», строит чайку, протягивает канатку –
 Плати монетку, лети на небо, над байдарками, островами –
 Они пахнут сухими травами, недосказанными словами,
 Они не слышали канонады – только салюты
 И гудки пароходов и ворчливую речь баржей...
 Чужаков город выталкивает взашей,
 Оставляет самых живучих, въедливых или лютых.
 Или ветреных, прополосканных Окою до наготы.
 Двухэтажность, пространственность, вещьность и обветшалость
 Декларируют – праздно, поздно, забудь про ш/жалость,
 Готы Гардарики с матом идут на ты.
 Горчат осенние неласковые цветы.
 Ветки ломаются под тяжестью желтых яблок.
 След парохода спутал проворный ялик.
 Горний Новгород пропасти перековывает в мосты,
 Хочет спасти всех и каждого, но хватает на пару кошек,
 Пару ветхих домишек, пару трамваев красных.
 Нежность города – чувство сделанное из гласных,
 Поэтому он ломает надвое, но не крошит.
 Я выдыхаю лето.
 Вплываю в завтра
 Окаменелым скелетом
 Некрупного динозавра.

Закон одуванчиков

Завершать и растрчивать – право больших и сильных.
 Одуванчик не знает о газонокосилке.
 Он растет, наливаясь желтым, кокетничает с пчелой.
 А потом раз – и долой.
 Красота становится жухлым сеном.
 Россыпь выстрелов не дает устояться стенам –
 Дом с балконом родился до первой неправильной мировой,
 Пережил казаков и немцев, мыркал окнами – я живой,
 А потом в одночасье обернулся грудой битого кирпича,
 На каждом – печать завода.
 Забота слабых – прибираться, лечить и чистить.
 Улыбаться неверному свету звезды лучистой.
 Подвязывать ветки, высаживать гиацинты,
 Вместе с кошкой и голубем устраивать что-то навроде цирка –
 Пусть посмеется бедная малышня.
 Право ночи сильнее закона дня.
 Жизнь срезают под корень – просто так, по пути на бойню.
 ...Курлыкают горлицы – в городе все спокойно.
 Подле моря играют в салки седые мальчики.
 На развалинах распускаются одуванчики.

Пристань

Яхты Ялты волны торят,
 Чайки плачут, ветру вторят.
 Остановлена канатка.

Так и надо.
Так и надо.

Тают облачные шали.
Князьки дачи обветшали.
Старый доктор бродит молом,
Смотрит в море.
Смотрит в море.

Переулочки, ступеньки,
Хрип шарманки, чье-то пенье.
Шар воздушный на афише.
Небо выше.
Небо выше.

Фонари горят неярко.
Яхта в Ялте бросит якорь.
Ночь напишет на причале
«Утоли моя печали»...

Инга СОКОЛОВА (МАЦИНА)

Родилась в 1984 году в городе Горьком. Окончила Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, филологический факультет. Работала в сфере журналистики.

Пишет стихи и прозу. В году стала лауреатом фестиваля «Молодой Литератор-2» (2007) в номинации «Проза», в 2008 году – опять лауреатом, но уже в номинации «Поэзия». Финалист «Илья-премии» (2008).

Живет в Нижнем Новгороде.

ОСЕНИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ОСЕНЬЮ...

Покров

Я застряла в перепутьях строк,
И не кровь бежит в аорте – олово.
Батюшка-Покров, накинь платок
На мою растрепанную голову.
Господи, дай мне немного сил,
Плечи осени крылами зримыми –
Долететь. Хотя бы доползти
К своему далекому любимому.
А еще сегодня выпал снег
Из прорехи в небе – рваной просини.
А еще я умудрялась петь
О безмолвно уходящей осени:
Знаю, ей, бесспорно, вышел срок,
Так зачем веду нетвердо соло я?..
Батюшка-Покров, накинь платок,
Остуди мою больную голову...

* * *

Осени меня, Господи, осенью –
Надышаться я ей не успела.
А мне хочется, а мне просится
Каждой клеткой души и тела:

Листьев шелеста под ботинками
И рябины кровавых ягод.
Осени меня. И прости меня...

Но не листья под ноги лягут –
Карта трещин асфальта серого

Припорошена первым снегом,
Зима нынче выдалась смелая –
Ворвалась сразу в лето с разбега.
И без шороха, и без шелеста,
Без рубинов рябин под инеем,
Все вокруг слабо пахнет вереском,
На ветру простывшей полынью.

А мне хочется, а мне просится
Каждой клеткой живого тела:
«Осени меня, Господи, осенью –
Надышаться еще не успела...»

* * *

Пустота.
Ноет там, где было ребро.
Седина в голове.
Нет ребра – только бес.
Только голос с насмешкой:
«Сорри уж, бро,
я отныне сама по себе.
Я с тобою срасталась тысячи лет,
прорастала внутри,
знаю, где у тебя болит.
Было “мы”,
но теперь этой связи нет –
пресекла пуповину Лилит.
И стираются грани –
где зло,
где добро,
где любовь –
но сейчас, милый друг, не о том.
Проросла сквозь тебя,
и твоё ребро
для меня теперь станет хребтом.
Не из праха земного я,
я – из огня,
и внутри у меня бури, искры и гром.

...Ты из сердца навеки вырвешь меня.
Я тебя сохраню
под ребром».

Жатва

Земля не терпит суеты –
Земля потребует терпения.
Ты вырастишь свои цветы,
ты соберёшь свои плоды,
внеся под корень удобрения.

Земля не терпит громких слов –
Земля потребует молчанья.
Ты грозди соберёшь плодов
и ты пожнёшь свою любовь,
лишь только приложив старанье.

Земля не терпит суеты,
Земля не терпит лишних взоров.
Ты соберёшь свои плоды,
ты возведёшь свои мосты,
надёжно выстроив опоры.

Ты каждый обожжёшь кирпич,
заточишь каждое орудье,
и сонный сбросив паралич,
издав победный звонкий клич,
к Земле прильнёшь открытой грудью,
открытым сердцем к ней прильнёшь,
и чувствуешь её, и знаешь,
стряхнув с себя любую ложь.

... И сверху льётся теплый дождь,
и через Землю – прорастаешь.

Созреешь ты – тогда придёт
с серпом своим слепая Жница.

...И ты уйдешь в забытый Род,
хотя ты знаешь наперёд,
что ты уйдешь, чтоб возвратиться.

Из будущих книг

Варвара КУРИЛКИНА

Родилась в 1999 году в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Нигде ранее не публиковалась. В 2024 году вошла в лонг-лист премии «Лицей» с повестью «Тихая охота». Живет в Дзержинске.

ТИХАЯ ОХОТА

Фрагмент повести

Всю жизнь Аня Каневас шла к тому, чтобы стать счастливой. На этом пути, по её мнению, было три ключевых события.

Первое произошло незадолго до её десятилетия. Они с мамой тогда только переехали к бабушке и дедушке в посёлок Белые Бугры в пятидесяти километрах от Нижнего. Аня не успела завести друзей и чувствовала себя жалкой одиночкой. Конечно же, она не могла не искать себе развлечение, которое могло бы занять её и физически, и ментально. И нашла – качели. Эта конструкция дарила море впечатлений при минимальных усилиях: только и делай, что прорезай ногами незащищённую пустоту. Аня со временем подседала на эйфорию от полёта, и её запросы выросли; даже дедушка уже не мог раскачивать её так, чтобы живот скрутило от волнения. Тогда ребята со двора подсказали, что можно кататься стоя на спинке. Перед ней открылось другое измерение! Небо приблизилось, и с каждым толчком Аня чувствовала себя птицей, готовой взмыть вверх. Однажды она в это поверила и решила перестать держаться руками за качели.

Падение было обжигающим. Всё ещё не осознавая его, Аня приподнялась и села на колени. По всей площадке пронёсся странный звук: не крик, а самое его начало, когда рот открывается и воздух лишь слегка тревожит голосовые складки. Он прозвучал на мгновение и утонул в тишине. Аня подумала, что от удара о землю у неё отвалились уши, но нет, шаги взволнованного дедушки она слышала прекрасно. Неожиданно девочка опомнилась: а где же качели? Повернувшись, она обомлела: седушка с заострёнными краями остановилась в десятке сантиметров от её шейки. Лишь спустя несколько секунд Каневас увидела, что глупая железка не собирается никуда двигаться и отрезать ей голову. Её удерживал мальчик лет тринадцати, кудрявый, черноволосый, одетый

в бежевый костюм. Он тяжело дышал ртом, демонстрируя ряд зубов, облепленных брекетами. Глаза, полные паники и глупой смелости, неотрывно смотрели на спасённую девочку. Пальцы, обхватившие ручку качелей, были готовы затрещать.

Аня продолжала сидеть на коленях и не могла наглядеться на своего спасителя. Он буквально пах комфортом и безопасностью. Опрятный, сильный, господи-боже-как-у-него-не-отваливается-рука, накрывающий её своей тенью. А ещё пристально глядящий в ответ.

Когда дедушка привел её, грязную и исцарапанную, домой, она заявила, что нашла себе мужа. Бабушка, видимо, не оценила таких фантазий и принялась с особой силой прижимать ватку с йодом к ранкам. Но это оказалось правдой.

Второй эпизод случился спустя шесть лет, в непростое время, когда она решила пойти в колледж после девятого класса. Володя Галактионов, тот самый мальчик с качелей, вырос, поступил в политех и был готов снимать квартиру вместе с Аней. Однако в этот вопрос вмешалась его мама, считавшая, что сын должен найти себе девушку постарше и посolidнее, а не содержать «деревенскую малолетку» (стоит упомянуть, что в этой же «деревне» у Володиной семьи стоял приличный загородный дом, в котором они проводили добрую половину года). Чтобы доказать свою состоятельность, Аня пообещала найти работу и, в общем, довольно быстро это сделала: устроилась администратором в маленькую гостиницу «Заходи». Платили так себе, но на скромную жизнь в Нагорной части Нижнего хватало.

Гостиница была двухэтажной, с тонкими стенами, деревянной лестницей и потрясающими зелёно-красными дорожками в коридорах. В номерах устойчиво пахло сигаретами и хозяйственным мылом, а под табличкой «Не курить!» стояли пепельницы. Проверять, хорошо ли закрыта дверь, в этом месте не стоило: один раз Аня дёрнула её на себя, и вместе с дверью качнулась вся стена в коридоре. Зато здесь не случилось драк и дебошей, а немногочисленные пьяные гости ограничивались хамством и непристойными предложениями в адрес персонала. Ане, кстати, доставалось меньше всех, и то за внешность – однажды пьяный постоялец обозвал её «овечьей мордой» – и, надо сказать, обидел, потому что описал её лицо предельно точно. В основном же алкаши тушевались из-за высокого роста и острых ногтей и потому старались лишний раз не открывать рот в присутствии «этой белобрысой дылды».

Хозяйкой гостиницы была душевная женщина средних лет, заставшая времена нищеты и беспредела и оттого знавшая, что небогатую, но бойкую молодёжь нужно поддерживать. Аню она не могла официально оформить из-за возраста, но в работе не отказала и даже предоставила ей и ещё нескольким девчонкам из рецепции и кафетерия комнату, чтобы отсыпаться после тяжёлых смен.

Единственным минусом было то, что хозяйка не позаботилась о безопасности постояльцев. Двери в номерах запирались только на ключ; о картах и автоматической блокировке в гостинице никто не слышал. Аукнулась такая безалаберность именно после Аниной вечерней смены. Они с коллегой Иркочкой жили на одной лестничной клетке и договорились поехать домой вместе, но Аню то и дело отвлекали девчонки из кафетерия, а Ира, мать-одиночка, была тем человеком, который всё время должен находиться в движении, чтобы не замереть навсегда. Болтовня и сидение на стуле быстро сморили её, и она отошла в комнатку,

выделенную начальницей, чтобы подремать. Аня продолжила сидеть в кафетерии и выслушала самый большой поток сплетен в своей жизни. Спустя час, когда доходило одиннадцать вечера, она решила, что пора будить Ирку и вызывать такси.

Комнатка, где спала Ира, находилась на втором этаже в самом конце коридора. На лестнице Аня столкнулась с незнакомым парнем в белой футболке и солнцезащитных очках. Парень присвистнул: «Эй, познакомимся?», на что получил ответ в виде среднего пальца, но, кажется, не расстроился и, поправив рюкзак на плече, продолжил путь вниз.

Едва дверь в комнату открылась, Ирка подскочила на кровати и вытаращила и без того огромные глаза.

– Ты опять переделалась?! – эти слова были сказаны нечеловеческим голосом – скорее всего, она не до конца проснулась.

– Чего? Ир, доброе утро, нам ехать пора.

– Куда?.. А, точно... а где твоя футболка?

– Какая? Я с самого утра в платье.

– Нет же... ты заходила недавно, искала что-то на столе... белая футболка на тебе была...

– Ир, клянусь тебе, я сидела с девчонками. Наверное, тебе просто привиделось. Собирайся, а я пока вызову такси. У тебя же был номер?

– Да, да, сейчас... – Ира подорвалась с кровати и начала судорожно водить руками по столику. – Твою ж...а где телефон-то?..

Никогда ещё факты не складывались в Аниной голове настолько быстро. Белая футболка, телефон, рюкзак, пару минут назад. Мысли отключились, во рту пересохло; Каневас выскочила из комнаты и помчалась вниз. Ей повезло – тот парень с очками только-только приоткрыл дверь на улицу. Она настигла его за секунду, буквально слетев с лестницы. Тёмные очки оказались на полу и разлетелись на куски под ударом ноги. Парень, не ожидавший такого, удивлённо уставился на Аню, однако быстро взял себя в руки. Оттолкнув девушку, он выскочил на стоянку. Аня дёрнула за ним.

На самом дальнем парковочном месте стояла пустая «девятка», к ней воришка и прибежал. Не успел он щёлкнуть ключами, как в его спину вонзились острые ногти. Парень взревел и попытался вывернуться, и тогда его схватили за волосы, как какую-то провинившуюся собаку.

Дальнейшее Аня помнила слабо. Её пальцы испачкались в крови и ужасно пахли. Она была выше и ловчее этого парня, который, судя по всему, ещё и употребил какие-то вещества. Она то царапала его ногтями, то била, то щипала, не разбирая своих действий из-за ярости. Вор, устав от борьбы, сел на асфальт и добровольно снял с себя рюкзак. Преисполненная благодарности, Каневас схватила протянутую вещь и пару раз пнула парня в плечо. Тот застонал и отполз к машине.

За спиной раздалось покашливание. Обернувшись, девушка увидела невысокого плечистого мужчину в тёмных очках. Он стоял с приоткрытым ртом и, судя по наклону головы, таращился на её окровавленные ногти. Молчание длилось пару секунд; сообразив, что промедление опасно, Аня в пару прыжков достигла гостиницы.

В рюкзаке обнаружился не только украденный телефон, но также фотоаппараты и даже ноутбуки других гостей. Все находки были триумфально возложены на стойку рецепции. Не желая более останавливаться и впадать в сон, Ира вызвала такси и буквально запихнула в него Аню. Последняя же не издавала никаких звуков и почти не дышала, а в её глазах застыл первобытный страх. Инцидент на парковке окружил

сознание со всех сторон и резко сдавил. Что, если бы грабителей было больше? А если бы тот мужчина всё же напал со спины? О, нет... Она обхватила руками голову, горячую, как утюг. «Будь осторожна», – говорит ей каждый день Володя, да только здесь нужны не разговоры, а татуировка на руке или лбу. Будь осторожна, следи за собой, не теряй контроль, остерегайся опасных людей, не бросайся спасать всех и вся. Кажется, на теле не останется места для такого количества надписей. Аня шмыгнула, с удивлением отмечая, что по щекам текут слёзы, а пальцы, зарывшиеся в волосы, дрожат. Такого раньше не случалось. Она медленно поднесла их к лицу. Надо же, какие тонкие и грязные. Дрожат, будто сами того хотят, а она не может им помешать. Смешные. А ногти... В ногтях что-то есть. Надо будет подумать об этом утром. Может, на фиг эту работу, проще будет заняться ноготочками?..

Третий эпизод произошел совсем недавно, в ночь с 23 на 24 марта этого года. Ей предшествовал обыкновенный вторник, из тех, о которых люди даже не вспоминают. Аня до вечера работала, забрала Ириных дочек из продлёнки, снова работала, а после, уже лёжа в постели с Володей, читала «Преступление и наказание». Ещё пару лет назад она бы не взяла эту книжку в руки, но теперь у неё появилась цель, ради которой можно было попробовать прыгнуть выше головы. Надо же, она собралась поступать в университет! И, кажется, могла рассчитывать на поступление на бюджет. Загадывать она не хотела, но всё равно в глубине души предвкушала свой триумф. Кольцо на безымянном пальце приятно тёрлось о мизинец. В апреле свадьба, в июле поступление. Неужто она движется к лучшей жизни?

Рукав футболки еле заметно заколыхался от чужого дыхания. Володя всегда спал тихо, даже не сопя, и почти не переворачивался на другой бок. Аня осторожно провела рукой по его волосам. Густые, мягкие, хоть отправляй рекламировать шампунь. У неё самой они от стресса выпадали, а Володя, напротив, будто бы сильнее зарос. Стресса у него было много. Элла Антоновна, его мать, никак не могла смириться с тем, что он живёт с Аней, хотя знакомы они были в прямом смысле полжизни и почти столько же встречались. Видимо, в её понимании сожитительство было детской шалостью, а вот брак – фатальной ошибкой. Несколько месяцев она капала Володе на мозги тем, что не стоит портить себе жизнь женитьбой в двадцать пять лет, а когда увидела, что он не реагирует, начала бросать фразу: «Ну ничего, первый брак для себя, второй для светлого будущего». Анина мать, когда услышала это, поинтересовалась, когда же Элла Антоновна устанет жить для себя и пойдёт навстречу светлому будущему. После этого они больше не разговаривали.

Поразительно, но на его висках уже появились седые волосы. Совсем немного, однако в свете маленькой лампы они отливали серебром, и проглядеть их было трудно. Аня погладила волоски кончиком пальца и уже собралась возвращаться к чтению, как вдруг её руку накрыла большая и тёплая ладонь.

– Хватит заниматься ночным терроризмом, – притворно строго сказал Володя. – Давай спать. Иди сюда.

– Мне ещё полглавы читать, – отмахнулась Аня и для серьёзности отгородилась от него книжкой.

– Возводишь стену между нами? А ведь сама меня разбудила...

– Не могла удержаться. Спи давай. Я скоро.

– Как знаешь. Спокойной ночи.

Он отвернулся и быстро заснул. Аня вновь погрузилась в чтение и проглотила сразу три главы, а когда опомнилась, часы уже показывали половину второго. Благо шанс выспаться не был потерян – первая клиентка придёт к ней только в одиннадцать утра. Загнув уголок странички, Каневас захлопнула книгу и тут же провалилась в сон.

Проснулась она совершенно разбитой. Приближалась половина десятого. Вроде выдался здоровый восьмичасовой сон, а душу словно наполнили формалином. Голова не болела, не кружилась, живот не скручивало. Значит, не отравление и не противная мигрень. Тем не менее вставать совершенно не хотелось, к тому же время ещё оставалось, и Аня потянула на себя одеяло, чтобы получше укрыться. Одеяло не поддалось. Тогда она дёрнула его посильнее. Снова ничего не получилось. Начиная злиться, Аня приподнялась на кровати, готовая увидеть Володину кофту или куртку, небрежно брошенную на кровать. Вечером она обязательно выскажет ему за безалаберность.

Но одеяло прижимала не куртка и не свитер, а Володина неподвижная рука. Он должен был встать в шесть сорок, аккуратно почистить зубы, заварить чай в френч-прессе, съесть вчерашний омлет и в семь тридцать пойти на работу. Вместо этого он лежал в кровати на спине, и его грудная клетка не двигалась.

Аня позвала его; ответа не было. Дотронулась и тут же отдёрнула пальцы: плечо оказалось холодным и твёрдым, как камень.

Её голос не дрожал, когда она общалась с диспетчером скорой помощи. Вопросы полицейских не смутили её и не заставили потерять лицо. А когда Володю, наконец, увезли, она позволила себе разрыдаться.

Так бесславно закончился путь Ани Каневас к счастью.

Стихи по кругу

Елена ЛЕБЕДЕВА

Выкса, Нижегородская область

Рождество

Сон ли мне иль грёзы –
Марь-марь.
Дом седой с мороза –
Январь.

В доме запах пирогов –
Сладко-сладко.
Теплится у образов
Лампадка.

И как искони,
Встарь-встарь,
Бабушка поёт
Тропарь:

Рождество Твоё,
Христе Боже наш,
Озарило мир
Светом знания.
Мудрецы-волхвы,
Звёздам служащие,
Видевшие светил
Возсияние,
Поклонилися Тебе –
Солнцу Правды,
Полюбили Тебя,
Восходящего
С высоты, красоты
Востока.
Слава, слава Тебе
Господи!

В каждой нотке –
Серебро-серебро.
В каждом сердце –
Рождество!
Рождество!

Стефания ДАНИЛОВА*Санкт-Петербург***Ангел не обстрелянных городов**

Если быть запредельно честным и откровенным,
я доучиться на ангела не успел.
Так, затуплял ножи тем, кто резал вены,
и пару-тройку обычных небесных дел:
чтоб кипяток не пролился на повариху,
чтобы дитя в детдом не сдавала мать...
Здесь, на Небе, такая неразбериха –
мне приказали перераспределять
неучтённые судьбы, которые оборвались
и не продолжатся теми, кто их носил.
Мы устроены так, чтобы не знать усталость.
Но и у нас уже не хватает сил.

Вот парнишка, простой, смысленый и даровитый.
Он придумал открыть метро Петербург – Москва,
а теперь уснул, талантливый и убитый,
и в глазах застывает вечная синева.
Передо мной сияет его задумка,
что должна быть реализована, ё-моё.
Ни один до такого ранее не дотумкал.
Я не вижу того, кто б довёл до конца её.
Знаю, строителей и инженеров много,
но такой проект – нечто большее, чем матчасть.
И под землёю стрелой пробежит дорога,
по которой поезд промчится всего за час.

Вот девчонка. Она могла бы создать лекарство,
что спасло бы от рака и пары других проблем.
За её жизнь бы никто не отдал полцарства,
ибо проклято наше царствие на Земле.
В кончиках пальцев жжётся её идея,
а под чистым небом живут миллионы тех,
кто и базовыми-то знаниями не владеет,
чтоб она обрела применение и успех.
Я смотрел на студентов из медицинских вузов –
их обуяло неверие, будто мгла.
А для этой идеи вера нужна как Муза,
чтобы она себя воплотить смогла.

А эта пара умерших молодожёнов
не превратится в старушку и старика.
И вот они лежат в земле обожжённой,
а любовь их мерцает снова в моих руках.
Вот бы она попала к хорошей паре,
близкой к разрыву. Но я не знаток вас всех

и существую в вечном ночном кошмаре,
 что использую чьи-то сокровища не на тех.
 Из меня бездарный распределитель судеб,
 зарисовок, задумок, талантов, даров, любви...

Если вдруг обнаружишь их, как котёнка в сумке, —
 постарайся сберечь и ангелов не гневи,
 ведь идея не может существовать не в теле,
 и кому-то из вас достаётся случайный дар,
 потому что всё то, что погибшие не успели,

должен кто-то прожить
 в не обстрелянных
 городах.

* * *

В Михайловском зимует вдохновенье.
 По-пушкински размашисто, курчаво.
 Здесь цепь событий ослабляет звенья,
 и сказка начинается сначала.
 Учёного кота праправнук серый
 Валяется в каптёрке комендантши,
 Ест колбасу и в небо смотрит с верой
 В мороз и солнце, как там было дальше?
 Еловое безмолвие, белея,
 Хранит в себе чертоги очертаний,
 И Анна Керн по липовой аллее
 Задумчиво бредёт, стихи читая.
 Не остаётся слов для дел сердечных,
 И дела нет до слов смешных и куцых.
 И чудится, что свет Лександр Сергеич
 Уехал прочь, но обещал вернуться.

Людмила МОНАХОВА

Выкса, Нижегородская область

Ранним утром

Это будет часто сниться:
 По осколкам, по крупичам,
 Ранним утром кофе в турке,
 Тусклый абажур, окурки,
 Ранним утром каша с маслом,
 Разговор впотьямах о разном,
 Ранним утром голос-шёпот,
 Не будить домашних чтобы,
 Чтобы спали, не тужили,
 Чтобы долго-долго жили.
 Это будет часто сниться,
 То, чему уже не сбыться.

Вадим БАКУЛИН

Оренбург

* * *

Диане Кан

Роковая цыганочка, вьюга,
Нарядилась в собольи меха.
Распугала собой всю округу –
До того её поступь лиха.

Вьюга, вьюга, цыганочка-вьюга,
Ты с ума меня хочешь свести?
Что мне голову кружишь, подруга,
И нарочно сбиваешь с пути?

Удалую цыганочку пляшешь.
Хлещешь косами мне по лицу.
Не сойдутся дороженьки наши –
Не ведут ни к жилью, ни к венцу.

Зимней ночи стихийные чары,
Завывание волчьих ветров.
Отдалённые звоны гитары
И мерцание чёрных костров.

Не зови, не зови меня, вьюга,
Не звени бубенцами в ночи,
Мы в объятьях задушим друг друга –
Слишком пляски твои горячи!

Юбкой дерзкой махнула удало –
Не привыкла отказы терпеть;
И на белом коне ускакала
В непроглядную, дикую степь.

Тишина... Прояснилась дорога,
Свежий след от крамольных саней.
Отчего мне теперь одиноко?
Отчего не погнался за ней?

* * *

Зимняя неброская картина:
Колоннады липовых алей.
Редкая топорщится щетина
На щеках заснеженных полей.

Тучи – одеялами на вате,
Торопливых галок резкий крик.
Но и этого, пожалуй, хватит,
Чтоб ценить короткой жизни миг.

Гроздья у рябин закатно-алы.
Никаким ветрам не погасить;
И поверь мне, этого не мало,
Чтобы жгуче Родину любить!

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

Сорока

Сидит сорока на сосне,
у перелеска.
Должно быть, спит. Ну, и во сне
не слышит плеска.

Журчит ручей у родника,
под рыжим яром.
Течёт, наверное, века
вода задаром.

Нет, это ВРЕМЯ, не вода
чистó и звонко
стекает струйками сюда,
в песка воронку.

Песчинки стайками секунд
в струе вскипают.
И осаждаются на грунт -
минуты тают.

А где-то там, в глубí земли,
ВЕКА и ГОДЫ
всё бороздят, как корабли,
ЭПОХИ воды

...Не спит сорока на сосне,
трещит беспечно.
Сказать, быть может, хочет мне,
Что снилась ВЕЧНОСТЬ.

Расстрекоталась хоть куда!
Во всю-то прыть!
Я помешал.
«Да ты, кума,
знать, хочешь пить!»

Губами трону ВРЕМЯ я -
Студёность струй.
Как жарок, будто бы с огня,
Их поцелуй...

Вода струится. Бьёт родник,
вскипает дно.
Я б в тайну ВРЕМЕНИ проник.
Да не дано...

Арети СЕЙНТАРИДУ

Санкт-Петербург

Рот, который высох

Один рот искал другой рот, чтобы поцеловать его
и потому что он не находил рот, который искал, начал целовать
другие рты
и потому что он не находил рот, который искал, он высох
другие рты не целовали больше рот, который высох
и когда рот нашёл рот, который искал, не поцеловал его, потому
что он высох
Давайте выпьем за все эти рты, которые сторели и не поцеловали
рот, который искали

Анатолий СОКОЛОВ

Нижний Новгород

Ромашковое поле

«Ты что себе позволила, Петрова?
Какие к черту дети на войне?
Молчать, пока тебе не дали слова!
Ну что с тобой прикажешь делать мне?»

Тут медсестер и так нам не хватает,
А у нее амурные дела!
Вот отчудила! Ну, спасибо, Таня!
Под монастырь меня ты подвела!»

Негодванью не было предела.
Начальник медсанбата весь в поту.
«Да и когда, негодница, успела?
Ведь ты была все время на виду.»

Ее ругал начальник медсанбата.
Она уже не слушала его.
Твердила только тихо: «Виновата...»,
Но мысли ее были далеко.

Ей виделось ромашковое поле,
Ей чудился дурман высоких трав
И юный лейтенант, любимый Коля,
С которым позабыла про устав.

И пел над ними жаворонок звонко,
И проплывали тихо облака,
И пуговицы смятой гимнастерки
Расстегивала Колина рука.

Молчали пушки. Небо было ясным,
И заливались в роще соловьи...
Что в этом мире может быть прекрасней
Поспешной этой фронтовой любви?

Письмо с фронта

Летит до мамы треугольник
Средь пыльных фронтовых дорог.
Его послал вчерашний школьник –
По сути – маменькин сынок.

Он ей писал, что все в порядке.
Для беспокойств причины нет:
День начинается с зарядки
И вкусен завтрак и обед.

Что немец, мол, не докучает,
Пальнет, и снова тишина.
И что по матери скучает,
Что скоро кончится война.

Ах, если б знать ему, как долог
И как тернист к рейхстагу путь,
Что будет голод, лютый холод,
И что хирург разрежет грудь,

Достав осколок. В окруженье
Месить придется топь болот,
И в Курском дьявольском сраженье
В бою два танка подобьет.

Все это после, а покуда
Летит письмо в тот городок,
Где мать все ждет его, как чуда,
И весть, что жив ее сынок.

Юбилеи

Николай СИМОНОВ

Родился 8 января 1950 года в Горьком. Почти полвека проработал судосборщиком и слесарем-монтажником на заводе «Красное Сормово».

Публиковался в нижегородских и российских газетах, журналах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор двенадцати поэтических книг стихов и пародий. Лауреат премий журнала «Нижний Новгород» и Александра Люкина.

В 2013 году удостоен премии города Нижнего Новгорода, а в 2020-м – областной литературной премии «Болдинская осень». Участник и дипломант четырнадцати Всероссийских фестивалей иронической поэзии «Русский смех», лауреат трёх из них.

Член Союза писателей России. С 2004 года возглавляет сормовское литературное объединение «Волга». Живёт в Нижнем Новгороде.

Редакция журнала «Нижний Новгород» поздравляет признанного мастера поэтической пародии и лирики с 75-летним юбилеем и желает ему крепкого здоровья, новых искрометных строк и блестящих публикаций.

КУДА Ж Я ОТ НАРОДА!

* * *

Я в творческом огне горю
И всю окрестность озаряю...
Порою лирику творю,
Порою хохмы вытворяю.

Верёвочка

*Сколько верёвочке не виться –
конец будет.*

Русская поговорка.

Всем ребятишкам – «Ладушки»
Няnek поют хоры...
Пряжу прядут три бабушки –
Древние три сестры.

Верим в удачу с детства мы –
Тщимся её ловить...
Морта и Нона с Децимой
Каждому свили нить.

Знают Судьбы помощницы,
Что и кому дано.
Не промахнутся ножницы,
Вьётся веретено.

Юрики, Саньки, Вовочки,
Мы уж не пацаны,
Наших судеб верёвочки
Парками сплетены.

Водка, болезнь, железо ли
Жизнь обрывают нам...
Парки судьбу обрезали
Многим моим друзьям.

Но сквозь врагов уловочки,
Сложности бытия,
Вьётся моя верёвочка,
Путаная моя.

Только и мне не можетя,
Что-то кругом – фигня, –
Видимо, парки ножницы
Точат и для меня.

Им не суметь. Куда уж там.
В наш просвещённый век
Я не поддамся бабушкам –
Я ведь не древний грек.

Дописался

Вместо автобиографии

Март давнишний, час закатный.
Кошка воеет на трубе...
Я кириллицей печатной
Всё пишу, пишу себе.

Примитивные рифмишки
В голове своей верчу, –
Я пишу вторую книжку.
Я в писатели хочу!

За окошком ночь заметней,
Утра я не выношу...
Я – «писатель» восьмилетний,
Всё пишу, пишу, пишу.

Хоть и шустрый был парнишка,
Лет на сорок опоздал

И свою вторую книжку
В сорок восемь лет издал.

Я набрал рекомендаций,
Думал: дело на мази.
Всё. Пора в СП прорваться.
Ну, Пегас мой, вывози!

Ждал я секретариата,
Словно праздничного дня,
Но московские ребята
Лихо срезали меня.

Но не смолкла моя Муза,
Не померк и белый свет.
Я погиб, как член Союза,
Но бессмертен, как поэт!

Вновь вскочил я через лето
На крылатого коня.
Все завидуйте: билет-то
Самый новый у меня!

1999

Змей

Верчусь волчком, лихой и прыткий.
Парю кругами в облаках,
Бумажный змей на длинной нитке.
А нитка у тебя в руках.

Мечусь в небесной круговерти.
Где ветер свищет и ревет...
Лишь одного боюсь до смерти:
Что эту нитку оборвет!

Лодка

I

Штормило. Лодку, словно щепку,
Швыряло, братцы...
А ростом мы – по метру с кепкой,
А лет – двенадцать.

А гром гремел, как из мортиры,
Хлестали волны.
Пытаясь затопить полмира,
Ревела Волга:

– Эх, утоплю я вас, мальчишки!
Ох, оборванцы!
Всё. Будто нам уже и крышка,
Концы и кранцы.

Сверкали молнии клинками
Над ширью водной,
А мы гребли двумя досками
Поочерёдно.

Боролись мы с рекой великой,
С седой пучиной,
И каждый чувствовал, поди-ка,
Себя мужчиной.

Как и положено матросам,
Гребли – не ныли...
И лодка ткнулась в берег носом –
Мы победили!

II

Теперь судьба нас разбросала
По разным весям...
Один приятель за Уралом
Всё куролесит.

Другой погиб в Афганистане, -
Попал на мину,
А третий гонит на рыдване
По серпантину.

И по пескам, и по сугробам, –
Калач он тёртый...
Друзья, я помню вас до гроба!
Я – ваш четвёртый.

Когда вдвоём с тоской проклятой,
Одно есть средство:
Я вспоминаю вас, ребята,
Друзья из детства.

Когда меня достанет – вот как –
Беда любая,
Я вспоминаю эту лодку
И выгребаю.

Ключ Ильи Муромца

Нету силушки моей
Переводу –
Пью из Муромских ключей
Святу воду.

Так и пил бы я сто лет
Без отрыва
В Карачарове селе
У обрыва.

Сам Илья был не у дел –
Ждал погоды.
Сиднем тридцать лет сидел
И три года.

Но водицей напоён,
Расходился.
Витязь стал зело силён,
Как напился.

И меня пои, святой,
Преподобный!
Чтоб я сильный стал, крутой
Бесподобно.

Помоги мне, гой еси,
Может статься,
Со врагами всей Руси
Рассчитаться!

Чтоб пропали, Русь, твои
Супостаты,
Пью я Муромца Ильи
Воду святу!

Витязь на распутье

Витии и мессии
Орут воззванья пылко...
Стою среди России,
Как витязь на развилке.

Дороги полем чистым
Вперед ведут куда-то.
Направо – к коммунистам,
Налево – к демократам.

А средняя – поуже,
Колдобины да ямы...
Пускай мне будет хуже, –
Пойду с народом – прямо!

Делить с народом станем
Победы и невзгоды.
А если битва грянет,
Куда ж я от народа!

СОРМОВСКИЙ ВИТЯЗЬ ПОЭЗИИ

Новая книга Николая Симонова, выходящая к его семидесятипятилетию, названа автором «Витязь на распутье», в аннотации к ней указано, что в стихах и поэмах глубоко и осмысленно показана история страны и родного края, изображены герои и защитники Родины – былинные и реальные. Я бы добавил к этому – в новой книге поэт, как былинный витязь, доблестно отстаивает великий русский язык.

Николай Симонов своими стихами утверждает, что поэты – тоже воины, что воевать нужно и за слово, иначе «как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». А храбрости ему не занимать:

Меня так просто не ударишь –
Я сдачи дам.
Я – гусь, – и свиньям не товарищ, –
Не по зубам.
Имею грубые манеры,
Простой язык.
Вы – господа, джентльмены, сэры,
А я – мужик!

Николай Симонов – мужик настоящий, полвека он проработал на заводе «Красное Сормово» – строил суда, а эта работа не из лёгких. Нелёгким был и его путь в литературу. Стихи он писал с детства, читатели его стихи полюбили, но выйти в профессиональную среду получилось не сразу. По воспоминаниям самого поэта, вступить в Союз писателей ему никак не удавалось – всё, говорили, писал не то и не по теме.

В этом его поэтическая судьба похожа на судьбу «лучшего поэта Волги» Александра Люкина, которого сам Николай Симонов называет своим учителем. У него была трудная дорога к признанию, в 1949 году он впервые напечатался в заводской многотиражке, отсылал подборки стихотворений в московские газеты и журналы, но стихи не брали. Как писал сам Люкин: «за стихи меня только хаяли, не печатали их нигде». Только после того, как Александр Иванович набрался опыта, окончил высшие литературные курсы при Литературном институте и был принят в члены Союза писателей СССР, его признали большим поэтом.

Николай Симонов тоже не привык сдаваться, и, как и его учитель, не бросил поэзию, не озлобился и отточил свой язык. Его стихи вошли в антологию «Русская поэзия. XXI век», изданную в московском издательстве «Вече», он стал лауреатом ряда литературных премий. Двадцать лет он руководит сормовским литературным объединением «Волга», старейшим из существующих ЛИТО в Нижнем Новгороде, которым раньше (тогда ЛИТО называлось объединением самодеятельных поэтов в реакции газеты «Красный сормович») руководил Александр Люкин.

Николай Симонов всю жизнь живёт в Сормове. Он горд за Сормово, за сормовский завод, на котором проработал полвека, за сормовских корабелов:

Мы всегда в делах – и днём и ночью.
Никогда в работе не робел,
Настоящий сормовский рабочий,
С крепкими руками корабел.

Он знает и любит историю земли, на которой живёт, ратует за её изучение и сохранение. Многие его стихи посвящены историческим событиям Сормовского района и Нижнего Новгорода. В 2020 году Николаю Симонову было присвоено почётное звание «Заслуженный сормович».

Не только упорным трудом и стойкими характерами схожи ученик и учитель, главное, что оба они пишут о горестях и радостях простого народа «простым» языком. Я не случайно заключил в кавычки слово «простым», потому что писать стихи «просто» на самом деле очень непросто.

В наше время литературных поисков двойных и тройных смыслов, аллюзий, столкновений передовых и традиционных практик, эксперимента ради эксперимента, уничтожается то природное, исконное, обращённое к родному, что и составляет суть «настоящей поэзии». Как любое искусство, поэзия не может быть ненастоящей, всё остальное стихотворчество – упражнения в подборе рифм, игра с формой и прочее. Есть мнение, что поэзия элитарна и требует подготовленного читателя, имеющего культурный «бэкграунд», со-поэта, способного уловить двойные смыслы, не прямое цитирование, однако в данном случае мы забываем о главной цели искусства – преобразовать окружающий мир, творца и наблюдателя по канонам гармонии и красоты. Нельзя сказать, что искусство для избранных, настоящее искусство, имея этико-эстетическую функцию, предназначено для каждого.

При такой тенденции к усложнению поэтики, кому писать о народе и для него? Да вот таким талантливым уникальным мужикам-поэтам, в лучшем смысле этого слова, как Николай Симонов. Он плоть от плоти из народа, и никто лучше него про народ не напишет:

Выходим с зоны на свободу,
Из жизни, тапками вперёд...
Но не выходим из народа,
Поскольку мы и есть – народ!

Путём скрещения истории и настоящего, старой и современной народной речи Николай Симонов творит авторский миф из самых обыденных и прозаических вещей. Можно было бы назвать Симонова продолжателем так называемой традиций «рабочей поэзии», возникшей из пролетарской и революционной поэзии начала XX века, но его поэзия не ограничена воспеванием металлообрабатывающих станков, газоплавильной сварки и стапелей, в его стихах большее. Нельзя сказать, что Симонов представитель «тихой лирики», его поэзия шире, она наследует от фольклора, который потому и живёт, что передается из уст в уста народом.

Современному поэту очень важно выработать свой неповторимый голос, свою просодию, не утонуть в одинаковости многоголосья говорящих, поющих, орущих одно и то же. Это удалось, на мой взгляд, Николаю Симонову, его язык уникален. В этом легко убедиться, найдя его стихи в интернете – в региональных пабликах в социальных сетях

часто публикуют стихи Николая Симонова, что также может быть подтверждением народной любви к поэту.

В арсенале Николая Симонова множество сатирических, юмористических стихов и литературных пародий. Следует отметить, что написание пародий требует отдельного мастерства, если мы говорим о литературной пародии, как жанре, а не отзыве на стихотворение, написанном на основе придинок к нескольким неудачным словам. Юрий Тынянов, который показал, что в пародии больше серьёзного и сложного, чем смешного и легкомысленного, говорил, что эволюция литературы, в частности поэзии, совершается не только путём изобретения новых форм, но и, главным образом, путем применения старых форм в новой функции, в том числе и в пародии. Пародия – это ещё и форма литературной борьбы между современниками. То есть поэт-пародист – это поэт и литературный критик в одном лице, а Николай Симонов – талантливый поэт-пародист, не зря современники называют его «классик нижегородской сатиры» (Эдуард Кузнецов).

В этом сила сормовского витязя Николая Симонова – с улыбкой воспринимать житейские невзгоды, писать правду и только правду и видеть поэзию во всём, что его окружает. Он, как настоящий опытный корабельщик, создаёт стихи-корабли, которые, я верю, поплывут в будущее. И флот он создал себе крепкий и сильный, такой в море поэзии не потопить ни скептически настроенным к русскому традиционному стиху критикам, ни «авангардистам», ни «актуальщикам». А распутье сормовского витязя не пугает, он давно выбрал себе единственно верный путь и следует ему:

Пускай мне будет хуже, –
Пойду с народом – прямо!

*Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ,
член Союза писателей России*

Далекое – близкое

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

НОВЕНЬКИЙ

Отец Сергей не любил коммунистов. Лично ему они ничего плохого не сделали, но он их все равно не любил. А когда его спрашивали: почему, отвечал – за идеологию.

– Коммунизм они построить хотели, – говорил он супруге своей матушке Татьяне. – Что-то вроде Царства Божия на земле. А? Чего выдумали! Нельзя Царство Божие на земле построить.

Матушка с мужем не спорила никогда.

– Да, – сказала она смиренно. – Оно, Царство-то, – на небе, известное дело.

– А вот и не на небе! – горячо оборвал супругу отец Сергей. – Не на небе!

Вздохнула матушка, положила шитье на стол, посмотрела на мужа.

– «Царство Божие внутри вас есть», – процитировал тот евангелиста Луку. – Внутри нас, значит. Вот внутри тебя, к примеру, – показал отец Сергей пальцем на грудь супруги. – Понимаешь? Так Христос сказал. Значит, так и есть.

– Конечно, так оно и есть, – согласно отвечала матушка и принялась за шитье. Она пришивала белоснежный подворотничок к мужнину подряснику.

И на исповеди отец Сергей всегда спрашивал кающихся, не состояли ли они в партии. Состоявших среди жителей села не было. А среди приезжих случалось. Таким отец Сергей назначал епитимью – сорок дней читать канон покаянный Господу нашему Иисусу Христу. Они с удивлением смотрели на батюшку, искренне не понимая, при чем тут партия.

Как-то раз Великим постом подошел на исповедь незнакомый отцу Сергию мужчина. Скорее уж старик, но еще довольно крепкий.

«Новичок», – определил отец Сергей. А к новичкам он относился с пристрастием, никого с первого захода ко причащению не допускал.

Отец Сергей покусал левый ус и задал свой коронный вопрос:

– В рядах КПСС не состояли?

Мужчина оторопело заморгал. Под очками глаза его казались непомерно большими.

– Состоял, – хрипло ответил он.

– Ага! – как бы даже обрадовался отец Сергей. – А зачем вступали в эти ряды? По идейным соображениям? Коммунизм хотели строить?

– Нет, – твердым голосом, оправившись, сказал мужчина и усмехнулся. – Я тогда дом строил.

– Не понял, – священник облокотился на аналой, приготовившись слушать. – Какой дом?

– Многоквартирный.

– Это тут причем?

– Крановщик я по специальности. Между прочим, шестого разряда. Сейчас, правда, на пенсии состою. А тогда работал.

– И что же?

– Было так, – начал рассказ исповедник. – Тружусь я, значит, на своем кране, и подходит ко мне прораб наш – Семеныч. Хочешь, говорит, Юра – меня Юрием зовут. Хочешь, говорит, квартиру в этом доме получить? А квартира мне позарез была нужна – ребенок как раз родился – дочка, значит. Как же не хотеть?

– Хочу, – отвечаю прорабу.

– А если так, тогда пиши заявление в партию. Тебя как рабочего легко примут. И как члену КПСС дадут квартиру. Годик, правда, сначала в кандидатах походишь.

Я удивился.

– В партию?..

– Ну да, – говорит Семеныч. – В партию. Квартиру дадут, не сомневайся.

Ну, я и написал. Вскоре подходит ко мне наш парторг Бельшев Геннадий Петрович. Читал, говорит, твое, Юра, заявление. Молодец. Я плечами жму, дескать, а как же. Он тут и спрашивает:

– А зачем ты в партию вступаешь?

Недолго думая, я бухнул:

– Чтобы квартиру получить!

– Дурак! – замахал руками парторг. – Не вздумай так сказать в райкоме, когда спросят.

Растерялся я.

– А что говорить-то?

Геннадий Петрович сосредоточился, сдвинул на затылок шляпу.

– Скажи так, – уверенно изрек он, как по-писанному. – Хочу, мол, быть в первых рядах строителя коммунизма!

– Ладно, – отвечаю, – скажу. В первых, так в первых.

И ведь как в воду глядел наш парторг. Спросили меня в райкоме на бюро, зачем я в партию хочу вступить. Я про себя облегченно вздохнул, потому что знал, как отвечать надо. Грудь колесом:

– Хочу стоять в первых рядах строителей коммунизма!

Все остались довольны и меня приняли в ряды КПСС единогласно. Понятно, сначала в кандидаты. Да разницы-то нету. В рядах я состо-

ял долго, лет десять, а потом отнес билет в райком. Там меня даже не спросили, почему я ухожу из партии. Перестройка началась, всем стало все равно.

Мужчина помолчал, потом добавил с сожалением в голосе:

– Дом-то я построил, и не один, а коммунизм – нет.

– Так, – сказал отец Сергей. – А все-таки строил ты коммунизм!

– Нет. Я дома строил, потом атомную станцию ...

– А обещал, что будешь строить, – настаивал отец Сергей.

– Обещал, – покаянно произнес мужчина и вздохнул. – Что правда, то правда.

– Так вот тебе за это епитимья! – воскликнул священник и приподнял над аналоем епитрахиль.

– Что это – епитимья? – спросил мужчина.

– Наказание такое. Точнее даже не наказание, а вразумление. Будешь целый месяц поклоны бить. Земные. Каждый день. По семь поклонов. Понял?

– Понял, – ответил незадачливый исповедник. – Что тут непонятного – поклоны дело не хитрое. Только я не понял, за что наказание-то?

Отец Сергей поднял указательный палец вверх, как бы показывая на купол храма, где был изображен Господь Саваоф в виде седобородого старца, и сказал с наставлением:

– А за то, чтобы не обещал в богопротивных делах участвовать. Теперь ясно?

– Ясно, – ответил мужчина и наклонил под епитрахиль седую голову.

НАРКОЗ

(Основано на реальных событиях)

Narcosis, греч. – оцепенение, онемение. Искусственно вызванное обратимое состояние торможения нервной системы, при котором наступает сон...

Лев Семенович Циферблатов был убежденным атеистом. Причем настолько убежденным, что изменить его мировоззрение не представлялось ни малейшей возможности. Еще будучи юным пионером, он запальчиво кричал своей религиозной бабушке:

– Юрий Гагарин в космос летал и никакого там Бога не видел! Что? Куда Он спрятался?

Старушка ничего не отвечала новоиспечённому безбожнику, только вздыхала да гладила Лёвушку по кудрявой голове.

Ни для кого не секрет, что в 70-е годы прошлого столетия атеистическая пропаганда в советском обществе ослабла. Невысокая, согласно статистике, религиозность населения считалась пережитком прошлого, на верующих особого внимания не обращали. Правда, и церковь, получив горький опыт хрущевской оттепели, держалась в тени.

Наступило затишье. Но оно вовсе не значило, что идейные атеисты сдали позиции. Они продолжали свою незаметную кропотливую работу.

К тому времени, повзрослев и окрепнув, Лев Семёнович закончил вечернее отделение университета марксизма-ленинизма и вдохновенно читал лекции в трудовых коллективах по линии общества «Знание», за что получал скромный гонорар – тринадцать рублей за лекцию с вычетом налога. Разумеется, лекционной работой он занимался не из меркантильных соображений, а по зову души и глубокому убеждению, что религия, как сказал классик, опиум для народа, а затишье на идейном фронте – не что иное, как уловка затаившихся церковников.

Кстати, аргумент про полёт Гагарина спустя годы Лев Семёнович не забыл и частенько использовал в дискуссиях с мало просвещенной в вопросах религии рабочей аудиторией. Справедливости ради скажем, что аргумент этот успеха не имел. Его очень легко опровергали. Однажды кто-то даже крикнул из зала:

– Низко летал, вот и не видал!

На подобные реплики Циферблатов не отвечал, разводил в стороны руки, дескать, что тут возразишь – действительно не видал!

Накануне нового тысячелетия, как известно, всё переменялось, и лекции Льва Семёновича утратили свою актуальность, стали, проще говоря, никому не нужны. Теперь он смотрел по телевизору трансляцию церковных служб, плевался и даже допускал в запальчивости нецензурные выражения, осуждая тем самым попустительство властей.

– Мракобесы! – кричал он, вскакивая с дивана и грозя кулаком в пространство. – Что делаете? Кого воспитываете? Попов жирных кормите!

Голос отставного лектора срывался, объемистый живот колыхался под майкой волнообразно.

– Но пасаран! – громыхал с пафосом поставленным голосом Лев Семёнович почему-то по-испански, и это уже было направлено, по всей видимости, к жирным попам, а супруга капала для него тем временем на кухне валерьянку.

Хрусталь в румынской стенке вздрагивал и жалобно звенел.

Успокоительное начинало действовать, и Циферблатов, всё ещё обуреваемый духом несогласия, цитировал, но уже тоном ниже:

– Цивилизация не достигнет совершенства, пока камень последней церкви не упадёт на голову последнего священника!*

Жена, как некогда бабушка, вздыхала и, незаметно перекрестившись, выходила из комнаты, только по лысой головке Лёвушку не гладила.

Кроме атеистических убеждений, приобретенных благодаря семье и школе ещё в детстве и с годами укрепившихся, как укрепляется дуб, погруженный в воду, нестигаемый воин общества «Знание» Циферблатов к шестидесяти годам имел розовую лысину, увенчанную по краям благообразной сединой, и избыточный вес выше допустимого индекса массы тела. Всё бы ничего, да носить этот вес становилось тяжело, появилась одышка, а когда Лев Семёнович уже не мог без отдыха подняться на третий этаж, где он проживал, пришлось обратиться к врачу.

Кардиохирург Иван Николаевич Недорезов был знаком с Львом Семёновичем по обществу «Знание». Старые коммунисты обнялись как друзья. Ознакомившись с результатами анализов Циферблатова, доктор предложил ему лечь в стационар и сделать коронарографическое обследование сосудов сердца.

– Коронарка, мой дорогой, всё покажет, – сказал он.

– Что покажет? – испуганно спросил Циферблатов.

– Не волнуйся, Лев Семёныч, – улыбнулся Недорезов. – Покажет, что нам делать дальше с твоим пламенным мотором.

– Что это за «коронарка»? – с недоверием отнесся к незнакомому слову Лев Семёнович.

Врач улыбнулся.

– Метод такой диагностический. «Золотой стандарт», между прочим, в диагностике ишемической болезни. Точнее пока не придумали.

– А у меня ишемическая болезнь?

– По всей видимости, она, – уклончиво ответил Иван Николаевич.

– Ну, ничего угрожающего ведь нет?

– Пока говорить рано. Посмотрим. Может быть, стентирование после сделаем. На все божья воля.

От последних слов врача Циферблатова передернуло, но он сдержался и, может быть, впервые ничего не сказал в защиту своих идеалов. Только и спросил дрогнувшим голосом:

– Я не умру?

– За это могу поручиться! – успокоил товарища Недорезов.

На операцию Лев Семёнович согласился.

Наступил день операции. День, когда атеистический фундамент бывшего лектора общества «Знание» дал трещину. А случилось это так.

* Высказывание принадлежит Эмилю Золя (прим. автора).

В светлой, просторной операционной стояли три стола. Когда каталку с Львом Семёновичем ввезли в помещение, на двух из них уже лежали пациенты. Вокруг них суетились врачи. Раздетый догола и укрытый легкой простынёй, Циферблатов, несмотря на сделанный ему в палате укол реланиума, волновался.

Подошёл Недорезов. Лев Семёнович не узнал его в белой одежде.

– Настрой боевой? – спросил белый человек глухим из-под маски голосом.

– А вы кто такой? – вопросом на вопрос ответил испуганный Циферблатов.

Белый человек тускло засмеялся.

– Ну, Лев Семёныч, даёшь! Не признал старого друга?

– А-а, – сказал тот и замолчал, потому что вдруг забыл имя и отчество Недорезова.

Наконец шестипудовое тело Льва Семёновича переложили с каталки на операционный стол. Анестезиолог установил на левой руке его катетер и ввел внутривенный наркоз. Кровь понесла спасительный фентанил к сердцу и мозгу Циферблатова. А он мужественно смотрел в потолок, где посверкивала гранями зеркальная люстра.

Белый человек, имя которого Лев Семёнович так и не вспомнил, склонился над ним и произнёс бодрим тоном:

– Как дела?

Циферблатов улыбнулся гагаринской улыбкой и прошептал:

– Поехали!

Рукой махнуть ему не удалось, потому что руки Льва Семёновича были крепко зафиксированы. Он хотел возмутиться и выразить протест, но в этот момент фентанил достиг мозга, и Циферблатов резко уснул.

Вот тут-то всё и началось.

Главному врачу позвонили из представительства МЧС по области и сказали, что, согласно анонимному сообщению, в поликлинике заложено взрывное устройство. Указания были короткими.

– Действуйте по инструкции!

– Знаю без напоминаний! – раздраженно произнес главврач, положив трубку.

По инструкции надо было эвакуировать из здания всех – и персонал, и больных. Работа малоприятная, но при известных обстоятельствах необходимая.

«Проверят, и никакой бомбы не окажется, – думал главврач, отдавая распоряжения об эвакуации. – А вдруг?.. Что тогда?..»

Инструкция предписывала эвакуировать больных, в том числе и операционных, в ближайший православный храм, что стоял бок о бок со зданием поликлиники и с которым было заключено на этот случай соглашение..

Хирург Недорезов, всплеснув руками, воскликнул:

– У меня трое под наркозом! Двое из них под общим! Шунтирование...

– Начали операцию? – спросил главный.

– Нет, но...

– Никаких «но»! На каталки и в церковь! Все равно спят... Выполнять! – по-военному рявкнул главврач.

Недовольный хирург отправился выполнять задачу.

Таким вот удивительным образом лишенный сознания атеист Циферблатов помимо своей воли оказался в Божием храме в честь иконы

«Всех скорбящих Радость», где в эти часы совершалась праздничная служба с пением акафиста Пресвятой Богородице. Лев Семёнович безмятежно спал, и даже ни один мускул на его лице не дрогнул, когда каталку ввезли в притвор церкви и аккуратно поставили у стены. Его сон охраняла молоденькая медсестра с мешком Амбу* в руках на всякий случай.

Первое, что почувствовал Циферблатов, – это тонкий незнакомый запах. То был запах афонского ладана, что, не жалея, подсыпал в кадило протоиерей Димитрий. И в следующее мгновение хор грянул:

– Радуйся, Радосте наша!..

Лев Семёнович так испугался, что не смог открыть глаза. Всем своим существом он осознал, что умер и находится на небе и что жизнь за гробом вопреки его убеждениям существует. И еще он успел подумать, что душа его не может находиться в Царстве Небесном, а находится она совсем в другом месте.

Из груди Циферблатова вырвался жалобный стон, глаза, наконец, отверзлись. То, что он увидел, повергло его в еще большее смятение. А увидел Лев Семёнович не что-нибудь, а картину Страшного Суда. Дело в том, что лицом Циферблатов был обращен на запад, а на западной стене притвора стараниями настоятеля митрофорного протоиерея Игоря были изображены иконописцами во всех подробностях адские муки грешников. Грозный ангел раскинул крылья. В деснице он держал свиток, а в шуйце – весы. Толстые грешники, прижимая руки к голым животам, выстроились в очередь, с трепетом ожидали решения своей участи.

Голое тело Льва Семёновича под простыней задрожало и покрылось холодным потом. А в это время протоиерей Димитрий, воздев правую руку с двойным орарем горе, рявкнул оглушающим басом:

– И о сподобится нам слышанию Святого Евангелия Господа Бога молим!

Лев Семёнович в священном ужасе сел на каталке и, откинув простыню, закричал не своим голосом:

– Господи, помилуй!

Стоящие рядом с каталкой прихожане кинулись в стороны. Медсестра самоотверженно пыталась уложить Льва Семёновича или хотя бы прикрыть его простыней, но у неё ничего не получалось.

Хор на клиросе во главе с регентом Марией от неожиданности присел и стройным аккордом без всякого камертона воскликнул в пятнадцать глоток:

– Аминь!

* Специальное устройство ручного типа, необходимое для вентиляции легких пациента.

КАК Я ВПЕРВЫЕ ЧИТАЛ БУЛГАКОВА

Это теперь раздолье книголюбам – хочешь, в библиотеку заходи, а там тебя ждут, как дорогого гостя встречают и выдадут (на абонементе, а не в зале редких и ценных изданий!), что душе угодно и без всякой очереди. А хочешь, в магазин пожалуй – там полки от литературы всех времен и народов ломаются. На любой вкус – выбирай, что пожелаешь, хоть Дюма, хоть Джойса, хоть Прилепина, хоть Акунина, а можно и новомодных Кундеру, Даниэла Киза, а то и Юкио Мисиму или Харуки Мураками. Да мало ли!

А ведь, кажется, совсем недавно все было по-другому. Кто помнит, не даст соврать. Как говорится, в наше время... А что это за «наше время»? У каждого поколения свое время. Ну, то, о котором я хочу рассказать, – конец 70-х прошлого века. Как это звучит – «прошлого века»? Однако прошлый, никуда не денешься. Итак, нажимаем кнопку «Пуск» в машине времени. Поехали!

* * *

На дорогах страны появился новый автомобиль «Нива», а в магазинах малахитовый напиток «Тархун». В космос полетел «Союз-28» с первым международным экипажем на борту, а Ростроповича с Вишневской лишили советского гражданства. Поляк Кароль Войтыла стал Иоанном Павлом II, Папой Римским, а в Швейцарии из могилы Чарли Чаплина похитили останки великого актера. В продуктовых магазинах шаром покати, но талоны на дефицит еще не ввели. Урвешь джинсы «Miltons» и счастлив до соплей... Но – ближе к теме.

На полках книжных магазинов – сплошной «Политиздат», материалы XXV съезда КПСС и иже с ними; книги Брежнева про Малую землю изучают на филфаках, студенты плачут, но сдают экзамены по истмату, диамату и научному коммунизму (!), стиснув зубы, отвечают на каверзный вопрос «Великий Октябрь и прогресс человечества». А между тем граждане очень хотят читать настоящую литературу! И читают, преодолевая финансовые препятствия. На «черном рынке» книжка Ахматовой из большой серии «Библиотеки поэта» 30 р. – четверть зарплаты инженера, не хухры-мухры. А «Три товарища» Ремарка, так ту вообще за полсотни и то не всегда купишь. Но покупали. А вот издание Гумилева, переписанное от руки в четыре ученические тетрадки, продавали, помнится, за 100 рублей.

Это ж надо, как любил советский народ литературу, а в особенности поэзию! Он, народ то есть, потом это все разлюбит, но еще не скоро, лет через двадцать появятся другие приоритеты. А пока что народ целеустремленно собирает макулатуру, чтобы приобрести талон на очеред-

ную, скверно изданную, книжку Дюма-отца, стоит в очередях, чтобы получить возможность участвовать в розыгрыше собрания сочинений малоизвестного, но а priori любимого писателя Голсуорси, потому что уже показали по телевизору душеспитательный, а ныне забытый сериал «Сага о Форсайтах». Искренне радуется и огорчается, ругает власти и любит Родину – народ еще верит в светлое будущее и даже надеется его увидеть. Может, это и был застой, но раковая опухоль равнодушия и гедонизма пока что не поразила россиян.

На присно поминаемом книжном рынке (а он кочевал от монастыря в Печерах до садика Пушкина) за деньги продавалось, разумеется, все – и «Один день Ивана Денисовича» в «Роман-газете», и красивые детские издания, и собрания сочинений самых разных писателей – от Аркадия Гайдара до сэра Вальтера Скотта. Даже старика Хэма в четырех томах при желании можно было приобрести, если, конечно, не пожалеть месячной зарплаты. Ну а из-под полы и Новый Завет, а то и всю Библию, даже с иллюстрациями Гюстава Доре, вам предложил бы с заговорческим видом некий кудрявый веснушчатый торговец.

Был там известный в городе книголюб, нумизмат и антиквар по прозвищу «Квазимодо». Это был старичок с перекошенным лицом, за которое, по всей видимости, и получил свое литературное прозвище. Мне доводилось у него дома бывать – выменивал «Двадцать лет спустя» на случайно доставшийся мне серебряный екатерининский рубль. А Дюма нужен был мне для дальнейшего обмена, чтобы взять на него Джека Лондона. Так оно было: хочешь иметь книгу – крутись, не зевай. А заимеешь – счастливей тебя нет на свете!

Особым спросом пользовался на рынке Михаил Булгаков. Знаменитая красная книжка – несколько рассказов и «Мастер и Маргарита». Она и сейчас на моей книжной полке стоит на почетном месте как раритет. Но книжка эта появилась у меня позже, в начале восьмидесятых. А прочитать прославленный роман мне посчастливилось до того. Нет, не в журнале «Москва»*! Журнальную публикацию, как потом оказалось, сильно истерзанную редакторами, достать было невозможно без особых знакомств, которых у меня не имелось.

Зато роман я читал в рукописи. Не авторской, конечно. Вот про это и расскажу.

Я работал тогда на авиационном заводе, в одной маленькой лаборатории отдела главного металлурга по проверке каких-то, теперь уж и не помню каких, приборов. На участке нас, сотрудников, было трое кроме завлаба – я, Валерыч, который лучше всех разбавлял спирт водой, и Женька, ветеран участка, мечтающий о своем автосервисе. Работы было немного, так что свободного времени в течение смены оказывалось больше, чем занятого делом. Мы потихоньку играли в шахматы и читали книги.

И вот как-то раз Валерыч, входя в лабораторию, с заговорщическим видом вытащил из-за пазухи и показал мне две тетрадки в коричневом коленкоровом переплете, довольно потрепанные, с пухлыми замусоленными нижними углами. Было видно, что они прошли через многие руки.

– Это что? – спросил я его. – Конспект по «Истории КПСС»?

* Первая публикация романа в сокращённом виде в журнале «Москва» (№ 11, 1966 и № 1, 1967)). Потом, в 1973 году, благодаря Константину Симонову, роман будет издан без купюр.

Валерыч учился на заочном отделении политеха, но и там изучали фундаментальные науки, без которых, как считалось, особенно без знания истории партии, советский инженер не мог стать полноценным специалистом, будь он хоть семи пядей во лбу.

– Нет, – ответил он шепотом и посмотрел на стеклянную дверь в кабинет завлаба. – Это «Мастер и Маргарита»!

Действительно, это был знаменитый роман, переписанный от руки неведомым энтузиастом.

– Из Питера, – сказал Валерыч. – На двое суток.

О романе мы, конечно, слышали, но ни один из нас его не только не читал, но и в глаза не видел.

– Что будем делать? – спросил я, надеясь, что он-то уже прочел текст, а значит, оставшимся нам двоим – мне и Женьке – рукопись достанется на сутки каждому.

Женька оторвался от прибора, посмотрел на тетрадки, но такой надежды не высказал и оказался прав, потому что Валерыч, как оказалось, рукопись не читал. Он и предложил читать роман на работе. Вслух, по очереди. На том и порешили.

Мы уселись кружком вокруг прибора. Двое занимались проверкой, а один тихонько читал. Все шло хорошо до конца рабочего дня. Пришло время расходиться по домам, а у нас осталась непрочитанной еще одна тетрадка. И так как завтра меня командировали на аэродром получать для проверки новые приборы, и я не мог участвовать в круговом чтении, рукопись Валерыч, скрепя сердце, отдал до утра мне.

До ночи у меня не было времени для чтения. Но вот, наконец, все домашние улеглись, и я, закрывшись на кухне, заварил покрепче чаю и открыл вторую тетрадь.

Читал я почти до рассвета. Потом лег спать, но, конечно, уснуть не мог. Не помню, чтобы какая-либо книга произвела на меня такое впечатление, как первый раз прочитанная «Мастер и Маргарита». И главы о Понтии Пилате, и главы о мастере – все переживалось мной, как будто я сам был участником тех событий. Окна наливались светом, а я лежал, смотрел в потолок. Тело лежало. Но на самом деле меня не было в однокомнатной квартире на шестом этаже нижегородской девятиэтажки. Я был далеко отсюда. Мне слышался свист бича, рвавшего кожу на спине Иешуа Га-Ноцри, представлялся расплавленный солнцем ненавидимый прокуратором Ершалаим и черные всадники на Воробьевых горах на фоне полной луны...

Вскоре я приобрел красную книжку Булгакова. Накопил денег и купил на «черном рынке». Много раз я перечитывал знаменитый роман, он стал одной из моих любимых книг, но никогда больше не довелось мне испытать, к сожалению, такого острого чувства причастности, как той ночью, когда я читал рукопись в потрепанной коленкоровой тетрадке с замусоленными углами.

Публицистика

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). Автор книг «Жизнь по чужим лекалам», «Письмена нового времени». С критикой и публицистикой выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске.

МЕЖДУ ДОБЛЕСТЬЮ И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ

Владимир Богомолов в полемике об исторической правде

Уже после крушения СССР в 1992 году в издательстве, которое тогда еще называлось «Советская Россия», вышла книга двух историков Юрия Дьякова и Татьяны Бушуевой под говорящим названием «Фашистский меч ковался в СССР».

Это было в духе времени: смешать гитлеровскую Германию и СССР, а «коричневое» отождествить с «красным», после чего вывести формулу «красно-коричневые». Что с такими делать? Только давить и нещадно, о чем и заявили в октябре 1993 в разгар московских кровавых событий.

Но авторы той книги пошли дальше: они не просто заявили, что нацистская и советская страны – близнецы-братья, но именно СССР стал предтечей той коричневой чумы.

Уже во вступлении много говорится про иные глаза, которыми теперь обозревается отечественная история, что «мы не должны оставить не перевернутым ни одного камня в поисках правды». Про искоренение всего плохого в умах и душах, избавление от «лживой историографии» и бегство из «ГУЛАГа архивов и спецхранов».

«Правда» эта свелась к утверждению, что «у нас в стране свирепствовал самый настоящий фашизм». Он, наряду с германским фашизмом, стал причиной Второй мировой войны, «причем гитлеровский фашизм был во многом порождением сталинского». В качестве подтверждения тезиса: в СССР с 1922 по 1933 «обучался цвет фашистского вермахта», который «набирал силу на нашей земле».

Утверждалось, что в книге якобы представлены документы, которые должны доказать, что Советский Союз будто бы подготавливал почву для торжества национал-социализма в Германии. В выборке было намешано и особым образом преподнесено все, что касалось советско-германских отношений в постреволюционной России с добавлением свидетельств о местных ужасах и нравах. Не обошлось и без обвинений в том, что уже в первые послереволюционные годы «большевики создавали концлагеря, заградотряды, внедрили систему заложников, ликвидировали все другие партии, выслали цвет русской мысли за рубеж, ввели цензуру...» Этим опытом якобы и поделились...

Заявлялось, что сказанное в книге про «тайное сотрудничество» в иллюстрации «неизвестных документов» «потрясает даже профессионалов, а ведь это только часть секретов, упрятанных от народа». Дьяков и Бушуева прямо говорили про большой простор для «беспристрастного» исследователя, который пойдет по их стопам: «Представляется плодотворным в будущем объединенными усилиями советских и зарубежных историков воссоздать картину военного сотрудничества Красной Армии и рейхсвера».

Логика у авторов подобного конъюнктурно-пропагандистского «шедевра» понятна и крайне тенденциозна: показать и доказать, что меч будущей войны «был обоюдоострым и ковался обоими тоталитарными государствами», за что народы этих стран и поплатились.

«Самые страшные преступления XX века совершены германским фашизмом и сталинизмом», – такой выносился суровый вердикт.

Именно такая линия была магистральной в те годы. Она не терпела возражений. Мало того, имела существенный запас для пролонгации в будущем: надежды на пытливых исследователей, которые по проторенной дороге и будут дотошно докапываться до всей правды в духе предзаданной оптики.

* * *

Эта книга вспомнилась потому, что писатель Владимир Богомолов в своей известной полемике с Георгием Владимовым называл 1992 год временем, когда наиболее четко обозначилось «очернение с целью “изничтожения проклятого тоталитарного прошлого” Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников».

Да, кстати, именно в 1990–1992 года Виктором Астафьевым была написана первая книга его романа «Прокляты и убиты». В ней в полной мере нашла отражение оптика той самой перестроечной «правды», когда правоискательство приобрело формат навязчивого копания до основания, когда открывается черная яма пустоты и нигилизма, а также самоедство, крайности самоуничтожения и самоотрицания.

То время разделило многих, эта линия разделения тянется и до нашего времени, а потому та самая полемика Богомолова с Владимовым более чем актуальна.

Это был разговор о фальсификации истории в угоду политической повестки.

«Коли допустили себя жить при своем фашизме, уж так ли ценно, что защитились от иноземного?» – сетовал на страницах журнала «Знамя» автор «Генерала и его армии». Это знамя обесценивания победы

под любым предлогом развивалось у нас долгое время. После перед каждым 9 Мая причитали по поводу «победобесия».

С буйством этой линии, направленной на нивелирование значения Победы, и выверта истории и вступил в полемику Владимир Богомолов. А это, напомним, был 1995 год, когда за подобное легко можно было заработать клеймо фашиста. Оно щедро навешивалось. Было и такое. Пытаешься защитить правду об отечественной истории, не соглашаешься с новой воинствующей и разносящей все в щепки идеологией – моментально повесят ярлык так, что не отмоешься. Многие и ломались, пытались писать и говорить в духе времени.

Полемическое высказывание Богомолова – это и реакция на владимовское послесловие «Новое следствие, приговор старый» к очерку Леонида Решина «Коллаборационисты и жертвы режима». Там Владимов использует любопытную формулировку: «люди, восставшие против соотечественников». Это у него те, кого обычно называют власовцами и прочими коллаборационистами. Владимов говорит о разном отношении к подобным. Но если «враждебно-брезгливое», то в силу нежелания вникнуть в глубину проблемы и побудительные мотивы. Из-за нежелания понять. В этом состоит и главная претензия к очерку Решина: вроде сделана попытка разобраться, но выводы остались прежние. Без той самой новизны в подходах, когда все переставляется с ног на голову.

В своем послесловии Владимов говорил и про новейшую науку, проявившуюся на Западе, – «альтернативную историю». Вроде бы безобидное дело, позволяющее лучше оценить прошедшие события, понять ошибки. А с другой стороны, мощнейшее пропагандистское орудие, открывающее большой простор для исторических манипуляций и подтасовок. Именно так и происходило в годы холодной войны, когда альтернативные версии и допущения ловкостью пропагандистской машины становились основными и подменяли реальность.

Именно в духе альтернативной истории, по Владимову, выходило, что «вина же и ошибка власовцев состояли в том, что они себя связали с худшими людьми рейха». Надо же было ставить на генерала Гудериана, тогда был бы шанс проявиться третьей силой, враждебной как Гитлеру, так и Сталину...

Эта система альтернативных допущений, становящихся основными, и стала главной в рассуждениях Владимова, что типично для магистральной идеологической линии того времени. Вот, к примеру: «Любое наше деяние допускает трактовки самые разные. Можно рассказать о людях, оборонявших Москву, форсировавших Днепр, бравших штурмом ступени рейхстага, что они это делали из страха перед трибуналом. Или они жаждали награды, облегчавших послевоенную карьеру. Наиболее дальновидные, наверное, предвкушали, что спустя полвека выжившим фронтовикам будут отпустить продукты без очереди. Можно и так...» Тогда полагаюсь, что без учета подобного невозможно говорить о поисках правды, дескать, это закрывает возможности для того, чтобы докопаться до истины.

По поводу продуктов вне очереди надо сказать несколько слов: в годы перестроечного дефицита ветераны становились объектами критики за те самые преференции, полученные от государства. За льготы, а также за то самое право отовариваться без очереди. В стране, стоящей

в очередях, ветеранов стали выставлять такими хапугами, которые спекулятивно пользуются теми или иными благами, а также одаривают ими своих родственников. Эхо этого представления и проявилось у Георгия Владимова.

Система допущений у него дошла до того, что если бы «помощь восстановленной Праге» РОА увенчалась успехом, то, быть может, не было бы и подавления «пражской весны»?.. Подспудно и власовцы рифмуются с протестовавшими против тех событий, то есть с диссидентами и инакомыслящими.

Все допущения происходили из основного идеологического императива: Сталин и созданная им система – абсолютное зло. Это открывало большой простор для любых альтернативных версий, которые принимались на веру, ведь все лучше, любое другое зло меньше. Любой способ избавления от этого наследия, даже нереализованный, даже гипотетический, даже фантазийный – благо. Все это становилось питательной средой для конструирования альтернативной истории, альтернативной реальности и привыкания к ней.

При этом те, кто оставался в рамках реальности, воспринимался несовершенным, устаревшим, пребывающим в плену догм, несущих печать того же сталинского наследия. Выставлялся тормозом на пути познания правды, в том числе через веер альтернативных версий, что стало трактоваться в качестве главного проявления и достижения гласности.

Именно таковым и воспринимался Владимир Богомолов с его правдой.

* * *

В своей полемике Богомолов первым делом обратил внимание на образ немецкого полковника Гейнца Гудериана в книге Владимова. За него автор «Генерала и его армии» зацепился, чтобы показать якобы реальную альтернативу Гитлеру и его режиму, при этом в СССР такой альтернативы не было. Или почти не было: эта альтернатива пробудилась в генерале Власове при его коммуникации с цивилизованным миром.

«Воссоздан образ – замечу, самый цельный из всех в романе – мудро, гуманно, высоконравственного человека, правда, в мыслях и самооценках не страдающего скромностью», – отмечал Владимир Богомолов. Он обращает внимание, что этот образ был подхвачен «тусовочной группировкой» и стал символом «нового видения войны». Этаким фашист с человеческим лицом, в противоположность тому понятному образу, который создавался в советские годы. Впрочем, объяснить мотивацию и попытаться понять поступки можно и у любого людоеда...

Новая оптика создавалась именно через попытки понимания, объяснения и принятия темы предательства. Она во многом была сопряжена тому, что произошло с Советским Союзом в 1991 году. В военной тематике это происходило через разглядывание человечности у врага и максимализм в отношении к себе, нарочитое выпячивание и гиперболизация собственных грехов и пороков. В таком контексте и недавний соперник-оппонент в холодной войне вовсе не будет восприниматься в негативном спектре, а, наоборот, как укор и свидетельство нашего заблуждения.

Богомоллов отмечает, что у Владимова Власов становится практически антиподом Сталину (поэтому не предательство, а борьба, третья сила), а якобы блестящий Гудериан – Гитлеру. И главная проблема по владимовской логике состояла в том, что Гудериан не объединился с Власовым и оба солидарными усилиями не повернули историю в чаемом направлении. Дальше будто бы у немецкого полководца был план объединиться с западными демократиями, что позволило бы ему остановить советской нашествие на Европу и не погрузить ее почти на полстолетия в состояния блокового противоборства.

Именно к подобным рассуждениям привела борьба с советским, которая особенно проявилась в последнюю перестроечную фазу. Та же гласность обернулась в возможность любых допущений, когда цель оправдывает любые средства. Владимир Богомоллов все это видел, как и чувствовал долг обо всем это напрямую сказать. В том числе и о том, что массивная фальсификация истории и в первую очередь Великой Отечественной войны была инициирована сверху и всячески поддерживалась новой российской властью.

Он отмечал, что выпуск «клеветнических книг считался “правительственным заданием”». Этакой формой нового соцзаказа. Задача понятная: переложить на советскую страну вину за начало Великой Отечественной, нивелировать Победу, ведь именно она становилась главным оправданием и апологией советского строя, который во что бы то ни стало необходимо было дезавуировать, чтобы не допустить возврата. Поэтому, к примеру, как отмечает Богомоллов, на поток было поставлено издание книг Виктора Резуна (Суворова), при этом не приветствовалась его критика и разоблачение.

В своей полемике Богомоллов напирает на факты, а не «сочинительство» в духе тех самых альтернативных исторических вариаций. А реальные факты же свидетельствовали, что «с благословения Гудериана в немецком вермахте, в основном беспартийном, воинское отдание чести было заменено нацистским приветствием с выбрасыванием руки – “Хайль Гитлер!”». Или другие: руководство подавлением Варшавского восстания, координация карательных действий, которые, само собой, в конструкции Владимова без надобности, и он их попросту проигнорировал. Или дичайший вандализм в Ясной Поляне, где находился командный пункт Гудериана. Для альтернативного видения – все это скучное и устаревшее, а также мешающее новой картине мира.

Оперируя фактами, Богомоллов разоблачает и образ «спасителя России», придуманный генералу Власову немецкими спецслужбами и пропагандой, а десятилетиями позже подхваченный пытливым сочинителем. В духе этой же пропаганды Владимов не жалел черной краски в описании образов советских военачальников. Мало того, не скрываемая ненависть проявляется и в скупых описаниях простых советских солдат. У него это личное, слишком личное, Богомоллов понимает личностную мотивацию оппонента, берет ее в расчет, но при этом отмечает, что даже в такой ситуации можно не растерять объективности и не предаваться безудержно мстительности.

«Уже не первое десятилетие, отбросив идеологическую фразеологию, пытаюсь осмыслить и понять поведение и действия генерала Власова в июне – августе 42-го года, стараюсь с позиций общечеловеческой объективности найти хоть какие-то, даже не оправдательные, а всего лишь смягчающие обстоятельства его поступков, но не получается...» –

писал Богомолов. По его словам, в «истории России и Отечественной войны Власов был и остается не идейным перебежчиком и не борцом с “кликой Сталина”, а преступившим присягу, уклонившимся в трудную минуту от управления войсками военачальником, бросившим в беде и тем самым предавшим более 30 000 своих подчиненных, большинство из которых заплатили за это жизнями». То есть человек предающий, совершает серию предательств.

Важен еще и принцип, сформулированный Богомоловым в той полемике: «С Отечественной войной – величайшей трагедией в истории России – необходимо всегда быть только на “вы”». Но, сожалению, он далеко не для всех очевиден. Действовала целенаправленная идеологическая установка на выдавливание СССР из числа победителей во Второй мировой войне. Страну-победительницу затирали на второстепенные роли и параллельно делали солидарной виновницей войны.

Владимир Осипович очень переживал, что с целью «изничтожения проклятого тоталитарного прошлого», многие принялись спекулировать на войне, и стала четко обозначаться тенденция: «вместе с семью десятилетиями истории Советского Союза опрокинуть в выгребную яму и величайшую в многовековой жизни России трагедию – Отечественную войну». Что под личиной правды развертывается циничное и злонамеренное очернение всего и вся.

При этом регулярные танцы на костях и трагедии вошли в традицию. Богомолов же не считал, что из-за политики Сталина необходимо мстить всей стране. Он приветствовал горбачевскую перестройку, как форму насущного обновления советской жизни, но не мог принять обвал страны, реформаторский разрушительный вихрь, пробудивший и разные формы предательства.

Тот вирус предательства и фальсификации отомстил самому писателю. Уже после смерти были устроены пляски и на его костях: Богомолова обвиняли в том, что он выдумал свою биографию и будто не воевал вовсе, а все истории лишь где-то услышал. Фальсификации, основанные на альтернативных историях, любят и питаются конспирологией.

* * *

В 1995 году книге Георгия Владимова «Генерал и его армия» была присуждена премия «Русский Букер». Это была главная литературная премия в стране в те годы. Финансировалась она британцами. В 2001 году тот же «Русский Букер» назвал этот роман книгой десятилетия.

Публицистический роман Владимира Богомолова о генерале Власове «Срам имут и мертвые, и живые, и Россия...» целиком так и не был опубликован. Это же касается и его романа в пяти книгах «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Вышли только отдельные главы.

Все это наглядно свидетельствует о том, на какую «правду» была сделана ставка в постсоветской России, где позиция Богомолова представлялась устаревшей, и на первый план выдвигалось то самое новое видение или вывернутое наизнанку, как и в случае с Владимовым и его парой Власов-Гудериан. Оно вписывалось в постсоветские реалии, объясняло и оправдывало их, сорило различными альтернативными

версиями, чтобы ввести в состояние растерянности с целью вызвать отторжение от своей реальной истории.

Такие же, как Владимир Богомолов, оказались не нужны, воспринимались помехой. Восторжествовала иная иерархия, иная система ценностей. И все это насаждалось в том числе и через откровенный подлог.

«Хоть бы скорее вы все передохли!..» – этой фразой, которую в те годы часто приходится слышать, автор «Момента истины» завершает свою полемическую статью. Тогда и на самом деле существовал неимоверный зуд страстного желания избавиться от всего и разом, отринуть прошлое, начать с чистого листа, выпилиться из отечественной традиции, которую крушили мечами нигилизма и сознательно демонизировали. Это был 1995 год. Меньше двух лет назад во время московской усабицы провозгласили «Раздавить гадину!» – своеобразный культурный манифест, действовавший в стране долгие годы.

И ведь на самом деле «давили»: задвигали на маргинальную периферию, навешивали ярлыки, выставляли за фанатичных адептов ушедшей системы, которые вот-вот тоже должны отойти, чтобы не мешать широкой поступи демократических истин, чтобы не ущемляли свободу альтернативных версий, становящихся основными и переходящими в формат догм.

Притом что речь шла об особой породе людей, в которой принадлежал Владимир Богомолов. Та самая, закаленная, как сталь. Они и несли свою весть о подобных. Не кичась, без суеты и с чувством собственного достоинства.

Повторится ли что-то подобное тому человеческому веществу в истории? Та самая коренная породистость, доблесть, стать. Народная истинная аристократия из глубины. В годы, когда свирепствовала «правда» Владимова хотелось ответить: никогда. Это звучало как приговор. Казалось бы, все утрачено безвозвратно, отечественная цивилизация разрублена, остались лишь фантомные боли и полет фантазии новых шустрых мистагогов, пытающихся навязать новую традицию, новую систему ценностей.

Впрочем, современность, возвращение России в канву своей истории, противостояние с Западом, СВО, доблесть и героизм наших современников на фронте позволяет надеяться, что ничего не потеряно. Отечественную цивилизацию и человека не раздавили окончательно, не подменили, как это произошло на Украине.

Наличие одного праведника оставляет шанс, что город спасется. Владимир Богомолов и другие стойкие бойцы-единомышленники внесли свою лепту в то, чтобы Россия устояла. Это и был ее цивилизационный полк, который действовал вопреки всему, не рассчитывая ни на что, но исполняя свой долг до конца.

Его герой – яростный подросток Иван был «расстрелян 25.12.43 г. в 6.55». Поймавшему его полицая Титкову было выдано сто марок. Повесть эта была написана за пару месяцев, когда сам автор достиг возраста Христа. Долг – это не только история про героизм, но и о малодушии и о предательстве. Вот почему Владимир Богомолов никак не мог простить генерала Власова.

Эпоха распада и эпоха предательства выводила соответствующих героев. Исходя из ее матрицы и догматов примерно понятно, как бы

в этих новых реалиях вывели богомоловского Ивана, а также полиция Титкова с его сотней марок.

Владимир Богомоллов был типичным представителем той человеческой породы, которая проявила себя в отечественной истории XX века. Добровольцем пошел воевать, приписав себе пару лет. Обычная история по тем временам. Необычно то, что выжил и дошел до Берлина. Испытал и тринадцатимесячного тюремного лиха уже после войны.

Прямой и не льстивый, свободный. Был непубличным, возможно, потому, что воспринимал публичность за форму продажи и разменивания себя. Он говорил своими книгами, за которые отвечал. Как и его герой – подросток Иван – выстоял, не растратил человечности. А ложь, предательство, подлость, фальсификация – особое испытание, что нашествие. Ее надо пережить и бороться с ее буйством.

Вехи памяти

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет. Работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской государственной консерватории. Кандидат филологических наук, доцент, историк культуры, критик.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забывтая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), «Утренний человек Даниил Хармс» (2020), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ОН БЫЛ УДИВИТЕЛЬНЕЕ СВОИХ КНИГ...»

130 лет со дня рождения Юрия Тынянова

Известный остролов и афорист Виктор Шкловский сказал как-то про себя, что он «и рыба, и ихтиолог одновременно», имея в виду то, что он и писатель, и литературовед. Конечно, так оно и было. Но дело в том, что это свойство – сочетать в себе аналитизм мышления с литературным даром, с пониманием словесного искусства «изнутри», – было присуще и другим вдохновителям и членам знаменитого ОПОЯЗа, Общества изучения поэтического языка, возникшего в полемике с академическим литературоведением в революционном Петрограде.

Юрий Николаевич Тынянов примкнул к ОПОЯЗу в 1918 году. «Встретил Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума и нашел друзей. Опояз, при свече в Доме искусств спорящий о строении стиха. Голод, пустые улицы, служба и работа, как никогда раньше», – писал Тынянов в «Автобиографии». С сентября 1920 года он был секретарем этого общества. В издательстве «ОПОЯЗ» вышла первая его книга «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)». «За издание получил воз дров», – записал он в анкете Государственного института истории искусств. Может быть, в дальнейшем именно творческая жизнь Тынянова, филолога и писателя, особенно ярко продемонстрировала, как неразрывно могут сосуществовать в одном человеке ученый-исследователь

и мастер художественного слова, автор замечательных исторических романов, повестей и рассказов.

Стремясь сделать литературоведение «точной наукой» со своими собственными законами, ОПОЯЗ в то же время проповедовал самоценное поэтическое слово, отстаивал право на идеологизированное искусство. И эстетически пересекался с творческими поисками литераторов-авангардистов начала XX века – футуристов, символистов и даже обэриутов, с которыми опоязовцы готовили совместный сборник «Ванна Архимеда» (так и не вышедший, конечно). Но «революционный», юношески-задиристый характер опоязовской науки странным образом сочетался с глубокой исследовательской серьезностью. Это и помогало им в обращении к коренным вопросам словесного искусства. Что такое литература? Как соотносятся в литературном произведении содержание и стиль? Или где граница между «жизненным материалом», которым располагает автор, приступая к написанию произведения, и той творческой трансформацией, которую ему предстоит совершить? Где различие между «что» и «как»? «Как сделана “Шинель” Гоголя?» называлась знаменитая статья Бориса Эйхенбаума. «Как мы пишем» озаглавлена статья Юрия Тынянова о писательской работе.

Тынянов – один из немногих пришедших в двадцатые годы в литературу – имел за спиной блестящую академическую школу. Виктор Шкловский, один из основателей ОПОЯЗа, теоретик поэтического языка, не проучился в Петербургском университете и двух лет и не знал ни одного иностранного языка. Теоретик левого искусства Осип Брик занимался самообразованием. Самоучками были и многие другие вершители «новой литературы», они восполняли недостаток образования молодой яростью и верой в свои силы.

У Тынянова было по-другому. Окончив в 1912 году Псковскую гимназию с серебряной медалью, он был зачислен в студенты Императорского Петербургского университета. И слушал лекции не только по истории и филологии, как полагалось студенту славяно-русского отделения историко-филологического факультета, но и по другим наукам, включая естественные и точные. Что касается филологии, то в студенческие годы он и сам уже занимался наукой. В Пушкинском семинаре профессора С.А. Венгерова изучал неизученное еще тогда творчество пушкинского однокашника-лицеиста Вильгельма Кюхельбекера. В 1919 году его выпускная (дипломная, как сказали бы сейчас) работа «Пушкин и Кюхельбекер» получила высшую оценку, Тынянова оставили при кафедре русской литературы университета, где он редактировал словоуказатель к поэме Пушкина «Медный всадник» и другие издания. А кроме того, преподавал литературу в бывшем Тенишевском училище, служил переводчиком в петроградском бюро Коминтерна, корректором в Госиздате. С 1930 года преподавал в Институте истории искусств и читал публичные лекции о литературе. Многие его слушатели стали потом известными литературоведами.

В двадцатые годы одна за другой публиковались научные работы Тынянова-филолога. «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Тютчев», «О литературном факте», «Проблема стихотворного языка», сборник «Архаисты и новаторы», статьи о Гейне. В статье «Мнимый Пушкин» он ставил под сомнение легендарную формулу Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все», поскольку эффектные выражения, штампованные эпитеты и «монументальные пошлости» мешают понять конкретное своеобразие и ценность пушкинского творчества. В своих литера-

туроведческих и критических работах сам Тынянов всегда успешно находил «особые приметы» писателей. «Монументальный стиль в малых формах» – у Тютчева; гармония классики с русским сказом и диалектизмами – у Некрасова; пафос изобретателя и «научный опыт над жизнью» – у Брюсова; «поэтическая свобода как необходимость» – у Хлебникова. И при этом, как писала одна из его учениц, литературовед и литератор Лидия Гинзбург, «Тынянов-ученый <...> не реализовал до конца запас своих мыслей. Он написал меньше, чем продумал». Многие научные идеи Тынянова-филолога до сих пор неиссякаемо плодотворны для литературоведения. Это скажет вам любой филолог. Вот только сам «научный метод» его вряд ли повторим.

Друзья вспоминали об особом артистизме, отличавшем Тынянова и в науке, и в быту – с его рассказами в лицах о людях далекого прошлого, рассказами столь непосредственными и личными, как если бы эти люди были из сегодняшнего его окружения. Или как если бы он сам пожил когда-то в этом прошлом. У него было особое артистическое понимание литературы прошедших лет, похожее на личное «проживание» ее. С безошибочным знанием мельчайших бытовых деталей и подробностей, благо эрудиция его была безгранична, как и память. В каком-то смысле он действительно не столько читал, сколько «проживал» литературу. В своем творческом воображении.

Корней Иванович Чуковский вспоминал о своем общении с Тыняновым:

Зайдет, бывало, ко мне на минуту – по пути в библиотеку или в Пушкинский дом – и засидится до самого вечера, толкуя о Державине, о Якове Гроте, о Диккенсе, о Мицкевиче или о какой-нибудь мелкой литературной букашке, которую, кажется, ни в один микроскоп не увидишь. И, помню, меня даже поражало, что из каждой прочитанной книги перед ним во весь рост вставал его автор, живой человек с такими-то глазами, бровями, привычками, и что о каждом из них он говорил как о старом приятеле, словно только что расстался с ним у Летнего сада или в Госиздате на Невском.

И если бы во время таких разговоров ко мне в комнату вошел, например, Бенедиктов, или, скажем, Языков, или Дружинин, или Некрасов с Панаевым, – писал Чуковский, – я нисколько не удивился бы, потому что и сам под гипнозом тыняновской речи начинал чувствовать себя их современником. ...Все писатели были для него Николаи Филиппычи, Василии Степанычи, Алексеи Феофилактычи, Кондратии Федоровичи. Они-то и составляли то обширное общество, в котором он постоянно вращался. Ему не нужно было напрягать воображение, чтобы воскресить, например, баснописца Измайлова, – тот и так стоял перед ним во весь рост, талантливый нетрезвый забулдыга, – и Тынянову были ясно видны даже синие жилки у него на носу. ...Помню, как полнокровно, с каким изобилием живописных подробностей изображал он у меня на ленинградской квартире легкомысленного, чванного, скупого и все же милого какой-то обаятельной детскостью Сергея Львовича Пушкина, в голубом галстуке, в крискомиссарском мундире, и потом, когда я прочитал в его незаконченном романе страницы, посвященные Сергею Львовичу, я вспомнил, что уже видел этого человека – у себя на квартире, на Кирочной улице, за десять лет до того, – когда Тынянов исполнял его роль.

Вениамин Каверин, младший друг Тынянова, женатый на его сестре, рассказывал, что, когда он в девятнадцать лет решил побриться, Юрий Николаевич прочел ему целую лекцию. О значении бороды в культуре

Востока, о том, когда начали бриться на Западе, как надо править бритву на ремне и как делать пену. Потом объяснил, почему у китайцев не растет борода, и спросил: «А где тут у тебя борода?» Это – о живой и веселой науке. Ведь Тынянов был веселым человеком, любителем розыгрышей и умного веселья.

Но зато в любом, даже частном с ним разговоре на какую угодно тему многие замечали его напряженное вслушивание и неожиданные ходы тыняновской аналитической мысли. А на научных заседаниях и обсуждениях, по воспоминаниям Лидии Яковлевны Гинзбург, все «ждали, когда же заговорит Тынянов; иногда он долго молчал. Ждали поворота. Вот он заговорит, и факты переместятся, предстанут в новом соотношении, непредвиденном и очень точном».

Двадцатые годы были для него самым счастливым десятилетием. И продуктивным. Не только в литературоведении, но и в литературе. В 1925 году вышел его первый роман «Кюхля». В его основе лежало большое исследование Тынянова-студента о Кюхельбекере и его эпохе, ...о его любимой пушкинской эпохе. История создания романа удивительна. К ней тоже имел отношение Чуковский, который рассказывал об этом в своих воспоминаниях.

О том, как однажды после лекции Тынянова об «архаисте Кюхельбекере», состоявшейся в клубе при ленинградском Госиздате, они возвращались вместе по Невскому в Дом искусств, где оба квартировали. Как Юрий Николаевич «художественно, с обилием живописных подробностей рассказывал Чуковскому о трагической жизни поэта, о его взаимоотношениях с Пушкиным, с Рылеевым, с Пушиным». И когда в одном ленинградском издательстве со странным названием «Кубуч», с которым сотрудничал Чуковский, задумали издавать детские книжки «для среднего и старшего возраста», с подачи Чуковского было решено заказать тоненькую брошюрку о Кюхельбекере именно Тынянову. Тот согласился не сразу. Но, сев за книжку, вскоре так увлекся ею, что сам не заметил, как написал не восемьдесят заказанных ему страниц, а больше трехсот. Роман о Кюхельбекере писался с такой фантастической легкостью, что сам автор удивлялся.

Он почти не сверялся с архивами, ведь со времени университетских бдений все жило в его четкой памяти. Он знал о Вильгельме Кюхельбекере больше, чем сам Кюхельбекер. Но в своем воображении еще и «пережил» жизнь этого «Дон Кихота декабризма», как свою собственную. Вжился в эпоху, усвоил себе ее стиль, ее нравы, ее язык. Опираясь на ничтожно малые документы и сведения из жизни своего героя, на то, что можно назвать лишь «тенью поступка, мысли, чувства», по выражению Каверина, он угадал в Вильгельме Кюхельбекере главное. Это был писатель и революционер, «пропавший без вести, уничтоженный, осмеянный понаслышке». И он «оживал» теперь под пером Тынянова со всей трогательной чистотой своих надежд и стремлений. Как «оживали» в романе и его друзья и обидчики. Пушкин, Дельвиг, Ермолов, Грибоедов, Рылеев... Но в самой этой скромности и незаметности Вильгельма, возможно, и заключается сила характера, нарисованного Тыняновым.

Когда издательство «Кубуч» приняло книгу и напечатало ее в полном объеме, и роман «Кюхля» имел читательский успех – причем и у людей знающих, и у рядового читателя, и у подростков, – писатель удивился, кажется, еще больше. «Тынянов просто не знал, что он писатель», – сказал тогда Шкловский.

Потом будет работа над романом «Смерть Вазир-Мухтара», который выйдет в 1928 году. Роман о мучимом сознанием своего отступничества Грибоедове, чья жизнь и гибель стали оборотной стороной сомнительной славы не автора блистательной комедии, а блестящего дипломата. Загубленного системой, которой он скрепя сердце служил, предав лучшее в себе, свою поэзию, свою музыку.

Тогда же, в двадцатые и в начале тридцатых годов, писались великолепные исторические рассказы Тынянова, кстати, в каком-то смысле, «филологические». Самый знаменитый из них, воплощенный потом еще и в кино, и в музыке С. Прокофьева, – «Подпоручик Киж» 1927 года. В его основе глупая писарская ошибка, результатом которой стала головокружительная карьера несуществующего офицера, воплотившая пропитанный страхом бюрократический абсурд эпохи императора Павла Первого. «Восковая персона», фантастическая повесть из истории Петра Великого. Помимо всего прочего, она совершенно уникальна с точки зрения воссоздания разговорной лексики петровской эпохи. Ее невидимый рассказчик – явно человек петровского времени. «Еще в четверг было пито. И как пито было! А теперь он кричал день и ночь и осип, теперь он умирал. А как было пито в четверг! Но теперь архиятр Блуменпрост подавал мало надежды». Эта его стилизованная речь помогала создавать характеры людей, живших во времена, когда страх перед императором, реальным или восковым, был сильнейшим оружием государства. Ироничный рассказ 1933 года о времени Николая Первого «Малолетний Витушишников» – о «государственном потрясении», развернувшемся оттого, что «фрейлина Нелидова отлучила императора от ложа».

В начале тридцатых годов Тыняновым был задуман большой роман о Пушкине. Собственно говоря, первыми подступами к нему были уже и предыдущие два его романа о людях пушкинского окружения. Роман должен был по первоначальному плану начинаться с истории Ганибаллов...

Удивительно, но одновременно с художественной прозой продолжалась и активная научная деятельность Тынянова. Выходили в свет новые его труды, оставившие глубокий след в развитии филологической науки – по теории литературной эволюции и анализу структурных законов литературы. Непрерывный поиск «нового зрения», то есть стремление увидеть по-новому то, что кажется привычным и давно «названным», – вот что двигало его занятиями историей литературы.

Почему-то принято думать, что в Тынянове как бы соединились два человека – исследователь и художник, что в его литературной биографии «художество» спасало от ложной науки. Это кажется мне глубоко неверным, – писал биограф Тынянова писатель Вениамин Каверин. – Художник всегда был очень силен в исследовательских работах Тынянова, а романы его были невозможны без того глубокого разреза истории, который он производил умным ножом исследователя. <...> Да, Тынянов был художником, когда, читая Пушкина или Катенина, он на основании едва заметного поэтического пунктира восстанавливал тайную, глубоко запрятанную литературную полемику, сложнейшую историю их отношений. Он умел разгадывать не так, как раскрывают шифр, а так, как изучают почерк человека.

А вот как писал в Автобиографии сам Тынянов о том, что заставило его приняться за прозу:

Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считают беллетристику «халтурой». Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. «Выдумка» – случайность, которая зависит не от существа дела, а от художника. И вот когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве – ощущение подлинной правды: так могло быть, так может быть, было.

В своих исторических романах и рассказах Тынянов подходил к историческому документу как художник. Он и не думал никогда, что полнота исторической картины всецело зависит от изучения исторических документов. И писал в статье «Как мы пишем»:

Там, где кончается документ, там я начинаю. Представление о том, что вся жизнь документировано, – ни на чем не основана: бывают годы без документов. Человек сослан за вольнодумство на Кавказ и продолжает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его. Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах. Даже большие движения – чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меняются отношения, а на поверхности – рябь или даже – все как было. Если вы вошли в жизнь вашего героя, вашего человека, вы можете иногда о многом догадаться сами.

Так понимал Тынянов свою задачу исторического романиста.

Так что не будем «делить» его на литературоведа и писателя. Тем более что можно ведь и продолжить список его ипостасей, он был еще и литературным критиком, и киносценаристом, и переводчиком. Он удивительно много успевал, несмотря на тяжелую неизлечимую болезнь, которая мучила его, временами приковывая к постели, не давая работать, временами отпуская, пока совсем не свела его в могилу в сорок девять лет.

Главное, он был предан литературе во всех своих ипостасях. И видел ее объемно, так сказать, в «три дэ». И тем глубже о ней судил. И тем большему мы можем у него научиться. Например, приблизиться к пониманию тайны рождения художественного вымысла, становящегося художественной правдой. Кто, если не Юрий Тынянов, в ком скрупулезный исследователь и вольный художник неразделимы, мог бы разъяснить нам эту тайну? Если только ее вообще можно разъяснить...

Ну разве что вот эти две подсказки, которые среди прочих подбросил нам для размышления Тынянов. Первая подсказка, конструктивная, касается романа «Смерть Вазир-Мухтара», самой трагической его вещи. Вторая – лучезарный образ смеющегося младенца-Пушкина из оборванного на полуслове смертью автора романа «Пушкин», неоконченного, и все-таки самого оптимистичного из произведений Тынянова.

Итак, эпизод первый. Это фрагмент из его статьи «Как мы пишем», которую мы уже цитировали. Юрий Николаевич в ней как раз и де-

лится своими писательскими «секретами». Таким был заказ одного из ленинградских издательств, приступившего в 1930 году к созданию сборника, в котором писатели рассказывали о своей «творческой кухне». Название тыняновской статьи стало названием всей книги, не раз потом переиздававшейся. Странная это все-таки статья (или эссе, или очерк). Шестнадцать маленьких, казалось бы, разрозненных кусочков – о факте, в который не верят, о старинном замке на горе, о древних Афинах и Иване Грозном, о бормотателях, за которых нужно договаривать, о жене Булгарина, о портящих все мелочах, о пространстве романа, «вышедшем из моего повиновения»... «Начало приходит обычно на улице – фразой, не фразой, словесной походкой...».

Вот один из этих кусочков статьи «Как мы пишем»:

Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неимением. Я, например, знаю, что в своем романе о Грибоедове пропустил, между прочим, без внимания одну фамилию; это фамилия молочного брата Александра Сергеевича Грибоедова, его служителя – Александра Дмитриевича Грибова. Их странная дружба повела в результате к тому, что один стал каким-то дополнением другого в романе. Но на деле я недоволен тем, что не учел фамилии Александра Дмитриевича. Фамилия Грибов до странности напоминает фамилию Грибоедова.

У аристократии существовал обычай метить своих незаконных сыновей фамилиями: фамилия отца искажалась – она либо переворачивалась задом наперед (таким сыном и вместе с тем перевертнем Шубина был Нибуш), либо отсекался слог, обычно начальный (так Бецкий был сыном князя Трубецкого, Пнин сыном князя Репнина, Мянцев сыном Румянцева).

Насчет Грибова дело это неизвестное, документов нет, папенька Александра Сергеевича, Сергей Иваныч, нам не известен ни с этой стороны, ни с какой другой, известен только чин его; кормилица Грибоедова никого (кроме, может, именно Сергея Иваныча) не интересовала. Документов нет, но мне жаль, что я сам не додумался до них. Я знал о фамилиях натуральных сыновей аристократии, даже замечал, что Грибов что-то очень похоже на Грибоедова, но эти знания не столкнулись, и «документ» не был создан.

Брат, служащий брату, брат Грибоедова, лакей с усеченной фамилией, с которым посланник и поэт дружит, а иногда его и порет, – эх, жалко мне, что я ждал документа.

Другой эпизод – из неоконченного романа «Пушкин», все-таки главного творения Тынянова. Внутренняя близость с Пушкиным была у Тынянова совершенно особенной. Начиная со странного сходства взрослого Тынянова с портретами Пушкина-лицеиста, замеченного друзьями. Он был невысок, но строен и легок в движении, пока позволяло здоровье. У него было запоминающееся лицо, умное и доброе. Но главное, многолетний глубочайший интерес к творчеству и личности поэта и собственное художественное чутье позволяло Тынянову о многом в жизни гения догадаться. Хотя он долго, осторожно и трепетно приступал к этой последней своей книге. Кажется, они действительно смотрели на многие вещи одинаково. Например, на природу писательского вымысла, которая проявлялась не только в романах.

Здесь мы должны обратиться ненадолго к явлению «почтовой прозы» Александра Сергеевича. То есть к одному его письму, написанному Наталье Николаевне 20–22 апреля 1834 года из Петербурга в Москву, где жена гостила у родственников. В письме этом приметы пушкинской

«почтовой прозы» явлены во всем блеске. Кроме придворных и домашних новостей Пушкин рассказывает жене о проходящих в столице торжествах, связанных с празднованием совершеннолетия сына Николая I, будущего императора Александра II, и с церемонией его присяги. И в частности пишет, что «рапортуется» больным и боится встретить царя, поэтому просидит все праздники дома. «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать...» И дальше в письме идет изящный пассаж:

Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перешеголяет, а плетью обуха не перешибет.

Действительно, поэту в жизни довелось застать три царствования – Павла I, Александра I и Николая I. Но если с Александром и Николаем ему приходилось встречаться не раз и с ними у него существовали свои, довольно непростые взаимоотношения, то с Павлом пересечение Пушкина в историческом времени было минимальным. И факт его личной встречи с ним очень сомнителен. «Первый (то есть Павел. – В. Б.) велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку», – пишет Пушкин. Но ведь когда эксцентричного самодержца в марте 1801 года уже убили в Инженерном замке заговорщики, маленькому Пушкину не было еще и двух лет. Вероятность их встречи в принципе ничтожна мала. Семья его жила тогда в Москве, Павел после кремлевской коронации в 1797 году ни разу не бывал в Первопрестольной. Свидетельств пребывания Пушкиных в Петербурге в 1800-го или в начале 1801 года тоже нет... Да и вообще, пожурить няньку за то, что младенец в коляске оказался в присутствии императора в картузе, – это странно. И факт этот может восприниматься разве что как шутка. Ну или выдумка, делающая этюд о трех царях, с которыми он ссорился, более гармоничным.

Однако личные письма великих людей всегда считаются важнейшим источником для биографов. Поэтому факт встречи Пушкина с императором Павлом вошел в научный оборот. В академической Летописи жизни и творчества поэта читаем: «1800: март (?) август (?) ноябрь (?)». Пушкины с детьми живут в Петербурге. Павел I при встрече с Пушкиным, гуляющим с нянькой, велит снять с него картуз». Приведенный здесь пример все-таки выдуманного, по-видимому, эпизода своей биографии в контексте вполне реальных событий, о которых рассказывает Пушкин жене, – скорее всего, не единственный в его эпистолярном наследии. Ну что подделаешь, ведь частное письмо в ту олитературенную эпоху воспринималось современниками как явление литературное. А значит, и писалось, в каком-то смысле, как литературное произведение. И все-таки для многих подобные сомнения по адресу великого Пушкина выглядят кощунством.

Юрий Николаевич Тынянов, который поднимал в своей работе «Литературный факт» 1920-х годов тему переписки пушкинского времени как огромной важности литературного факта, удивлялся, как это историки, а тем более литературоведы его просмотрели. И использовали

«пушкинские письма покамест только для справок, да разве еще для альковных разысканий». Тынянов, конечно, знал об этом образце пушкинского вымысла в «почтовой прозе» поэта. Интересно, а как он отнесся к эпизоду о трех царях в письме Пушкина и сомнительному факту его встречи с императором Павлом? Будучи крупным знатоком жизни и творчества Пушкина и его времени, Тынянов, конечно, понял и оценил изящный вымысел поэта об этой «встрече». И поддержал «игру». В самом деле, почему бы поэту и не пожертвовать правдоподобием собственной биографии ради стройности сюжета? Триада (или терция) вообще более устойчивая сюжетная композиция... Так что пусть будет и Павел.

Поэтому в первой части романа «Пушкин» Тынянов, уже как прозаик, подхватил и «развил» вымысел Пушкина, посвятив этому событию несколько страниц. О том, как легко снялся семейный корабль Пушкиных с московского Елохова, отправляясь в Петербург, чтобы «осмотреться». О вздыбленном коне сердитого маленького генерала, чуть не наехавшего на няньку с барчуком: «Шапку!» Нянька повалилась в снег на колени, а ребенок засмеялся. О том, как помертвел, узнав об этом происшествии, Сергей Львович, испугавшийся преследований и засобиравшийся вон из столицы. «Через месяц после того, как Сергей Львович спасся с семьей в Москве и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, – произошла смерть императора Павла». В этом эпизоде у Тынянова обращает на себя внимание знаменательная деталь – «Нянька повалилась в снег на колени, а ребенок... засмеялся(!)». Раздел «Детство» тыняновского «Пушкина» вообще полон доброго юмора, легкой иронии (по адресу пушкинских родителей, например) и веселых сцен. Оптимистичен и весь этот роман.

Большой замысел о рождении, развитии и гибели национального гения остался не завершенным. Первая часть «Детство» была опубликована в 1935 году, вторая часть «Лицей» печаталась в 1936–1937 году. В 1943 году была опубликована третья часть «Юность», над которой автор работал в Перми, куда был эвакуирован в 1941 году, будучи уже больным безнадежно. Через два года он умер в Москве. И все-таки роман «Пушкин» воспринимается как целостное произведение о детстве и юности поэта. Его ясный язык, стремительность повествования и любовь автора к своему герою обеспечивают интерес к книге. А жизнерадостность его вовсе не уступка эпохе, требующей постоянной жизнерадостности мироощущения, что некоторые критики ставили в вину Тынянову. Нет, просто для Тынянова, как и для Блока, имя Пушкина было «веселое имя».

Евгений Шварц, вспоминая своего друга, писал:

Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранними превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина – тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. ...Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему ходил на лицейский портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадежная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного, собственного знания.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского.

Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

«СУРОВОЙ ИСТИНЫ ЧЕЛО»

В год 255-летия И.А. Крылова

Иван Андреевич Крылов (1769–1844), замечательный русский поэт, великий баснописец, уже при жизни был признан классиком отечественной литературы. Основной смысл своего творчества он видел в служении «истине святой», народу, людям, «чтоб не ослабить дух» и «не испортить нравы», «не разлучить их с простотой»:

Так надобно гораздо разбирать,
 Как станешь грубости кору с людей сдирать,
 Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять,
 Чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы,
 Не разлучить их с простотой
 И, давши только блеск пустой,
 Беславья не навлечь им вместо славы.
 Об этой истине святой
 Преважных бы речей на целу книгу стало;
 Да важно говорить не всякому пристало:
 Так с шуткой пополам
 Я басней доказать её намерен вам

«Червонец»

«Славный Крылов», – так называл его А.С. Пушкин (1799–1837). Поэт обосновывал мысль о народности баснописца, закономерно счи-

тая его представителем духа русского народа. Пушкин подчёркивал: «отличительная черта в наших нравах есть какое-то весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» – черты, присущие басенному творчеству Крылова.

Вот почему в особом представлении прославленный баснописец не нуждается. Более двух столетий он известен как «дедушка Крылов» каждому с детства – всем, кто говорит и читает по-русски. Так его стали именовать и называют до сих пор – с лёгкой руки поэта-остроумца князя П.А. Вяземского (1792–1878), стихи которого о Крылове «На радость полувековую скликает нас весёлый зов...» были даже переложены на музыку и исполнялись как песня с припевом: «Здравствуй, дедушка Крылов!»:

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта – наша быль.

И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Её давно мы затвердили,
Её и внуки затвердят.

Стихотворение прозвучало 2 февраля 1838 года на торжестве в честь 50-летия литературной деятельности Крылова. Этот юбилей, согласно справедливой оценке В.А. Жуковского (1783–1852), отмечался как «праздник национальный; когда можно было пригласить на него всю Россию, она приняла бы в нём участие с тем самым чувством, которое всех нас в эту минуту оживляет».

Поэт-романтик в приветственной речи горячо благодарил баснописца: «за наших юношей, которые с вашим именем начали и будут начинать любить отечественный язык, понимать изящное и знакомиться с чистою мудростью жизни»; «за русский народ, <...> в стихотворениях своих вы так верно высказали его ум и с такою прелестию дали столько глубоких наставлений»; «за знаменитость вашего имени; оно сокровище отечества и внесено им в летопись его славы».

История подтвердила справедливость этих слов. Крылов, мудрый, ироничный и в то же время добродушный, как «простосердечное дитя», для каждого из нас словно и впрямь родной дедушка, рассказывающий затейливые поучительные истории, важные для становления нравственного чувства, для развития души и ума:

Когда перенимать с умом, тогда не чудо
И пользу от того сыскать;
А без ума перенимать,
И Боже сохрани, как худо!

«Обезьяны»

Однако мало кто сейчас назовёт более двух-трёх басен (в основном это хрестоматийные «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица»,

«Волк на псарне»), пройденных когда-то ещё в среднем звене школы. Именно там за Крыловым укрепилось представление исключительно как об авторе, писавшем для детей.

Между тем его творческое наследие столь обширно и содержательно, что начинает приоткрываться человеку лишь по достижении определённого жизненного и читательского опыта. Постигать глубины крыловских аллегорий можно бесконечно. Так же, как и русскую классику в целом, основанную на вечной истине евангельских заповедей, где за знакомым и привычным всякий раз обнаруживается новое, ещё не изведенное.

Недаром сложил Вяземский эти поэтические строки о Крылове:

Где нужно, он навесть умеет
Своё волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (в миру – князь Дмитрий Алексеевич Шаховской) (1902–1989) справедливо утверждал: «Крылов проникает в самую глубину жизни, и голос его звучит подлинным пророчеством».

Такова пророческая басня «Безбожники»:

Был в древности народ, к стыду земных племён,
Который до того в сердцах ожесточился,
Что противу богов вооружился.
Мятежные толпы, за тысячью знамён,
Кто с луком, кто с пращёй, шумя, несутся в поле.

Обезумевшие люди восстают против Бога, подстрекаемые вконец осатаневшими вожаками:

Зачинщики, из удалых голов,
Чтобы поджечь в народе буйства боле,
Кричат, что суд небес и строг и бестолков;
Что боги или спят, иль правят безрассудно;
Что проучить пора их без чинов;
Что, впрочем, с ближних гор камнями нетрудно
На небо дошвырнуть в богов.

Но даже на такое воинствующее кощунство в ответ нет мгновенной кары свыше, хотя «к убеждению бунтующих» святотатцев было бы «не худо»

Явить хоть небольшое чудо:
Или потоп, иль с трусом (землетрясением. – А. Н.-С.) гром,
Или хоть каменным ударить в них дождём.

«Пождём»

По беспредельному всевышнему милосердию «богомятежным» грешникам даётся свободная воля, свободный нравственный выбор, чтобы иметь время опомниться, раскаяться в своих заблуждениях, обратиться к Богу. Отсюда это: «Пождём». Но «если не смирятся <...> Они от дел своих казнятся».

Тут с шумом в воздухе взвилась
Тьма камней, туча стрел от войск богомятежных,

Но с тысячью смертей, и злых, и неизбежных,
На собственные их обрушились главы.
Плоды неверия ужасны таковы.

Крылов утверждает, что рано или поздно богоотступникам всех мастей и званий не избежать справедливой кары за их несправедливые деяния.

Свои суждения поэт облекал в аллегорическую, завуалированную форму, которую сам нарѣк «истиной вполоткрыта». О сущности этой крыловской необычной формулировки размышлял архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской): «Есть пророки, которым дано “истину царям с улыбкой говорить”. И.А. Крылов не был таким поэтом-пророком. Он скорее подобен восточному мудрецу, загадывающему людям загадки, чтобы людей этих научить и вразумить. Истину своего литературного служения он сам назвал “истиною вполоткрыта”. Было бы неверно думать, что истина “вполоткрыта” есть полужистина. Нет, это полная истина, только “засвеченная малым огоньком”, чтобы не поранить больных, привыкших к нравственной тьме и к полутьме, душевных глаз человека, не выносящих яркого света».

В басне «Василёк» скромный полевой цветочек почти увядает без света:

В глуши расцветший Василёк
Вдруг захирел, завял почти до половины,
И, голову склоня на стebelёк,
Уныло ждал своей кончины.

Но ещё теплится надежда на животворный солнечный луч:

Ах, если бы скорее день настал,
И солнце красное поля здесь осветило,
Быть может, и меня оно бы оживило?

Земляной Жук – существо сугубо приземлённое, занятое только своими узкими, утилитарными интересами и равнодушное ко всему остальному, – считая, что нежизнеспособный Василёк недостоин милости, даёт ему презрительно-высокомерный совет, обрекающий жалкое создание на гибель:

Так солнца ты своей доукою не мучь!
Поверь, что на тебя оно луча не бросит,
И добиваться ты пустого перестань,
Молчи и вянь!

Вопреки этому ограниченному, бездушно-жестокоему суждению, солнце одинаково дарит животворящий свет всем без исключения Божьим созданиям – могучим, и слабым, великим и незначительным:

Но солнышко взошло, природу осветило,
По царству Флорину рассыпало лучи,
И бедный Василёк, завянувший в ночи,
Небесным взором оживило...

Здесь проявлена глубоко христианская позиция, выраженная в Евангелии: «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5: 45). В финале басни Крылов призывает богатых, власть имущих следовать этой новозаветной заповеди, уподобляться солнцу:

О вы, кому в удел судьбою дан
Высокий сан!
Вы с солнца моего пример себе берите!
Смотрите:
Куда лишь луч его достанет, там оно
Былинке ль, кедру ли – благоворит равно,
И радость по себе и счастье оставляет;
Зато и вид его горит во всех сердцах –
Как чистый луч в восточных хрусталах,
И всё его благословляет.

Однако здесь отразились эфемерные упования поэта на доброту, благотворительность, милосердие к угнетённым со стороны угнетателей, облечённых в «высокий сан», сосредоточивших в своих руках все материальные блага мира, добытые путём неправедным. Служители не Бога, а мамоны определённо не могут исполнять Божьи заветы.

В то же время баснописец лишён каких бы то ни было иллюзий относительно истинных, а не мнимых достоинств так называемых «сильных мира сего».

Кто знатен и силён,
Да не умён,
Так худо, ежели и с добрым сердцем он.
На воеводство был в лесу посажен Слон.
Хоть, кажется, слонов и умная порода,
Однако же в семье не без уroda.

«Слон на воеводстве»

Крылов не устаёт высмеивать горделивость, самонадеянность, чванливость, хвастовство высоким родом и званием:

В породе и в чинах высокость хороша;
Но что в ней прибыли, когда низка душа?

«Осёл»

Под прицел разящей крыловской сатиры попадают алчность, невежество, тупоголовость, бездумное подражание всему иноземному и множество других пороков дворянской аристократии и государственной бюрократии:

Я приведу пример тому из дальних стран.
Кто Обезьян видал, те знают,
Как жадно всё они перенимают

«Обезьяны»

Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:

Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.

«Парнас»

Невежи судят точно так:
В чём толку не поймут, то всё у них пустяк.

«Петух и Жемчужное зерно»

Неправосудие также нередко становится объектом обличения в баснях («Волк и ягнёнок», «Оракул», «Щука», «Лев и Барс», «Лисица и Сурок» и др.):

Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.

«Щука»

Крылов поднимает также тему коррупции в российской судебной системе:

И слух между народа шёл,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол.

«Приговор» подсудимой разбойнице Щуке, которая заранее взятками обеспечила себе протекцию прокурора, хитроумно измышлен взятчицей Лисой. Под видимостью сурового наказания преступница Щука просто-напросто отпущена на волю, в прежнюю среду обитания, чтобы и дальше бесперебойно обеспечивать Лисицу рыбными дарами:

«Почтенные судьи!» – Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно –
Так утопить её в реке». – «Прекрасно!» –
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили – в реку!

В басне «Лисица и Сурок» Лиса выступает уже в роли судьи – да ещё в курятнике! Ситуация более чем красноречивая. Но Лисица – судейский коррупционер, – нахваливая себя, жалуется на судьбу, старается предстать безвинно оклеветанной:

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки!» –
Лисицу спрашивал Сурок.
«Ох, мой голубчик-куманёк!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Ты знаешь, я была в курятнике судьёй,
Утратила в делах здоровье и покой,

В трудах куска не доедала,
 Ночей не досыпала:
 И я ж за то под гнев подпала;
 А всё по клеветам».

Уличённая в преступлениях каверзливая судья пытается привлечь Сурка в свидетели своей невиновности:

«Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
 Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
 Чтоб этому была причастна я греху?
 Подумай, вспомни хорошенько». –
 «Нет, кумушка; а видывал частенько,
 Что рыльце у тебя в пуху».

Это «рыльце в пуху», прочно вошедшее в русский язык в виде поговорки (наряду со множеством афоризмов нашего баснописца, ставших крылатыми фразами, – недаром же их окрылил Крылов!), неискоренимо в общественной и бытовой жизни по сей день. По всей видимости, не исчезнет этот «феномен» и в необозримом будущем:

Иной при месте так вздыхает,
 Как будто рубль последний доживает:
 И подлинно, весь город знает,
 Что у него ни за собой,
 Ни за женой, –
 А смотришь, помаленьку,
 То домик выстроит, то купит деревеньку.
 Теперь, как у него приход с расходом свесть,
 Хоть по суду и не докажешь,
 Но как не согресишь, не скажешь:
 Что у него пушок на рыльце есть.

Судопроизводство в России строится по принципу «кто одолеет, тот и прав»:

Судиться по правам – не тот у них был нрав;
 Да сильные ж в правах бывают часто слепы.
 У них на это свой устав:
 Кто одолеет, тот и прав

«Лев и Барс»

Более того – кровожадные хищники всех мастей во главе с царём зверей Львом выставляют себя не только правыми, но едва ли не святыми:

Окончила Лиса; за ней, на тот же лад,
 Лыстецы Льву то же говорят,
 И всякий доказать спешит наперехват,
 Что даже не в чем Льву просить и отпущенья.
 За Львом Медведь, и Тигр, и Волки в свой черёд
 Во весь народ
 Поведали свои смиренно погрешенья;
 Но их безбожных самых дел
 Никто и шевелить не смел.

И все, кто были тут богаты
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон
Со всех сторон
Не только правы, чуть не святы.

«Мор зверей»

Виноватыми, с точки зрения хищных зверей, оказываются существа самые смиренные и безобидные: «У сильного всегда бессильный виноват»; «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» («Волк и Ягнёнок»).

И в людях так же говорят:
Кто посмирней, так тот и виноват,

– резюмирует Крылов свои жизненные наблюдения в басне «Мор зверей».

В знаменитой басне «Осёл и Соловей» после туполобого ослиного вердикта вдохновенный пернатый певец поспешил скрыться подальше:

Услыша суд такой, мой бедный Соловей
Вспорхнул и – полетел за тридевять полей.
Избави, Бог, и нас от таких судей.

Под острое, разящее перо баснописца попадают реалии меркантильно-продажной «гнусной расейской действительности», в которой «Всяк споры затевает о выгоде своей»:

Имея общий дом и общую контору,
Какие-то честные торгаши
Наторговали денег гору;
Окончили торги и делят барыши.
Но в дележе когда без спору?

«Раздел»

Крыловские типажи, наблюдения и выводы не теряют своей актуальности, остаются злободневными, узнаваемыми в современных реалиях:

Почти у всех во всём один расчёт:
Кого кто лучше проведёт,
И кто кого хитрей обманет.

«Купец»

ПАСХАЛЬНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*День православного Востока
Святись, святись, Великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!*

Ф. И. Тютчев

В Евангельском послании святого Апостола Павла сказано, что Иисус послан был в мир, «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр. 2: 9), «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2: 15); «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа» (Гал. 4: 7).

Таким образом, событием Христова Воскресения утверждается ценность и достоинство человека, который уже не является узником и рабом собственного тела, но, наоборот, – вмещает в себя всё мироздание. В Богочеловечестве Христа сквозь телесное естество сияет неизреченный Божественный Свет: «Одеялся светом, яко ризою, наг на суде стояще и в ланиту ударения принят от рук, их же созда».

В Пасхе заложена также идея равенства, когда словно сравнялись, сделались соизмеримыми Божественное и человеческое, небесное и земное; утверждается полнота величественной гармонии между миром духовным и миром физическим.

Праздничный эмоциональный комплекс радостной приподнятости, просветления разума, умиления и «размягчения» сердца составляет ту одухотворённую атмосферу, которая в пасхальном рассказе становится нередко важнее внешнего сюжетного действия. Внутренним же сюжетом является пасхальное «попрание смерти», возрождение торжествующей жизни, воскрешение «мёртвых душ». Лейтмотивом в русской пасхальной словесности звучит торжественно-ликующий православный тропарь:

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!

В отечественной литературе Н.В. Гоголь наиболее точно выразил не только общечеловеческий, но и национально-русский смысл православной Пасхи:

Отчего же одному русскому ещё кажется, что праздник этот празднуется как следует <...> в одной его земле? <...> раздаются слова: «Христос воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз также торжественно выступает святая полночь, и гулы все-

звонных колоколов гудят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас! <...> где будят, там и разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе <...> есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратание людей было у нас родней даже и кровного братства.

История отечественной литературы впитала в себя христианскую образность, особый язык символов, «вечные» темы, мотивы и сюжеты, притчевое начало, уходящее своими корнями в Священное Писание. Светлое Христово Воскресение явилось духовной сердцевиной русской пасхальной словесности.

Пасхальный рассказ как особый жанр был некогда незаслуженно забыт, а вернее – злонамеренно сокрыт от читателя. Пасхальная словесность третировалась с вульгарно-идеологических позиций как «массовое чтиво» – якобы малозначительная, бесследно прошедшая частность «беллетристического быта» нашей литературы. Теперь этот уникальный пласт национальной культуры обретает путь к своему (поистине – пасхальному!) возрождению.

Глубоко прав был в своём пророчестве Н.В. Гоголь:

Не умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – праздник Светлого Воскресения воспряднётся, как следует, прежде у нас, чем у других народов!

Ведущие идеи праздничного мироощущения – освобождение, спасение человечества, преодоление смерти, пафос утверждения и обновления жизни. В этот свод включаются также идеи единения и сплочения, братства людей как детей общего Отца Небесного. Как писал Гоголь о Пасхе, «день этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное своё братство всё человечество до единого, не исключив из него человека».

В духовной сущности великого христианского «праздника праздников» открылась Гоголю внутренняя связь славной героической истории русского народа с его нынешним состоянием: «От души было произнесено это обращение к России: “В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?..” В России теперь на каждом шагу можно сделаться богатырём. Всякое звание и место требуют богатырства».

Отсюда родилась и уверенность в грядущем пасхальном возрождении России и русского человека:

...Есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванётся у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек.

Пасха Христова внушает писателю упования на русское духовное единение:

И твёрдо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твёрдо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твёрдо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресение Христово!»

Глава «Светлое Воскресение» явилась мощным в идейно-эстетическом плане финальным аккордом, выразила «святое святых» «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847). «Идея воскрешения русского человека и России» стала пасхальным сюжетом гоголевской «книги сердца». Рассмотрев идеи пасхальных рассказов: «духовное проникновение», «нравственное перерождение», прощение во имя спасения души, воскрешение «мёртвых душ», «восстановление человека», – В.Н. Захаров пришёл к справедливой мысли о том, что «если не всё, то многое в русской литературе окажется пасхальным»^{*}.

По своему смысловому наполнению, содержательной структуре, поэтике чрезвычайно схожи святочные и пасхальные рассказы. Не случайно в XIX столетии они нередко публиковались в единых сборниках под одной обложкой. «Одноприродность» пасхальной и святочной словесности проявилась в их взаимопроникновении и взаимопереплетении: в святочном рассказе проступает «пасхальное» начало, в пасхальном рассказе – «святочное». Так, например, главное событие святочного рассказа Н.С. Лескова «Фигура» (1889) происходит под Пасху; лесковский «рождественский рассказ» «Под Рождество обидели» (1890) содержит пасхальный эпизод. В пасхальном рассказе А.П. Чехова «Студент» (1894) воспоминания о событиях Страстной Седмицы (отречение Апостола Петра) представлены на фоне почти святочного, по-зимнему морозном: «Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха». В то же время в чеховском рассказе «На святках» (1900) явственно проступает возрождающее пасхальное начало. Очевидно нравственно-эстетическое воздействие «рождественского рассказа» «Запечатленный Ангел» (1873) Н.С. Лескова на русский литературный процесс в целом, и в частности – на пасхальный рассказ А.П. Чехова «Святою ночью» (1886).

Лесковский «Запечатленный Ангел» имел громадный успех у читателей, стал общепризнанным шедевром ещё при жизни автора. По словам Лескова, рассказ «нравился и царю, и пономарю». «Запечатленного Ангела» узнали «на самом верху»: императрица Мария Александровна выразила желание послушать это произведение в чтении автора.

«Проста, изящна, чиста <...> прекрасная маленькая повесть г. Лескова «Запечатленный Ангел», – отмечал православный мыслитель и публицист К.Н. Леонтьев. – Она не только вполне нравственна, но и несколько более церковна, чем рассказы графа Толстого».

^{*} Захаров В.Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск: ПётрГУ, 1994.

Ключевое слово-образ в «Запечатленном Ангеле» – «чудо». Оно играет и переливается разными красками, смыслами и даже сверхсмыслами, насыщено сакральными знаками Сил Небесных. Весь свод «чудес», «дивес», «преудивительных штук» неуклонно подводит к основному чуду в кульминационной точке сюжета – общечеловеческому единению, осуществлению желания с Божьей помощью «воедино одушевиться со всею Русью». В этом смысле знаменательно, что герои-артельные строят *мост*, символизирующий прорыв раскольничьей обособленности в православный мир. Лесков устами отшельника Памвы выражает свою горячую веру в то, что все – «уды единого тела Христова! Он всех соберёт!».

Образ жизни в лесном скиту «беззавистного и безгневногo» смиренного «анакорита»: «согруби ему – он благословит, припей его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением!» – напоминает житие аскета-пустынника преподобного Серафима Саровского, с его благодатным путём подвигов молитвы и самоотречения. Эту параллель подтверждает авторитетный источник: «изрядный, по основному образованию, знаток церковности, А.А. Измайлов без колебаний признал в беззавистном и безгневном лесковском праведнике Памве Серафима Саровского»*, – затворника Саровской пустыни, чудотворца. Образ преподобного связан с многочисленными знаменами, чудесами, окутан легендами, свидетельствующими о его почитании в народе.

Так и старец Памва возникает в «Запечатленном Ангеле» среди лесной глуши внезапно, точно сказочный добрый помощник, Божий посланник, стоило только заблудившимся героям попросить высшие силы о помощи: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!». Появление отшельника воспринимается вначале как явление «духа»: «из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, – не разобрать». Но, приглядевшись, герой-рассказчик не может про себя не воскликнуть: «Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно Ангел предо мною сидит и лапотки плетёт для простого себя миру явления».

«Раскол XVII века поселил тревогу и сомнения в русскую душу, – писал исследователь русской святости Г.П. Федотов. – Вера в полноту реализующейся Церковью на земле святости была подорвана»**. Однако в «Запечатленном Ангеле» старовер, встретившись со святым отшельником Памвой, справедливо «дерзает рассуждать» о раскольничьем движении: «Господи! <...> если только в Церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлён».

Духовная жизнь теплится, не угасает. Как замечал Г.П. Федотов:

...найдётся иногда лесной скиток или келья затворника, где не угасает молитва. <...> В пустынь к старцу, в хибарку к блаженному течёт народное горе в жажде чуда, преображающего убогую жизнь. В век просвещённого неверия творится легенда древних веков. Не только легенда: творится живое чудо. Поразительно богатство духовных даров, излучаемых св. Серафимом. К нему уже находит путь не одна тёмная, сермяжная Русь. Преп. Серафим распечатал синодальную печать, положенную на русскую святость, и один взошёл на икону, среди святителей, из числа новейших подвижников. <...> Оптина Пустынь и Саров

* Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т. – Т. 1. – М.: Худож. лит., 1984.

** Федотов Г. П. Святые древней Руси. – Paris: YMCA-PRESS, 1989.

делаются двумя центрами духовной жизни: два костра, у которых отогревается замерзшая Россия.

Также и старец Памва в повести Лескова толкует о грядущем «распечатлении» Ангела: «Он в душе человеческой живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...».

В разьединении друг с другом и с Богом люди ощущают себя не просто осиротевшими, они становятся «братогрызцами». Для установления истинно братских отношений необходимо обрести общий корень, общую опору – в христианском единении «единими усты и единым сердцем».

Это высказывание отрока Левонтия проецируется на кульминацию и финал рассказа – переход героев-старообрядцев в новое духовное состояние через соединение с Православной Церковью. В то время как один из артельных – Лука Кириллов, – спасая святыню, совершает свой самоотверженный переход по обледенелым цепям над бушующим Днепром, в храме совершается всенощная в память Василия Великого. Литургия содержит слова об общем духовном устремлении православных христиан «единими усты и единым сердцем», имеющие «мотив обретения “веры истинной” через церковное причастие»^{*}.

Старообрядцы чудесным образом узрели «славу Ангела господствующей Церкви и всё Божественное о ней смотрение в добротолубии её иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и Тела и Крови Спаса сегодня за обеднею приобщились». Имевшие «влечение воедино одушевиться со всею Русью» артельные «так все в одно стадо, под одного Пастыря, как ягнятки, и подобались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный Ангел вёл».

Чудесный финал идеально соответствует жанровой природе «рождественского рассказа»: героев-раскольников к Православной Церкви «перенёс Бог, Ангелы вели, спасая светоносностью икон от гибели над ревущей бездной».

Сквозь святочные события явственно просвечивают мотивы пасхальные, возрождающие и воскрешающие. В глубинных эмоционально-смысловых пластах повести Ангел-спаситель уподобляется Самому Христу-Спасителю. В повествовательном пространстве текста различимы знаки сакральных начал. Так, петух («петелок»), возгласивший «Аминь!» человеческим голосом, и агнец – символ кротости и жертвенности, прообраз и одно из метафорических именовании Спасителя – обращают внимательного читателя к новозаветной пасхальной образности.

Пасхальный смысл лесковского «рождественского рассказа» и в том, что путь к Церкви староверов, ведомых Ангелом, лежит через поругание святыни и страдание. Ангел-хранитель, говорит рассказчик, «Сам <...> возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь». Здесь различимы слова Всенощного бдения: «крест бо претерпев, погребению предадеся, яко Сам восхоте; и воскрес из мертвых, спасе мя, заблуждающагося человека». Погребению уподоблено «запечатление» Ангела (наложение печати на иконописный лик). «Дело пропащее и в гроб погребенное», – говорит

^{*} Горелов А.А. Патриотическая легенда Н.С. Лескова (Поэтика преобразований и стилизация в повести «Запечатленный ангел») // Русская литература. – 1986. – № 4.

Марк о поруганной иконе. Возможна следующая расшифровка заглавия лесковского рассказа: «Как Христос воскрес из “запечатленного гроба”, “без истления”, так и Ангел оказался невредим под сургучной печатью. <...> Вся история распечатления Ангела звучит как метафора Воскресения»*.

Несмотря на критическое замечание Ф.М. Достоевского в его статье «Смятенный вид» о том, что Лесков в финале поспешил разьяснить чудо, всё же и рассказчика, и героев, и читателей не оставляет впечатление, что они стали «сопричастниками», «дивозрителями» утверждения Высшего Промысла, победы провиденциального начала. Объективную, непредвзятую точку зрения на святочное чудо сформулировал Лесков устами героя «Запечатленного Ангела»: «всяк как верит, так и да судит, а для нас всё равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единомушния его с Отечеством утолил».

Уместно вспомнить рассуждение святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, о двух путях и двух путеводителях: «На пути гладком и покатою путеводитель обманчив; <...> а на пути негладком и крутом путеводителем добрый Ангел, и он через многотрудность добродетели ведёт следующих за ним к блаженному концу...». По собственному предсказанию, «не преполовя дня», принял «блаженный конец» старик Марой, увидевший свечение и славу «церковного Ангела»; ещё ранее почил с миром отрок Левонтий, перед смертью по благословиению старца Памвы узнавший, «какова господствующей Церкви благодать».

«Этот Левонтий годами был сущий отрок <...> но великотелесен, добр сердцем, богочтител с детства своего и послушлив и благонаравен <...> Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было». Образ героя проецируется на оглашаемые главы Евангелия на литургии в память Василия Великого, предшествующей приобщению героев к Церкви. Речь идёт об отроческих годах Иисуса: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нём» (Лк. 2: 40).

В связи с образом отрока также по-новому осмысливается привычный в святочном рассказе мотив ребёнка-сироты. С рыданиями поёт Левонтий духовную песнь – плач библейского Иосифа, проданного братьями в рабство: «Кому повем печаль мою, Кого призову ко рыданию <...> Продаша мя мои братия!». Этот духовный стих, по слову отрока, «таинственно надо понимать» и «с преобразованием».

Таким образом, Лесков выводит святочную идею сплочения из узких рамок семейно-бытового круга на уровень вневременной, общечеловеческой. Это тем более важно, что писатель с болью наблюдал распад человеческих связей, национальных устоев: «с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновлённее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела».

Не дать порваться связи времён и поколений русских людей, восстановить «тип высокого вдохновения», «чистоту разума», который пока «суете повинуется», поддержать «своё природное художество» – главные цели создателя «Запечатленного Ангела».

* Майорова О. «Проста, изящна, чиста...» (О «маленькой повести» Н.С. Лескова «Запечатленный Ангел») // 1-е сентября: Литература. – М., 1994. – № 2.

Особая тема рассказа – отношение к русской иконе и иконописанию. «Запечатленный Ангел» – уникальное литературное творение, в котором икона стала главным «действующим лицом».

В «иконописной фантазии» «Благоразумный разбойник» Лесков признавался, что его «заняла и даже увлекла церковная история и сама церковность»: «я, между прочим, предался изучению церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась». В год создания «Запечатленного Ангела» Лесков написал статью «О русской иконописи» (1873), в которой указал на огромное значение иконы в жизни народа: «тот, кто не может читать книг, с иконы, которой поклоняется, втверживает в своё сознание исторические события искупительной жертвы и деяния лиц, чтимых Церковью за их христианские заслуги».

Писатель радуется за возрождение русского иконописного искусства. Лесков уверен, что «икона непременно должна быть писанная рукою, а не печатная. <...> наши набожные люди <...> откидывают печатные иконы <...> “То, – говорят, – пряник с конём, а это пряник с Николою, а всё равно пряник печатный, а не икона, с верою писанная для моего поклонения”... Иконы надо писать руками иконописцев, а не литографировать».

С годами писатель приобрёл репутацию одного из лучших знатоков русской иконы. У Лескова имелось уникальное иконописное собрание: старинные иконы строгановского и заонежского письма, редкие поморские складни. В.В. Протопопов вспоминал огромный образ Мадонны кисти Боровиковского – «русский лик и отчасти как бы украинский». Судьба этой коллекции сейчас неизвестна, но с неё сохранился рисунок. Все иконы на рисунке различимы, узнаваемы. В фондах Дома-музея Н.С. Лескова в Орле хранятся три иконы. Одна из них «Спас во звездах» – с дарственной надписью писателя его сыну Андрею Лескову на Рождество.

Возможно, в «Запечатленном Ангеле» автор даёт точное описание подлинника: «Ангел-хранитель, Строганова дела». Хотя рассказчик в ходе повествования неоднократно подчёркивает, что красота иконы неопишима, всё же именно в слове он умеет передать тончайшие отблески и игру красок, оттенки эстетического переживания при созерцании святыни:

...Глянешь на Ангела... радость! Сей Ангел воистину был что-то неопишемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлособожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отсюда слышания; одеянье горит, рясны золотыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эммануилов; в правой руке крест, в левой огнепаляющий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усика. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона!

В иконописном фрагменте рассказа Лескова сохранён стиль русской агиографии во всей его чистоте и красоте, как он представлен у лучших писателей древней Руси – Нестора, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета. Богатство словесной культуры, развитая риторика, пышно

изукрашенное «плетение словес» и – главное – «нравственная серьёзность перед лицом красоты». На это свойство русского искусства указал С.С. Аверинцев. Старинное слово «благообразие» выражает «идею красоты как святости и святости как красоты. Красота тесно связана в русской народной психологии с трудным усилием самоотречения»*. Праведность иконописца «совершенно неотделима от сверхличной святости иконописания как такового».

Художник Юрий Селивёрстов в частном письме утверждал, что «икона никогда не была искусством и не будет. Икона не произведение, но молитва – и только! Она и вне времени и вне пространства. Она везде. Создавалась она руками чистыми, чистой душой, воспарением духа. По Духу Святому. Вот почему и прикасаться к ней можно только очищенным и в чистоте желающему быть...».

В отличие от полотен светских художников, которые «изучены представлять то, что в теле земного, животолубивого человека содержится», икона – творение боговдохновенное: «в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчёт коего материальный человек даже истового воображения иметь не может». Потому и отправляются герои «Запечатленного Ангела» в долгий путь на поиски «изографа» – истинного христианского иконописца.

Известно, что «изограф Севастьян» в рассказе во многом списан с «художного мужа» Никиты Савостьяновича Рачейскова, с которым был дружен Лесков. Сыну писателя запомнилась прежде всего духовность в колоритном облике мастера. Он настолько был «растворён» в иконописи, что и внешностью своей напоминал древнее художество:

...был стилин с головы до пят. Весь Строганова письма. Высок, фигурой суховат, в чёрном армячке почти до полу, застёгнут под-душу, русские сапоги со скрипом. Картина! За работой <...> весь внимание и благоговейная поглощённость в созидании Деисусов, Спасов, Ангелов, «воев небесных» и многообразных «во имя». <...> лик постный, тихий, нос прямой и тонкий, тёмные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны положены; будто и строг, а взглядом благодетен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворённая. Во всем образе – духовен!

Только Христос «мог установить между истиною и красотой тот союз мира, из которого потом возникло христианское искусство», – подчёркивал профессор богословия Ф. Смирнов.

Рассказ Лескова был книгой для семейного чтения. Интересно сообщение Чехова редактору Лейкину 7 марта 1884 года: «Отец читает вслух матери “Запечатленного Ангела”». Таким образом, лесковский «Ангел», был у Чехова «на слуху», что не могло не отразиться в его творчестве, а именно – в создании пасхального рассказа «Святою ночью» (1886).

Бесспорно, этот рассказ создан в художественной манере Лескова. Как лесковский шедевр снискал всеобщее признание, так и чеховское творение принесло автору заслуженную награду: рассказ был упомянут в материалах о присуждении Чехову Пушкинской премии.

Духовно-эстетическое начало рассказа Чехова связано не с иконописью, как у Лескова, а с красотой церковной поэзии, святого слова.

* Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Контекст. – М.: Наука, 1990.

Чеховский герой иеродиакон Николай – простой монах, который «нигде не обучался и даже видимости наружной не имел», – обладал Божественным даром создавать акафисты. «Радуйся, древо светлоплодовитое, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!» – воспевается в хвалебном гимне Богородице. Сложные, многокорневые слова, усвоенные православной гимнографией из греческой традиции торжественной церковной риторики, выражают чувство благоговения перед святыней и в какой-то мере чувство бессилия достойно воспроизвести святой образ на человеческом языке.

В рассказе «Святою ночью» словно слышен лесковский рассказчик с его удивлением перед чудом ангельского лика: «Лик у него <...> самый светлобожественный и этакий скоропомощный». Чеховский герой также стремится передать святую красоту иконы в святой фразе – теми же многокорневыми словообразованиями, свойственными церковным песнопениям, которые, как сказано у Чехова, вмещают «много слов и мыслей» в одном слове. «Найдёт же такие слова! Даст же Господь такую способность! – дивится чеховский рассказчик таланту сочинителя акафистов. – Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово <...> “Светоподательна”! <...> слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашёл в уме своём».

Устами своего рассказчика – молодого послушника Иеронима – писатель развивает теорию жанра и стиля русского религиозного искусства: «Кроме плавности и велеречия <...> нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молнии, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого», «надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость, нежность <...> Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил».

Здесь отчётливо различима та «очарованность» – душевное свойство изумляться открывающейся взору святой красоте, молитвенная способность к тончайшему духовному и эстетическому переживанию, характерная для любимых героев Лескова – праведников, «очарованных странников». Наличествует не только слуховая, но и зрительная, живописная, как в «Запечатленном Ангеле», образность. Стиль этих художественных творений Лескова и Чехова можно определить как словесную живопись.

Оба писателя настойчиво подчёркивают, что создание такого искусства, по Лескову, – «редкого отеческого художества» – возможно только при условии высочайшей нравственности, красоты духовной самого художника, творца прекрасного, вдали от суеты и корысти.

Так, с болью видит рассказчик «Запечатленного Ангела», как цинизм и корыстолюбие, «обман и ложь бессовестные» разрушают «отеческие предания»: «Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует». Но теперь «это люди не того духа»: «как чёрные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею <...> что становится за них стыдно и видишь во всём этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил <...> даже <...> хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу ещё подсунул».

В рассказе «Святою ночью» Чехов пишет, что подлинного благообразия нет и в монастыре: «народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... Ни в ком нет мягкости, деликатности», «некому вникать» в слова пасхального канона, и кроткий поэтичный человек – безвестный творец акафистов – остаётся непонятым, ненужным даже среди монастырской братии. Он умирает под Пасху, и, согласно традиционному житийному представлению, это смерть праведника, открывающая двери в Царствие Небесное.

Также под праздник Светлого Христова Воскресения заканчивает свой земной путь герой другого пасхального рассказа Чехова – «Архиерей».

Главный герой рассказа – представитель высшего церковного духовенства, викарный архиерей. Наречённый в монашестве Петром, при крещении в младенчестве он получил имя Павел. Так в имени и судьбе архиерея соединяются имена новозаветных Апостолов Петра и Павла, вводятся мотивы апостольского служения, подвижничества, мученичества.

Сюжетное действие разворачивается на фоне прогрессирующей болезни архиерея. Но перед самой кончиной ему ниспослано утешение, точно он скидывает с себя тяготивший земной груз, тяжкое телесное бремя и становится бесплотным, невесомым, готовым раствориться в небесных сферах, в милосердии Божиим. Преосвященный Пётр

...в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!»

Герой уже не ощущает себя высшим церковным иерархом, наоборот – он один «из малых сих», дитя Божье, дитя своей матери. А старуха-мать – вдова бедного сельского дьячка, которая стеснялась и робела перед высоким саном владыки, не знала, как вести себя с ним, – только теперь увидела в преосвященном Петре своё дитя – сыночка Павлушу:

...Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребёнка, очень близкого, родного.

– Павлуша, голубчик, – заговорила она, – родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Любовь, жалость, сострадание острее проявляются к слабому, незначительному, незащитному. Любовь соединяет человека с Богом и с людьми, а всё остальное, в том числе служба, карьера, чины, – разъединяет, подавляет душу, приносит страдание, одиночество.

На пороге инобытия преосвященному привиделось, что он стал простым богомольцем:

...Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идёт по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

Отлетающей душе открылась истинная суть человека, который в своей земной юдоли – только путник к Богу. Герой испытал чувство необъятной свободы – той, что даруется свыше, но люди, придавленные материальными попечениями, забывают об этом даре, не умеют ценить его. И лишь душа, от Бога исшедшая и к Нему отходящая, освобождённая от гнёта земных забот, способна постичь эту свободу сполна.

Событийный ряд рассказа «Архиерей» разворачивается в течение Страстной Седмицы и завершается в праздник Пасхи. Автор преднамеренно точно указывает вехи развития действия во времени и в пространстве. «Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная» – это точка отсчёта. Развязка основного действия происходит с наступлением Светлого Христова Воскресения: «А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило».

Очевидно, что у Чехова представлено религиозно-философское понимание времени и пространства. Эти категории в рассказе «Архиерей» пасхальны, христиански сакрализованы. События Священной истории прочными духовными нитями связаны с православной верой, богохранимой землёй Русской.

Настоящее показано в свете минувшего и в духовной перспективе предстоящего, православного чаяния «жизни будущего века». Именно эта философия времени, определяющая христианский смысл русских пасхальных рассказов, представлена в чеховском рассказе «Студент» (1894).

Убедившись на живом примере, что новозаветные пасхальные события имеют непосредственную связь с настоящим, герой рассказа Иван Великопольский – студент духовной академии – испытал необычную, захватившую дух радость: «и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. “Прошное, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого”. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Действие рассказа происходит в Страстную Пятницу – трагический день распятия Христа. Подводное течение внутреннего лирико-символического сюжетного плана движется от ощущения вселенского холода и мрака, людского одиночества и отчаяния, сиротского чувства богооставленности: «казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потёмки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно» – к ликующей пасхальной радости, приветной молитвенной вести о Светлом Христовом Воскресении, о торжествующей победе вечной жизни с её высоким таинственным смыслом:

...Правда и Красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы <...> невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им (героем. – А. Н.-С.) мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

Художественное время русских пасхальных рассказов не ограничено календарными рамками. Настоящее и прошлое сливаются воедино с грядущим в поистине евангельской «полноте времён», проповеданной Апостолом Павлом: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного) <...>, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4: 4 – 5); «В устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединились под главою Христом» (Ефес. 1: 10).

Так, в русских пасхальных рассказах устанавливается диалогическая соотнесённость с христианским новозаветным контекстом. Праздник Пасхи является мощным импульсом, уводящим в метафизические глубины художественного текста; придаёт ему религиозно-философскую универсальность, позволяет обратиться к вечным вопросам бытия.

Особое эмоционально-психологическое состояние радостной просветлённости, изумления перед непостижимостью Божественного Промысла, характерное для пасхального мироощущения, передано так, что «плакать хочется», «дух захватывает». В произведениях русских классиков открывается необозримая духовная перспектива. Это подлинное чудо, и не случайно оно становится в пасхальном повествовании ключевым: «Чудо, Господи, да и только <...> Истинное чудо!»

Ирина ШАТЫРЁНОК

Родилась в г. Молодечно, Белоруссия, в семье железнодорожников. Окончила факультет журналистики Белорусского госуниверситета им. В.И. Ленина.

Писатель, журналист, публицист, литературный критик. Автор 14 книг, в том числе книг прозы «Старый двор», «Бедная-богатая Валентина», «Банные мадонны», «Пестрые повести о любви», публикаций в белорусских и российских журналах.

Живет в Гродно.

НЕ СЮЖЕТОМ, НО МАГИЕЙ РЕЧИ...

Любительские заметки читателя

В литературно-художественном журнале «Нижний Новгород» (№ 8, 2024 г.) у меня премьера, опубликована моя рецензия «О лошадях и людях. Совесть и память в рассказе Александра Орлова «Лошадники»». Несмотря на то что живу и работаю в Беларуси, интересуюсь современным литпроцессом России, знакома с творчеством таких авторов, как В. Алейников, П. Басинский, Ю. Нечипоренко. Стала на выбор читать публицистику, стихи, прозу номера. Отметила повесть Николая Александрова «Золотой огонь Салаира», своеобразные хроники счастливой-трагической судьбы двух молодых людей в условиях Гражданской войны, социального перелома 1919–1940 годов. По формату и тяжести материала повесть тянет на эпический роман. Но не случилось.

Но первый, кто меня сразил, был Алексей Небыков и его два рассказа «Панночка» и «Тиромалка». Очарована-зачарована. Захотелось сразу поделиться впечатлениями. Не каждому может понравиться его древняя речь, а я наслаждалась от нового/старого языка в рассказе «Тиромалка», интригует бабка вещунья, она же ведьма Хмара, её смыслёная не по годам внучка Малка, толстая старая крыса Боянка с красными суебливыми глазами.

Крыса «...была такой же опасной, не столько способностью укусом причинять человеку неизлечимую болезнь, загнивающую заживо, прорастающую в жертве желваками и нарывами, сколько способностями своими хтоническими, расточаемыми по воле хозяйки Малки». Автор проговаривается, предупреждает читателя, знай, древняя хтонь – зло, нечистая сила.

Еще раз такие же красные глаза, как угли, мы встретим у дружелюбного, приветливого с виду пёстрого незнакомца. Дело своё колдов-

ское он хорошо знал, «не имея сил противиться, не желая возражать», наслал на Малку морок, и свёл её своей силой в дремучий лес, где в приспособленном для мрачных дел погребке прятал будущие жертвы: младшую сестру Малки и мальчика Николеньку.

Людей бабка-ведунья не любила, сторонилась, свой дар ворожбы решила передать родной внучке «Ты моя кровь, мой сглаз. И моё к тебе буде всегда жалеиское внимание».

У старой Хмары свои приёмы и рецепты на кого и что наслать: «...являлись к ней люди, робко, тихо стучались в двери по ночам, как уходили с решением и надеждой, благодарили, кланялись, но за глаза стали бояться и привирать. Мол, заодно старуха с бесами, исполняет злые гадания, мелет в сыр и кости, сообщается с упокойниками...».

С девочкой родная бабка была ласковой и доброй. «В тепле речей Хмары, в мягкости её прикосновений, в вязанном особливо для внучки кардигане, в иван-чае, заваренном с сушёными ягодами, мёдом и яблоками, находила Малка больше приветливости и внимания, чем в быстротечных разговорах на ночь с безызбывно уставшими родителями...».

Авторские реалии воплотились в особый мир, полный языческих заговоров, мистификаций, странных загадок, сновидений и предчувствий. Невозможно про ведьмочку написать обычным языком, кто поверит. Небыкову веришь, он азартно увлекает в свои дремучие чащи, где живет древнее зло, оборотни, тени покойников и прочее лихо. Недаром в народе говорят – не буди лихо, пока оно тихо. Иначе нападёт на человека уныние и зелёная тоска, изведёт до смерти, замучает, высосет все силы.

Всё-таки мудрыми были наши предки, хорошо усвоили языческие секреты и славянские обереги, обходили стороной *плохие* места, а если и встречались с нечистой силой, то умели защититься, задобрить приношениями и заговорами злых, кровожадных сущностей.

Современный человек и писатели, в частности, давно в своей городской суетной жизни, которая проходит больше за компьютером в искусственных мирах, оторвались от существования и бытования древних людей, а те лучше нашего знали границы страха, добра и зла, тьмы и света. Тревожные и нервные наши классики иногда доводили себя до изменённого состояния психики, заглядывали в будущее, предугадывали повороты истории, а за такие игры их ожидала соответствующая скорая расплата. Может, стоит прислушаться к их советам, дневниковым записям и поздним раскаяниям и не заходить за опасные красные линии...

Но вернусь к рассказу.

Гадала Хмара, заговаривала, насылала на плохих людей болезни и мор на сырах, читала чужую судьбу по тиросам или сырам (Древнегерцеско-русский словарь Дворецкого: Тир (приморский город в Финикии)), предвидела смертельную болезнь, беду, а порой и счастливое разрешение проблем. Силища у неё была нечеловеческая, ведьмарская, о чём она откровенничала с внучкой. «Урожай-то ведь не только на то, что произрастает в земле случается, но и на наши людские особенности. У неё, у природы, знаешь какая мощь!».

Старухины сыры созревали «втайне от близких Малки по старинным бабкиным рецептам и помогали справляться с теснителями, предугадывать выбор, чувствовать стержень жизни и ни за что не бояться».

В таком тёмном, языческом деле без таинственности не обойтись. Как рассказать кому-то запретное, потаенное – растрезвонишь,

и в наказание разнесутся твои слова по всему свету, как пустое помело, ничего и не сбудется. Есть кому с копытцами, рожками и хвостом за левым плечом расстроить хорошо задуманное дело, планы и даже сладкие мечтания.

Автор приоткрывает немного завесу судьбы старухи, не по своей воле стала она гадалкой, а так у неё уже было уготовано по роду и звёздам. «Случилось Хмаре с рождения стать сил природных хранительницей, дававших ей и жизненной крепости, и способности заглядывать в неизведанное. Науке сподобили предки – потомственные ведуньи, что в свой час переняли искусство от старших сородичей, и так из колена в колена по девичьей линии – до тех пор, пока след и известия не затерялись в позабытой теперь летоистории».

После смерти бабки и внучка стала приколдовывать, переняла её ведуньины знания, дар небес или огненного дьявольского чистилища, теперь и у Малки «целый подпол сыров – отличных размеров, узоров и степени разложения».

Меня, как читателя, немного напрягала мысль, задавалась вопросами – в каком времени живут персонажи из деревни Погостово, хотя в приведённом контексте это и не очень важно. Автор волен смешивать времена, пространства и события, сжимая упругой пружиной сюжет. Кстати, о сюжете. Меня, как искушённого и опытного читателя трудно удивить крутизной сюжета, ведь не ради происходящего действия читаю и перечитываю книги. Не сюжетом читанным-перечитанным притягивает то или иное произведение, но особой магией речи, её удивительной энергетикой. Опять же, никому не навязываю своих читательских ожиданий.

Вот и узнаваемое в рассказе слово «магазин» немного приземлило бытовые реалии славянской хтони, может не очень современные, а какие-то «киношные». Появилась товарка Рина или продавщица, она же от опытов бабки Хмары когда-то «поскользнулась и вывихнула ногу, нагрубив как-то пришедшим за мороженым детям».

Как не вспомнить нынешние киноевреи о советском военном прошлом, где актёры играют сплошь в новеньких гимнастёрках, вчера выданных со склада, очень живописно и высоко подпрыгивают от прошитой пулёмётной очереди, красиво падают и, надо понимать, тут же умирают, чтобы не доставить юным санитаркам работы таскать их на себе по полю боя...

Широкий ассортимент сыра обязательный атрибут ведьминых приговоров. Надо же, в богом забытом деревенском магазине – и «красный чеддер», и «янтарный чеддер», это немного смутило. В Погостове, как в столичных супермаркетах, завидная линейка сырного товара, но по большому счёту и это – мелочь, можно и пренебречь, не придирайтесь!

Тут как тут нарисовался перед девочкой пёстрый незнакомец. «Не плачь, у меня как раз есть целый для тебя кусок, – и он протянул, вытаскивая из-за пазухи, тот самый, нужный Малке, кусок сыра – похожего цвета, должной упругости».

Каждый раз родители предупреждают детей – не доверяй на улице чужим дядям и тётям, не бери из чужих рук конфетку, в нашем случае сыр, может всё ах как плохо кончиться. Непослушные дети забывают мамини наставления, останавливаются на улице, наивно распускают уши, замороженно попадают под опасное обаяние зла, маскирующееся в защитные одежды, не обязательно белые. И картинка, как в сказке быстро меняется – «...льются звуки уличной флейты, звуки неясные,

но такие завораживающие, зазывающие. И Малка, сама не заметила, как вдруг приподнялась и оставила пределы магазина, дошла до границ деревни и отправилась в чащу леса вместе с пёстрым незнакомцем, не имея сил противиться, не желая возражать».

Автор на всякий случай предупредил на своём сайте, если что – читатели узнают здесь сюжет с серебряной флейтой крысолова из немецкого города Гамельна, вариации этой легенды использовались многими детскими писателями. У шведской писательницы Сельмы Лагерлёф в книге «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» главный герой мальчик Нильс спасает город от прожорливых крыс.

Концовка рассказа немного смутная, как и положено в таких текстах. В рассказе намеками присутствует отец Малки, непонятно как и где, но он вдруг появился, преследовал в лесу незнакомца и спас от гибели детей из ямы. Не до конца ясны авторские проговорки про огни – «...на краю села, различила в дали потемного леса огни... огни, светящиеся впереди», о которых упоминается в тексте. И потом заглавие рассказа – почему «Тирумалка»? Вопрос для меня открытый, есть кое-какие догадки, но хотелось бы узнать у самого автора.

А девочка только уверилась после всего случившегося: пора заканчивать игры с нечистой силой, все эти колдовские привороты и контакты с потусторонним светом добром для нее не кончатся.

Отдельно остановлюсь на особенностях авторского языка, анализ не лингвистический, а скорее любительский. Отношу себя скорее к квалифицированному читательскому меньшинству, чем к литературным критикам. Как читателю мне присуща спокойная наблюдательность и, хочется верить, доброжелательность.

Читала и удивлялась, это как надо было автору хорошо устроиться в собственном тексте, обжиться с давно устаревшими, вышедшими из активного обращения диалектными словами, которые продолжают свою жизнь больше в различных толковых словарях, чем в книгах. Всё время думала о технике стиля А. Небыкова. Наверное, «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром Далем в середине XIX века, и другие справочники лексики письменной и устной речи прошлого, являются настольными книгами для творчества автора.

Перед глазами на полке стоят у меня четыре тома с золотым тиснением на корешках «Толковый словарь живого великорусского языка» (издание посвящено 175-летию со дня рождения В.И. Даля). В словаре содержится около 200 тыс. слов. Наряду с лексикой литературного языка первой половины XIX века, т. е. языка Пушкина и Гоголя, в словаре представлены областные слова, а также терминология разных профессий и ремесел. Словарь содержит громадный иллюстрированный материал, в котором первое место принадлежит пословицам и поговоркам, их в словаре около 30 тыс. Ценю и берегу.

Словари писателей того же века были органичной частью их литературной жизни, чего не скажешь о творчестве современных авторов первой четверти XXI столетия. Самое главное и даже опасное для новичков – художественный язык, он – душа, основа любого повествования – с каждым разом всё оскудевает, беднеет. Но умеет наш русский великий и могучий подшутить, выставляя его носителя перед читателем заурядным, ничем непримечательным человеком и писателем, а здесь – всё едино и обоюдоостро. Часто от соприкосновения с такими средне-статистическими, заурядными текстами наступает у читателя минута

горького разочарования. Не произошла долгожданная встреча, сердце не взволновалось, не откликнулось, слеза не пролилась.

Литературный язык рассказа «Тиромалка» стал естественной и неотъемлемой частью его повествования, надо было изрядно потрудиться, чтобы буквенная ткань превратилась в живую, податливую и тёплую плоть. Мне кажется, у автора это получилось. Повторюсь, лично для меня устаревшая вязь слов не стала препятствием, но была убедительной. Это как лёгкое касание, забытое эхо, пробуждение и радость от нечаянной встречи с глубинной родной речью.

Приведу некоторые забытые слова и обороты для примера. «оконник... по привычаю... на побеседки... ужасились... задать бегуна... куралезился... поприпасть... завскакивала, позапрыгала... к отцекомому дому... не ночлегал... в любом сположении... нажалится... безызбывно... токмо дело незарешённое... нравничать... дел ежебудных... счастился...».

Советы не даю, но и оригинальной не буду, как нельзя к месту приведу одну из самых цитируемых фраз Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Если долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя».

Самому автору виднее, что ему выбирать и о чём писать.

Для рассказа «Панночка» автор выбрал своеобразную рамку, она и заключила в замок внутренний сюжет. В начале в персонаже в Сергее Александровиче, Сергее узнается поэт Есенин. Вместо молитв и заклинаний герой читает свои стихи. Потом событие разворачивается в стенах заброшенной церкви, и заканчивается рассказ пробуждением поэта в столичной квартире.

В крохотном рассказике на 3800 знаков автором расставлены для читателя узнаваемые маячки – «Изадора...» – американская танцовщица Айседора Дункан, известные стихотворные строки Сергея Есенина: «Край ты мой заброшенный. Край ты мой, пустой!.. Зацелую допьяна! Изомну, как цвет!.. Глупое, милое счастье! Свежая розовость щек!» – здесь и школьник догадается.

Герой рассказа вышел из дорожной коляски, кругом непроглядная ночь, дождь, темень, рядом с дорогой – погост, старая церковь. Под стенами храма он видит «что-то вытянутое стояло... у непонятого, таинственно расположенного посередине предмета», догадывается – гроб, появляется красивая девушка... «не переступая, а скорее проплывая над землей», и тут же догадка – ведьма!

На мой взгляд, старшее поколение читателей лучше знакомо с классикой, поэтому в густо-замешанном концентрате рассказа узнается многое из гоголевского «Вия», собственно автор и сам отсылает читателя к этому тексту в анонсе на своем сайте: «в рассказе нас ждет встреча Сергея Есенина с панночкой Гоголя». Но судите сами.

Снаружи церковь всю окутал заокостенелый мох...

Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом...»

(Н. Гоголь. «Вий»)

...голос его не звучал.

...даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах.

(Н. Гоголь. «Вий»)

Свечи окрашивали почти каждый образ...

Свечи лили целый потоп света. <...> Свечи теплились пред темными образами/
(Н. Гоголь. «Вий»)

...по сводам церкви и по укрытым мраком углам.

Отдаленные углы притвора были закутаны мраком.
(Н. Гоголь «Вий»)

...остылый ветер заносил вдруг ее слова по сводам церкви...

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл.

(Н. Гоголь «Вий»)

К нему приближалась красавица с немного растрепанной косой, с длинными стрелами-ресницами, с кожей нежной, ослепляющей, как снег, с устами-рубинами... с чертами лица резкими...

Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. <...> В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною.

(Н. Гоголь «Вий»)

Мне не очень понятно такое дублирование, а может, я окончательно устарела, но задаюсь вопросом: с какой целью современный автор напрямую заимствует целыми цитатами из Николая Васильевича. И что это за художественный прием – постмодернистская перелицовка или весёлая игра, провокация, литературный кроссворд с прямыми отсылками к хрестоматийной мистической повести?..

Хотелось бы услышать ответ, тем более автор талантливый. И здесь у Небыкова свой особый стиль, диалектный новояз с элементами мистики, эстетикой кошмаров, сновидениями и потусторонними сущностями...

А может, это своего рода такое подстёгивание – читайте, читайте классику, и она вас не забудет! Уже и результат нарисовался. Пришлось заново перечитать повесть «Вий».

Римма НУЖДЕНКО

Родилась и большую часть жизни прожила в Ленинграде-Петербурге. По специальности инженер, по призванию гуманитарий. Пишет рецензии, эссе и отзывы на прозу и поэзию современных авторов.

Публиковалась в журналах «Знамя», «Сура», «Этажи», «Перископ» и других печатных и электронных изданиях. Финалист конкурса литературной и театральной критики им. В. Белинского «Я в мире боец» (2024).

Живет в Нью-Йорке.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЭПОС В КВАНТОВОМ ПЕРЕХОДЕ

Опыт прочтения прозы

О рассказе Елены Черниковой «Партита соло» (журнал «Нева», № 8, 2024)

И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

А.П. Чехов. Дама с собачкой

Я верю в случайности.

Этот рассказ попался мне случайно в журнале, и своим названием – «Партита соло» – пробудил во мне воспоминания о родном городе, когда я в Петербургской филармонии слушала «Партиту ре-минор для скрипки соло» Баха.

Знаменитая «Чакона» – заключительная часть единого сверхцикла, своеобразного музыкального воплощения Евангелия, гимн Преображения, завершающий сцены страдания, муки шестивия на Голгофу и смерть Спасителя.

Молниеносно возникает понимание, что текст рассказа пришел ко мне неслучайно, я снова могу пережить то, что пережила прежде, и услышать музыку в тексте.

Вообще в рассказе очевидно его сонатное построение, явно или неявно подразумевающее три части. Фраза родственна части музыкальной симфонии, которая не может оборваться, пока не сыграна до конца. Поэтому в финале рассказа можно услышать Партиту, которая не должна прерываться. Это не прием, это сущность.

Читатель, оставшись с этим исходом один на один, призван автором интуитивно искать совпадение слова с музыкальной фразой

и с той картиной, что зарождается внутри, пусть контуры ее пока и размыты. Пристально вживаясь в образность, читатель становится «читающим», и ему в какой-то момент открывается неувиденное при первом прочтении.

А дальше, шаг за шагом, он начинает давать оценку этому ощущению.

Главная мысль приходит сразу – это совсем новая, другая проза. Проза внутренней свободы.

Интеллектуальный заряд прорывается во внутренний мир человека, как будто писатель проникает в самые его глубины. В рассказе много вариантов прочтения, поскольку квантовый импульс дискретен. Елена Черникова использует вневременные воспоминания, уравнивает прошлое и настоящее, мощь и слабость.

Первое мое открытие на этом пути – условность жанра рассказ, обозначенного автором. Это особенный род текста, я бы назвала его «собственным жанром Елены Черниковой», похожим на своеобразный дайджест жанров, где один плавно переходит в другой, не нарушая очень важных границ языкового «я».

Сегментарно в тексте присутствуют беллетристика и публицистика, нон-фикшн, архивные материалы Первой Государственной Думы Российской империи (1906), миф и мистические уходы, рассказ в рассказе и – музыка, и она слышна не только в названии произведения. Выходя за все жанры, автор вручную собирает ткань текста, сохраняя его динамичность, и не выпуская читателя из этого круга.

Текст дышит желанием вернуть словам «запах», «слух», «зрение» и «осязание» – все чувства, что составляют суть языка. Возникает вопрос: как в этом совсем неформатном рассказе автору удалось совместить столько жанров, не выходя за рамки обозначенного формата текста? В нем нет пустот, есть афористичность, чёткость нарратива и размышления, когда автор превращает собственный опыт в источник сюжета, и через своего героя подвергает сомнению все, прожитое в опыте.

Так рождается книга или рассказ.

Прежде чем начать конкретный разговор об этой поразительной прозе, стоит вспомнить ответ Елены Черниковой в интервью, данном писателю и критику Елене Сафроновой: «Все мои книги в основном автобиографичны, все мои герои – я сама».

Эта мысль ставится во главу угла с первого знакомства с главным героем рассказа (*сиречь с самим автором*).

Традиционное начало, которое можно назвать прологом. Первая фраза:

«В ноябре 1982 Лёня с однокашниками прошёл очередь всеобщего горевания в Колонный зал Дома Союзов, где стоял гроб с телом Л.И. Брежнева...»

Время полноты веры в безусловность тех или иных поступков, выливающегося в подчинение существующим социальным институтам. Ритуал, черный креп, охрана вдоль уличной процессии. И сразу необыкновенность языка автора, который не только придает метафорический смысл тексту, но и займет место полноценного героя рассказа, поднимая его на необыкновенную высоту.

«...Ароматизированная скорбь, – подумал он задиристо ноябрьской ночью 1982...»

Не было у юного филолога Леонида причин сомневаться, что он, тезка вождя, будет жить той жизнью, которою жили все, неторопливо продумывая свои душевные терзания. По выражению самого автора,

она «свою частную биографию всегда воспринимала микрозеркалом большой русской метаистории».

Ключевыми инструментами авторского стиля мы видим неологизмы и метафоры, которыми буквально пронизан рассказ.

Уходя от всех канонов, автор пишет так, как чувствует и понимает он сам, и для Черниковой самая понятная знаковая система – буквы, как для композитора ноты.

Где вы когда-нибудь ощущали «ароматизированную скорбь»? Сколько же надо всего описать в подробностях, чтобы читатель считал и скорбь героя, и одновременно запах хвои, соединяя их. А тут – одна строчка.

Черникова, по ее же собственным словам, давно коллекционирует ошибки речи, оборванные цитаты, ставшие догмами. Ей важно знать, как всё было на самом деле. Может ли так пахнуть «овеществленная хвоя веток»? Оказывается, может, и это только часть того, что называется «музыкой слова». Не нашел герой источника ароматизированной скорби, не нашел объяснения сиюминутной мысли – и заснул.

Засыпает герой на долгие годы и просыпается только в 2020 году. Кто остался в этом метафорическом сне? Метафора сна – знак, что прежней жизни больше нет. И, прежде всего, нет того героя.

Елена (герой – Лёня) начинает свой автобиографический рассказ в новом времени. Оно едино в сознании героя и направлено на раскрытие его образа ради одной из главных тем, поиска ответа на вопрос: «Кто я?»

«Юношеский дилетантизм чувств, когда политическая палка-галка видится могучей фрондой», – написал он в следующем веке...»

Сорок лет понадобилось герою для освобождения от иллюзий, чтобы начать строить свою жизнь человека, возвращающегося вокруг себя.

«Я хочу быть собой» – кредо либеральной интеллигенции, но, похоже, человечество не очень подготовилось для принятия его, освободившегося, в свои объятия. Прямое столкновение героя с реальной жизнью. Да и время он выбрал не очень удачное: пандемия, время катастрофы. За сорок лет юный филолог превращается в почтенного профессора – то ли ученого, то ли писателя.

«Палка-галка» – это слова из детской считалочки, четко обрисовывающие время, которое осталось у многих в ностальгических воспоминаниях сорокалетней давности. Все следующие воспоминания начинаются уже в новом веке.

А, может быть, и звучала вся предыстория жизни героя лишь для того, чтобы он оказался во времени настоящем, и это будет принято за точку отсчета. Остановленное время – основа сюжета. Время замерло и разделило пространство квантовым переходом, и между берегами сияет очень узкая полоса.

Сиюминутность длиною в сорок лет сродни импульсу, проникающему в самую глубину, в самую сущность, и первые знаковые строчки того, что мы уже назвали авторскими приемами собственного литературного «жанра Елены Черниковой», ни на что не похожего.

Проснувшийся в новой жизни Профессор попадает в другой для себя мир. И снова для обозначения этого одной строчки достаточно: «фразистая бессмыслица»: «как вытекает желток крови» «пришла ему во сне, синими буквами на золотой бумаге».

Эпитеты, мощный прием выразительного письма, выработанный у автора с ее журналистских лет, когда она много лет говорила в микрофон на русском языке. Дискретный луч направлен в нужную точку,

чтобы каждый раз высветить новую яркую картину текста, помещенную в свободную раму.

Своя доктрина читается между строк, но мы видим, как каждые из этих ярких метафор и эпитетов подтверждаются в тексте.

Ученый или писатель записывает «желток крови» на телефон, это перемежается с воспоминаниями детства, где герой пытался записывать строчки своих первых стихов, и здесь звучит первое упоминание о том, что он не оставил мысли написать свою «Чакону».

Ученый уступает место писателю. Здесь же обозначена жизненная позиция автора, независимая от выбора «ученый или писатель», и она неизменна.

«...Он, в пубертатном маразме максимализма, раз и навсегда запретил себе надеяться на подарки темноты, щели времени, бесплатные озарения, проколы сути, соло Бога для него единственного, прочая, прочая...» – постулат героя, постулат автора.

Автор будет использовать принцип независимости от вдохновения во всех своих работах. Не ждать подарков от судьбы, а всего и всегда добиваться самостоятельно.

Переход к сюжетным линиям рассказа непросто. Только перечисление основных жанровых приемов в тексте заняло немало места. И линий, второстепенных и главных, изменяющихся вместе с перечислениями событий, будет тоже достаточно. Поиск решения подсказала сама Черникова:

«В линейно-фабульном изложении нет ничего запоминающегося априори. А сюжет, эмоции, неожиданные повороты мы запомнить можем...»

Заручившись поддержкой автора, можно пробовать нащупать все параллели, проясняющие образ героя в многоголосье образов из прошлого – далекого и близкого, и реальности. Сразу можно увидеть только то, что лежит на поверхности: безупречное чувство прозаического ритма, музыкальную прозрачность слова и какое-то благородство, скажем так, в описании персонажей исторических событий.

Тут на память приходят слова, которые написал кто-то из читателей Черниковой. Запомнилось. «Текст испивают одним глотком, вдыхают, а потом уже разбираются, что это было...»

До попытки связать все пересекающиеся линии в рассказе хочется сказать о том, что, как мне кажется, мастерски сделано автором.

Она снимает признанную, догматичную трактовку событий и словами героя дает собственную. Из случайно оброненных слов вытаскивает, казалось бы, малозначительные факты, которые на деле одной фразой обнажают суть.

Профессор, вступающий в диалог с метафизическими героями прошлого, раскрывает суть замысла автора.

В мире назначили пандемию, герой, вопреки признанным нормам, отказывается от вакцинации, вследствие чего был отодвинут от кафедры.

Швырнув напоследок «обезнароживание через овцинацию» кафедральным кумушкам, «...он поднялся из нокаута и на прощанье врезал определением: "...окончательное и глобальное низведение понятий "народ" и "народы" до атомарного уровня..»

Уволенный и освободившийся от обязательки Профессор оказывается в своём личном раю. И первым встречает Чехова и его героя Гурова на Ялтинской набережной.

Чехов исключителен и велик, ибо жил без убеждений, спокойно говорил об их отсутствии и никого не ругал, а суровая девица Мария Павловна не могла

вынести его свободы и густыми чернилами цензурировала письма, чтобы сделать брата интеллигентом в бородке...

Отрывок из лекции о Чехове ему когда-то не простили, а нам предстоит открыть первую страницу «дневниковых записей» Профессора, где мы встретимся с теми, кто поможет нам лучше понять все автопортретные черты героя, распределяя их с контрастирующими персонажами. Контраст ведь не всегда противопоставление, это еще и отсвечивание.

Так автор подчеркивает контур биографии героя, а его позиции слышны в диалогах.

Обращение к Чехову объясняется, мне кажется, не только благоговейной любовью к нему автора, но и универсальностью его таланта. Пристальное внимание к жизни людей, отказ от дидактики и исключительная литературность чеховских произведений, характерные для его прозы, бесспорно изучены Еленой Черниковой. Чехов своей прозой давал возможность нравственных раздумий о том, как жить, как любить свой-чужой народ. Он, как камертон, явился в тексте своим героем Гуровым, и это абсолютно резонирует со взглядами нашего героя. В рассказе автор использует литературный диалог между Профессором и Чеховым, и эта реминисценция очень удачно вписана в текст. У Чехова в рассказе «Дама с собачкой» автор оставляет героев на перепутье. Возникает интуитивная аллюзия – у Чехова трудно выделить завязку, кульминацию, развязку, и в рассказе Черниковой тоже не рискну давать прямые разделения. «Освобожденный Чеховым профессор» заразительно смеется рядом со своим кумиром Чеховым, глядя в одно зеркало. Зеркало – символ, нечто, представляющее мир с необычной стороны, отделенной границей-рамой за которой выход в другую реальность.

Счастливый, гуляющий по Москве Профессор не боится признать, что можно с восторгом ни о чем не думать и молчать. Мир замер на краю, и теперь все будет по-другому, знать бы еще как.

На другом конце этого «по-другому», где-то там, на подиуме, улыбается в своей роскоши Клавдия Шиффер и кумир миллионов, поп-звезда Мадонна, уставшая от успеха и роскоши, мечтает о «несексуальных туфлях». А по эту сторону в разгар вируса 2021 «карантузники» (каков неологизм!), сидящие в масках по своим квартирам, не понимают, что это за счастье – гулять свободно по ночной Москве и позволить себе «новую роскошь» не думать об искусстве.

Не думать, почему искусство *не справилось*.

«Искусство, умей оно говорить, уж теперь открылось бы: не обещаю я никому ничего. Никогда...»

Снова возвращаемся к особенностям стиля автора. В любой момент в рассказе стиль меняется, усиливается построение текста с помощью лирического отступления и образов или с помощью языковых средств, сродни музыкальной фразе. Фразы попадают в водоворот сложных ассоциаций. Эпизод укрупняется и становится знаково-важным. Таких ключевых эпизодов в тексте немало. Не об этом ли говорил академик Лев Ландау, когда речь шла о творческом озарении: «Человек в процессе познания природы может оторваться от своего воображения, он может открыть и осознать даже то, что ему не под силу представить».

Профессору в его новом существовании свалилось на голову тайное знание, а вместе с ним и божественная музыка, которую он не мог расслышать раньше, «а в обезлюженные времена всё притихло, всё можно, с неба сдвинули бетон, и стало слышно...»

Вчера моя душа подумала о Боге, родившемся в облике человека. Как же Он решился на это. Как Он верил в творение. Нам и не снилось так верить в Него...

Здесь слышна личностная нота, и автор снова возвращается к музыке.

Интересным кажется использование мифологии в тексте. Автор вспоминает миф о Гипносе, боге сна в греческой мифологии. В теории Фрейда – Эросе.

«Только мир и рай, краски, цвет и свет, струны, клавиши, строгая партита неба...» Так музыка, что раньше не была слышна, во взаимодействии с конкретным моментом времени, становится внезапным духовным проявлением.

Как время в мифе, неподвижно и циклично, как и новое знание героя. Он свободен, его Эрос – стремление к жизни и самопознанию. Здесь использование мифа прекрасно отражает замысел автора.

Литературный мир Елены Черниковой не прост для понимания. Вдруг ты попадаешь на другую пересекающуюся линию – исторический путь России. Герой на каждом шагу говорит о детской мечте – работать «хоть кем-нибудь на Красной площади», изучать архивные документы, «вольно рыться в жёлтых бумагах и распаковывать почтенную истину своими руками в белоснежных перчатках...»

Не получилось: диссертацию о первой Государственной Думе 1906 года пришлось отбросить ввиду невозможности ее защиты в ковидное время. Вопрос, почему Дума первого созыва прожила всего 72 дня, автор рассматривает в рассказе очень коротко, но получается, что подробно – в виде мини-эссе (буквально несколько строчек с разными фамилиями и ссылками), выписки, архивные справки. Сыплются осколочные истории из прошлого: хирург и крестьянин, политик и писатель. Историческая судьба первой Думы России, собранная автором по крупицам. Сильнейший рассказ в рассказе. Может быть, такое насыщение примерами может показаться избыточным, но интеллектуальность автора, ее начитанность текст не усложняют. В этом круговороте событий, в истории с Государственной Думой, Черникова, перемещая события, пишет не про кого-то одного. Это уже не про юнцов, пытавшихся разбрасывать камни. Автор пытается нащупать путь: как теперь собирать камни. Кто способен услышать коллективную память, и нужна ли она? Стала ли она вехой на пути выбора? Может быть, поиск новой музыки текста будет зиждиться на коллективной памяти, – не зря мы слышим в тексте примеры из времен Ивана Грозного в переключке с историком Карамзиным, и с Государственной Думой 1906 года. Действительно, не «в обезлюженные времена» же обращаться...

И все-таки при чем здесь Государственная Дума 1906 года? Возвращая нас к историческому прошлому России, автор указывает нам срок – 72 дня – срок, который не позволил сложиться в единство, что и привело к краху.

Аллюзии автора очень сильные. «В параграфе “Актуальность” стало скучно писать». Он понял, что сегодняшнее единомыслие будет существовать долго, никакого гула не слышно...»

Важнейший момент в рассказе – предельная откровенность автора и честность, обращенная не столько к читателю, сколько к себе.

Это звучит с самой первой строчки, когда автор говорит о том, что он запретил себе надеяться на превратности судьбы. Звучит и в автобиографических воспоминаниях о детстве и первых мучительных стихотворных попытках, о многолетней мечте работать на Красной площади, о спорном – и беспспорном – счастье гулять по пустой Москве.

Откровенностью проникнут весь текст. Зная, что рассказ автобиографичен, читатель в этой откровенности лучше представляет себе автора. Медленными шагами, не торопясь, мы постигаем эти откровения. Как будто одна музыкальная фраза, такт за тактом, сменяет другую. Иногда описания размышлений героя занимают целый абзац, и это родственно музыкальной части Партиты.

Среди всех пересекающихся линий текста одна представляется мне очень важной. Можно назвать ее «писатель и литература».

Опять возвращаюсь к словам автора из интервью:

Е. С: Вы говорите, что судьба русской литературы – неинтересная для вас тема.

Е. Ч: Неэффективность публичного высказывания фраппирует нынешних литераторов до дрожи, до уныния...

А вот текст рассказа, где герой раскрывает тему, и за завесой писательской тайны слышится ответ на вопрос – с сожалением и горечью:

...Профессор представлял себе прекрасное своё будущее: вышел из учёного общества – войдёт в литературное. Станет начальником, издаст приказ:

Мы условились, что уже не ждём от русской литературы ни Толстого, ни Достоевского, ни толстоевского; впрочем, ждём, но надо предпринять;

место действия наши дни подразумевает идейно-тематическую нишу, максимально приближенную ко времени действия...

Дальше полный регламент, каково правильное письмо. Кодекс и мысли автора об актуальном искусстве оптимизма не внушают. Но герою – всё равно. Он с каждым тактом своей партиты уходит от социальных указивок всё дальше и дальше.

Профессор-ученый мог бы еще согласиться с ироничным регламентом, но Профессор-писатель – нет. Писатель – обновлённый сорокалетними странствиями герой рассказа – руководствуется личными эстетическими принципами. Как сама Елена Черникова всегда разбивала стереотипы – в романах ли, в учебниках ли своих – так и её Профессор идёт к свободе через свободу же.

Во многих интервью Елена говорит о себе, что она летописец, а летопись требует предельной правды. Так, в тексте неожиданно возникают фигуры Набоковых, отца и сына. Фигура отца существует в контексте исторических событий, названная автором «снобом и отцом сноба», а фигура сына – в контексте рассуждений о литературе. Какой силы характер у Набокова-отца, заслонившего от покушения своего политического оппонента? Подвиг старшего Набокова – аффект или овеществление братства, чести, достоинства в последнем поступке?

Появление в тексте имени Владимира Набокова, мыслителя, знакомого для автора, – закономерно для того, кто пишет свою Партиту. Ориентация Набокова-сына на личность отца во многом усилилась трагической и достойной смертью отца. Божественное начало, которое есть в творчестве Набокова, особенно в поэзии, отчасти относит к образу отца-Набокова. Судьба отца-сына перекликается с судьбами библейских героев. Отец-сын в тексте звучат как фундаментальные основы и не зависят от времени и эпохи. Здесь Елена Черникова, словно виртуозный исполнитель музыкальной партии, не берет ни одной фальшивой ноты.

В размышлениях своих о литературе приснилось герою, что он пишет письмо-памфлет президенту России. Профессор уверен, что не может Президенту нравиться «лексикон обиженных с их лимонными

цветочками на беленьких занавесочках». Стыдно ему за русский язык. Президент откликнулся и посоветовал мыслить масштабно и писать романы. Вдохновленный советом Леня представил себе светлое писательское будущее, но вот... регламент. Не может его собственная эстетика в этот регламент вписаться, не понял он регламента по «возвращению к жизни на новом уровне духовного развития». Да и с регламентом на любовную прозу и оскорблением чувств верующих тоже у него не очень...

Ситуация, по которой считается настоящая обеспокоенность сегодняшним состоянием литературы, когда все вывернуто до самого нутра и стало стандартом, формулой. Герой начинает сомневаться – а вовремя ли он проснулся?

Сознание не открыто всем впечатлениям, а лишь особые впечатления, реминисценции, из настоящего и прошлого одновременно помещаются в какой-то промежуток и вызывают сомнения. Сомнение – уже путь к смирению. Его эстетические принципы подталкивают беречь свой мир.

Герой попадает в картинную галерею.

«Увидел, как впервые, тихие реки Левитана; и – резким звуком разодралась пелена...»

Вот здесь, возле картины, Писатель останавливается, его метафизическое «я» возле божественной красоты помогает открыть истину:

«...и кроме как по воле Божией ничто не происходит, и в том суть *общего дела*...»

В какой-то момент надо суметь увидеть себя, освободиться от лишнего. Надо пробовать начать с нуля, найти в душе своего Бога, и начать все сначала. Здесь вспомнились слова Черниковой из другого ее произведения: «Бог терпим к твари своей, каждой вручает свободу».

Герой рассказа обретает свою свободу в уединённости:

...Весь день себя раскапывает изумлённо, пишет – узнать, что же теперь думает он и любит *на самом деле*, бормочет, как стишки в детстве, плачет и смеётся, смиряется и никому партиту не показывает...

Проза Черниковой трудно хороша и интеллектуально, и эмоционально. Она – музыка слова, прозрачна, густа и нелегка.

В финале нет ощущения законченности, ибо пока Писатель жив, он будет писать свою «Чакону», и она будет являться воплощением законченной музыки текста. Придёт, спустится, снизойдёт своя Партита, написанная умелой рукой автора, книга, основанная на русской истории, русском духе и русском языке.

Она будет звучать своим соло – Елены Черниковой, любимый герой которой, Лёня, к новому времени пришёл художником-отшельником и, стяхнув учёность, встал на молитву.

В завершение хочется высказать одну мысль, плод моих раздумий. Написать о тексте так, чтобы обнажить все возможные пласты прозы мог, на мой взгляд, только один человек-автор Елена Черникова.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталья Петрищева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 04.12.2024.
Выпущено в свет 25.12.2024.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13